М. А. АЛПАТОВ

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

(XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)



«НАУКА»

Академия наук СССР
Институт истории СССР

М. А. АЛПАТОВ

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

(XVIII – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)

Ответственный редактор
доктор исторических наук
А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ



МОСКВА
«НАУКА»
1985

Предлагаемая книга является продолжением предшествующих монографий автора, впервые в исторической литературе рассматривающих проблему «Русская историческая мысль и Западная Европа» и получивших высокую оценку научной общественности.
Работа опирается на широкий круг источников и охватывает целый комплекс проблем, в том числе роль Российской Академии наук в формировании отечественной историографии, исторические концепции В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова, Г. З. Байера, Г. Ф. Миллера, А. Л. Шлецера, Ф. А. Эмина и др. Наряду с этим в работе содержатся яркие характеристики сочинений французских современников: Вольтера, Монтескье, Мабли и др. Особый раздел рассматривает воздействие Французской буржуазной революции XVIII в. на общественно-политические взгляды русских мыслителей и общественных деятелей. В книге нашли отражение и взгляды декабристов.

Рецензенты

А. И. Комиссаренко, Л. Н. Пушкарев

А $\frac{0505010000-362}{042(02)-85}$ 29-85—III

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

В советской исторической науке имя Михаила Антоновича Алпатова занимает почетное место [1]. Ученый с широким кругозором, безгранично преданный своему делу, он умел избрать для исследований прошлого родной страны такие проблемы, которые являются и по сей день острыми и животрепещущими. До последних дней своей многотрудной жизни М. А. Алпатов оставался верным и страстным поборником исторической правды — той правды, что отражает живую душу народа, его радости и беды, гордость Отчизной и боль за ее судьбы. Если кратко сказать о самой сути научного творчества М. А. Алпатова, то оно будет, на мой взгляд, именно таким. Да оно и не могло стать для него другим: Михаил Антонович был ученым-коммунистом, для которого наука никогда не служила самоцелью. Строгий и вдумчивый исследователь, он всегда помнил о высоком гражданском, патриотическом назначении истории. Наука должна сближать народы, помогать им лучше узнать друг друга, извлекать уроки из прошлого во имя настоящего и будущего. История столь же сложна и многотрудна, сколь и противоречива в своих проявлениях, идиллией ее никак не назовешь. И пишут историю по-разному: классово-партийные, идейные позиции здесь будут определять общий взгляд на прошлое, его оценку, тенденции развития общества. Глубокое осознание правоты марксистско-ленинского исторического метода, его активной, созидательной и гуманистической роли помогало М. А. Алпатову на всех этапах его научной деятельности. Избрав главной сферой своих исследований проблемы истории исторической науки, М. А. Алпатов посвятил свою первую книгу — изучению политических идей французской буржуазной историографии XIX в. Центральное место в исследовании занимало творчество одного из корифеев французской медиевистики XIX в. — Фюстеля де Куланжа. В книге были определены идейные истоки его романтической теории происхождения средневекового общества, показано воздействие политической борьбы на формирование исторических взглядов этого автора. Не перечеркивая позитивного вклада в историческую науку таких ученых как Фюстель де Куланж, О. Тьерри, Ф. Гизо,

---

[1] См.: *Дунаевский В. А.* М. А. Алпатов (1903—1980). — В кн.: История и историки. Историографический ежегодник. 1979. М., 1982, с. 400—405; Здесь же помещена составленная Е. С. Почерняевой библиография трудов М. А. Алпатова (там же, с. 405—409).

А. Токвиль, исследователь вскрыл классовую ограниченность их концепций и тесную связь их с политической обстановкой того времени. Вместе с тем М. А. Алпатов дал оценку русской дореволюционной историографии западноевропейских стран, т. е. подошел к проблеме «Россия и Запад», которая станет центральной в его научном творчестве. На этом пути ученый провел основательное изучение обширного круга литературы (отечественной и зарубежной), обратился к разнообразным историческим источникам, стремясь освоить их для целей научных изысканий [2]. Со временем обрисовался замысел большого труда, содержание которого оказалось гораздо шире собственно историографического произведения. Это выразилось и в названии трилогии: не историография в узком понимании слова, а именно историческая мысль стала ее объектом. Тем самым вполне логичным и оправданным является включение в орбиту исследования источников самого разнородного плана и происхождения, подчас прямого отношения к историографическому жанру не имеющих. И хотя подобные источники в большинстве своем были в поле исследовательского внимания предшественников, М. А. Алпатов часто находит в них такие грани, которые ими не отмечались.

Таким образом, свежий взгляд зоркого, творчески мыслящего исследователя в ряде случаев обогащает наши знания не только об авторах и их произведениях, но и по более широкому кругу познания прошлого.

М. А. Алпатов впервые поставил в науке задачу создать обобщающее исследование «Русская историческая мысль и Западная Европа». Решение этой смелой, трудной и весьма обширной задачи потребовало многолетних усилий. Притом М. А. Алпатов со свойственным ему размахом избрал широчайшие хронологические рамки от времени Киевской Руси до XIX в. Необычность замысла подчеркивалась и тем, что автор предпринял попытку сопоставительного «двуединого» подхода к теме: как в России представляли себе Запад и как в Западной Европе смотрели на Россию. В тесной связи с исторической обстановкой предстояло показать взаимное изучение России и Запада на различных этапах, отраженное в сочинениях, записках, научных трудах, наконец, в историко-философских концепциях общего характера. Своеобразным идейным фокусом столь грандиозного научного предприятия была проблема места России во всемирно-историческом процессе. В результате вековых предрассудков, недостаточной осведомленности, а также дезинформации, вольной и невольной, на Западе нередко формировались превратные представления о России, ее народе и истории. Честным и объективным западным наблюдателям было нелегко и в прошлом отстаивать свои воззрения, которые далеко не всегда отвечали идейно-политической обстановке в их странах. Исторические судьбы России также

[2] Алпатов М. А. Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в. М.; Л., 1949. Несколько позднее М. А. Алпатов в другой своей работе дал критический анализ реакционных течений в американской историографии XX в. (*Алпатов М. А.* Реакционная историография на службе поджигателей войны. [М], 1951.

не всегда благоприятствовали контактам с западными государствами. Монголо-татарское нашествие надолго нарушило активные связи нашей страны с Западной Европой. Вероисповедальные различия, подогреваемые церковниками на Западе и Востоке Европы, создавали дополнительные препоны на этом пути. Все это усугублялось длительной изоляцией России от выходов к морю, что также серьезно мешало международным контактам России. Но стремление к познанию иных земель и народов было неистребимо и нашло отражение в русской книжности всех времен.

Таким образом, перед исследователем очерченной выше проблемы встала во весь рост задача обработать исторические известия как западноевропейские, так и русские, сравнить их в хронологически сопоставимом плане, выявить динамику и тенденции духовного общения России и Запада по мере развития исторической науки. И подобная задача в целом оказалась по плечу М. А. Алпатову. Но жизнь ученого оборвалась в то время, когда близилась к завершению его работа над этой темой. Две капитальные монографии вышли в свет при жизни исследователя[3—4]. Третью монографию, ныне предлагаемую читателю, автору увидеть опубликованной, увы, не суждено.

М. А. Алпатов хорошо понимал широту избранной темы и потому тщательно продумал методику отбора источников для своего исследования, определил способы подачи конкретного материала. Он сосредоточил внимание на важнейших письменных памятниках различного происхождения, созданных на Западе и в России. Среди множества трудностей, встретившихся в творческом процессе ученого, М. А. Алпатов выделял то, что «этапы в развитии исторической мысли совпадают с этапами историческими далеко не всеми точками»[5]. Для целей исследования был избран принцип изложения материала «по авторам», что влекло за собой необходимость «рассказывать о том, что видел каждый из них». М. А. Алпатов при этом заметил, что «такой манеры не любят рецензенты» и был готов принять соответствующий упрек[6]. Однако и рецензенты оценили обоснованность подобного авторского подхода, который исследователь сохранил и в последующих монографиях.

На первый взгляд может показаться, что М. А. Алпатов не только продолжает хронологически предыдущую книгу, но как бы временами

[3—4] *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XII—XVII вв. М., 1973; *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII—первая четверть XVIII в. М., 1976.

[5] *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XII—XVII вв., с. 23.

[6] Там же, с. 24. Рецензии на предыдущие книги М. А. Алпатова см.: Новая и новейшая история, 1974, № 3, с. 191—193 (А. И. Данилов и Б. Г. Могильницкий); Вопросы истории, 1975, № 1, с. 157—160 (Гольденберг А. Л.); Общественные науки в СССР. История, 1974, № 2, с. 87—93; Новая и новейшая история, 1977, № 1, с. 166—168 (А. И. Данилов, Б. Г. Могильницкий); Вопросы истории, 1978, № 3, с. 142—144 (Ю. В. Курсков); История СССР, 1977, № 2, с. 164—167 (Королюк В. Д.); Молодая гвардия, 1978, № 7, с. 318—320 (Королюк В. Д.). Появились также зарубежные рецензии (в ГДР, Румынии, США).

возвращается к уже освещенному отрезку времени. Так, первая книга завершается концом XVII столетия, а вторая монография начинается первыми годами XVII в. Однако здесь не простое повторение, а серьезное углубление авторских трактовок, они органически дополняют материал первой книги и облегчают восприятие проблематики XVIII в., эпохи Петра I. Такое взаимопроникновение характерно для воплощения авторского замысла М. А. Алпатова. В этом убеждают также емкие и точные оценки основного идейного содержания очередного труда — в данном случае последней части трилогии. В самом деле, в заключении ко второй книге кратко излагается суть «варяжского вопроса», его возникновение и развитие в историографии середины XVIII—начала XIX в. М. А. Алпатов, обрисовав контуры этой темы, образно заметил: «После свержения бироновщины политической за стенами Академии наук еще долго держалась бироновщина идеологическая» [7]. В представляемом сейчас труде данный сюжет нашел свое продолжение и занял одно из ключевых мест. Ему посвящен большой очерк, открывающий книгу и рассказывающий об Академии наук в связи со становлением русской историографии и возникновением «варяжского вопроса», «норманнской» теории. Сюжет этот, как известно, и поныне продолжает занимать умы ученых. Если для советских историков, как справедливо полагает автор монографии, эта проблема в научном плане решена, то иначе дело обстоит в современной историографии западных стран. В ней подчас воспроизводятся устаревшие положения двухсотлетней давности, предпринимаются попытки отыскать новые аргументы в пользу «норманнской» теории происхождения государственности на Руси. М. А. Алпатов во всеоружии фактов, последовательно и убедительно раскрывает существо проблемы, ее научные и политические грани, анализирует жаркую полемику вокруг нее в науке XVIII—начала XIX в. Характеристики Г. Байера, Г. Миллера, А. Шлецера, а также В. Н. Татищева, М. В. Ломоносова и других русских ученых отличаются сочностью и объективностью, изложение ведется нередко в публицистической манере, которая составляет примечательную черту творческого почерка М. А. Алпатова. Для понимания эпохи, о которой идет речь в монографии, принципиальное значение имеют те ее разделы, в которых автор анализирует исторические концепции века Просвещения и его кульминации — Великой Французской буржуазной революции 1789—1794 гг. В преддверии 200-летия этого эпохального события соответствующие очерки книги М. А. Алпатова приобретают особенно актуальное значение. Это касается и рассмотрения вопроса о взглядах французских и русских авторов той поры.

Переходя к первой половине XIX в., М. А. Алпатов обращается к изучению темы «Россия и Запад» применительно к представителям различных течений русской историографии этого времени. Автор монографии выделяет и характеризует новый этап ее развития,

---

[7] *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII—первая четверть XVIII в., с. 422—424.

связанный с деятельностью декабристов (в лице М. Ф. Орлова), П. Я. Чаадаева, западников и славянофилов. Вероятно, некоторые оценки М. А. Алпатова покажутся специалистам спорными, однако заслуживает внимания четкая постановка автором главных вопросов, стремление всесторонне аргументировать свою точку зрения. Его трактовка взглядов Н. И. Надеждина, Н. А. Полевого, И. В. Киреевского, К. Д. Кавелина, С. С. Уварова и М. П. Погодина вскрывает многосложность идейной борьбы в русском обществе, когда старый феодально-крепостнический строй вступил в полосу кризиса. Освободительная мысль в России противостояла охранительным тенденциям, революционные бури в странах Западной Европы побуждали к мучительным раздумьям об уроках истории Запада и о путях дальнейшего развития России. Исторические концепции отражали эту реальную обстановку идейных борений и сами становились органической частью последних. Все это ярко, с экспрессией и увлекательно представлено в этой книге М. А. Алпатова. Читатель найдет в ней много интересных и метких наблюдений, обогащающих наши представления о состоянии общественной мысли и историографии первой половины XIX в., включая концепции всемирной истории в русской науке той эпохи. Некоторые разделы монографии были опубликованы ранее в различных научных изданиях [8].

В своих предыдущих книгах М. А. Алпатов помещал заключительные страницы под названием «Вместо послесловия». В этих текстах ученый давал критический анализ современной зарубежной историографии проблемы «Россия и Запад», что подчеркивало актуальность этой темы, ее тесную связь с идеологической борьбой наших дней. М. А. Алпатов не успел этого сделать для данной монографии. Разумеется, подобную задачу не вправе взять на себя кто-либо другой. Но само содержание книги — это аргументированный, боевой ответ на антинаучные, предвзятые представления некоторых буржуазных авторов об исторических судьбах России. Публикуемый труд, несмотря на незавершенность, займет место в ряду значительных произведений советской исторической науки.

Для всех, кто знал Михаила Антоновича, останется памятным светлый образ этого замечательного ученого и человека. Высокий, крепкого сложения, с мудрым взглядом и доброй улыбкой, он вызывал глубокую симпатию не только у товарищей, но и у незнакомых людей. Основательная и разносторонняя ученость, принципиальность, доброжелательность и общительность были присущи М. А. Алпатову.

---

[8] См.: *Алпатов М. А.* Взгляды А. Н. Радищева на всеобщую историю. — Вопросы истории, 1953, № 2, с. 80—88; *он же.* Сибирский журнал — современник Французской буржуазной революции конца XVIII в. — В кн.: Французский ежегодник. 1961. М., 1962, с. 109—123; *он же.* Формирование исторических взглядов декабриста М. Ф. Орлова. — В кн.: История и историки. Историографический ежегодник. 1972. М., 1973, с. 259—271; *он же.* Концепция всемирной истории Михаила Орлова (30-е годы XIX в.). — В кн.: История и историки. Историографический ежегодник. 1974. М., 1976, с. 282—301; *он же.* Записки Сегюра (1785—1789). — Новая и новейшая история, 1980, № 6, с. 154—167.

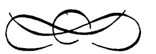
Никогда не изменяло ему чувство достоинства советского ученого-коммуниста. Его преданность родной стране выражалась не только в научных трудах. Уроженец земли Разина и Шолохова, М. А. Алпатов воздал ей должное в своих историко-художественных произведениях, снискавших ему славу яркого и самобытного писателя. Среди них — роман «Горели костры», вышедший двумя изданиями в 1970 и 1973 гг. Задушевным лиризмом и мягким юмором окрашена его книга «Откуда течет «Тихий Дон» (М., 1976), в которой рассказывается о встречах с земляками.

Горько сознавать, что среди нас нет сегодня Михаила Антоновича Алпатова. Но встреча с его книгами продолжается, и в них продолжается жизнь ученого, воплощается его творческая, утверждающая правду и добро личность.

А. А. Преображенский

Глава 1

АКАДЕМИЯ НАУК И РУССКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ. РОЖДЕНИЕ ВАРЯЖСКОГО ВОПРОСА



Из всех связанных с зарубежной историей проблем русской исторической науки второй половины XVIII в. наиболее значительное место принадлежит той, в ходе изучения которой была выдвинута ставшая впоследствии широко известной норманнская (варяжская) концепция происхождения государственности Древней Руси. Концепцию эту предложили академики-немцы, работавшие в Петербургской Академии наук, — Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер и А. Л. Шлецер. Их теория оказала огромное влияние на всю последующую русскую историографию вопроса и вот уже третье столетие будоражит историческую науку. Трудно, пожалуй, назвать какую-либо другую научную проблему, которая порождала бы столь яростную и длительную полемику.

Причина состоит в том, что варяжский вопрос родился не в сфере самой науки, а в сфере политики. Став затем научным, он не только не утерял свою прямую связь с политикой, но, напротив, навсегда оказался связанным со жгучими политическими и национальными проблемами современности. Это наложило свою печать и на судьбу наследия Байера, Миллера и Шлецера: в русской историографии давалась крайне противоречивая оценка их роли. Если одни считали упомянутых академиков основоположниками науки истории в России, то другие оценивали их научное творчество сугубо негативно. Не одно поколение русских историков вспоминало эту «троицу» — кто добрым, кто худым словом.

На первый взгляд может показаться странным, что несколько строчек летописи могли стимулировать появление концепции, занявшей столь видное положение в исторической науке. В действительности ничего удивительного в этом нет: варяжский вопрос возник отнюдь не в вакууме — он был порожден идейно-политическими условиями, сложившимися в России XVIII в.

Русские исторические теории предшествующих столетий

Летописный сказ о мирном, добровольном и всенародном призвании варяжских князей родился, как известно, еще во времена Киевской Руси. Он призван был служить славе русского народа, ратовал за единодержавие в Киевском государстве и служил идейным оружием в борьбе за независимость Руси против наступавшей на нее Византии. Скоро, однако, варяжские мотивы утеряли свое значение. Появившись в «Повести временных лет», сказ этот в течение столетий переходил из одного летописного свода в другой. Он превратился в мертвую традицию, не привлекавшую внимания русских книжников. Это и понятно: в ходе истории менялась международная обстановка, перед Русью вставали иные задачи, а поэтому возникали и новые исторические теории, хотя и имевшие подчас столь же легендарную основу, но становившиеся своего рода государственными концепциями, которые служили славе Руси.

По отношению к Византии Русское государство от обороны перешло к наступлению. Византия клонилась к упадку, и перед Русью вставал вопрос о византийском наследстве. В 1453 г. под ударами османов пал Константинополь, в 1480 г. Русь сбросила монголо-татарское иго. Среди русских книжников зреет убеждение: место Константинополя как центра мировой истории должна занять Москва. На рубеже XV—XVI вв. на Руси почти одновременно появляются в изобилии исторические теории, отразившиеся в таких памятниках, как «Повесть о новгородском белом клобуке», «Сказание о Вавилоне-граде», «Сказание о князьях Владимирских». Смысл всех этих теорий заключался в обосновании тезиса о праве русских царей на византийское наследство, в идее, согласно которой центр мировой истории переместился в Россию: Москва — третий Рим, а четвертому Риму «не быти».

Кстати сказать, и в западной историографии не раз служила для обоснования тех или иных исторических взглядов разработка вопроса об античном наследстве. Наиболее ярко это проявилось позже, в предреволюционной Франции, где споры вокруг проблем античного наследия стали составной частью идейно-политической борьбы[1].

В дальнейшем Россия все больше поворачивается лицом к Западу. В XVI в. она начинает пробиваться к морю, ведущему в Западную Европу (Ливонская война). Исторические теории, связывавшие Россию с Византией, оттесняются теперь концепцией, которая объявляла московских царей потомками императора Августа. Русские книжники отныне отстаивают идею западного происхождения царей. Уже Грозный не прочь был считать себя потомком Августа; традиция эта прочно входит в официальную дипломатическую практику; в грамотах русских послов, отправлявшихся в другие страны, указывалось

[1] См. раздел II данной книги, а также: *Алпатов М. А.* Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века. М.; Л., 1949, с. 29—45.

от имени царя, что на московском престоле всегда сидели «прародители наши от рода Августа кесаря». По распоряжению царя Алексея Михайловича был составлен «Царский Титулярник», в котором устанавливалось, откуда «произыде корень великих государей, царей и великих князей российских». Утверждалось, что корень этот «изыде от превысочайшего кесарского престола и прекрасно цветущего и пресветлого Августа кесаря».

При Петре I получили распространение исторические концепции, согласно которым Россия должна стать центром просвещения в Европе. Сам Петр, с легкой руки Лейбница, усвоил применительно к России теорию «круговорота». По словам ганноверского резидента при русском дворе Вебера, Петр, выступая на борту спускаемого на воду корабля, следующим образом излагал эту теорию перед боярами: «Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда (по превратности времен) они. . . перешли в Италию, а потом распространились было и по всем европейским землям. . . Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких оговорок. . . Указанное выше передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас, а затем возвратятся в истинное свое отечество — в Грецию» [2].

Политическая и академическая бироновщина

Как видим, ко времени создания Академии наук русские книжники основательно забыли о варягах. И вдруг о них заговорили снова. Больше того, по этому вопросу поднялся ожесточенный спор в русской исторической науке. Причина состояла в существенных переменах, которые произошли в это время в культурной жизни России. Была создана Академия наук. Ее учреждение составляло неотъемлемую часть петровских преобразований. Страна проходила ускоренное обучение всему, что выводило Россию на ту историческую дорогу, следуя которой ей предстояло догонять Западную Европу. Область науки была тем государственным ведомством, где из-за малочисленности русских ученых приходилось обращаться к услугам ученых зарубежных стран. Учреждение в 1725 г. Академии наук было для тогдашней России неизбежным и кратчайшим путем к собственной «большой» науке. Практика эта целиком себя оправдала. В России возник общегосударственный научный центр, академики-иностранцы внесли немалый вклад в русскую науку, некоторые из них нашли в России свою новую родину, считали Петербургскую Академию

---

[2] Записки Вебера о Петре Великом и его преобразованиях. — Русский архив, 1872, с. 1074—1075. Подробнее о русских исторических теориях см.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XII—XVII вв. М., 1973, с. 30—53; 164—174; *Он же.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII—первая четверть XVIII в. М., 1976, с. 260—267.

своей Академией, отстаивали ее честь в Западной Европе. Тогда же началась подготовка новых кадров для русской науки. Академия стала той научной средой, в которой выросло новое поколение русских ученых, подвизавшихся во многих областях знания. Здесь возмужал гений Ломоносова.

Вместе с тем Академия наук, состоявшая в подавляющем большинстве из иностранцев, особенно в первые десятилетия, была в России «инородным» телом. Иностранные ученые приезжали в Россию с сознанием своего превосходства над этой страной. Ситуация усугублялась тем, что формирование Академии развернулось в годы бироновщины (1730—1740 гг.). Это было десятилетие немецкого засилья в России, противодействие которому жестоко подавлялось (дело Волынского). Атмосфера, сложившаяся в Академии, являлась своего рода идейной бироновщиной. Она оказалась живучей: в то время, когда с бироновщиной политической было уже давно покончено, бироновщина идейная еще долго продолжала держаться за прочными стенами Академии.

Среди академиков-иностранцев были сильны антирусские настроения. Ученая каста с великой неохотой пускала русских ученых в свою среду. Эта политика была направлена прежде всего против Ломоносова — главы немногочисленной русской академической партии. Шумахер — глава академической канцелярии — тужил, что он «великую прошибку в политике своей сделал, что допустил Ломоносова в профессоры». Его преемник Тауберт не считал нужным скрывать, что «разве-де нам десять Ломоносовых надобно? И один-де нам в тягость»[3].

С такой же неприязнью в Академии была встречена и «История Российская» основоположника русской исторической науки В. Н. Татищева. Это сочинение было представлено в Академию в 1739 г., но автору так и не довелось увидеть свой тридцатилетний труд напечатанным. Потребовалось еще тридцать лет, чтобы он нашел своего читателя. О судьбе рукописи Татищева говорили в обществе, говорили во дворце. Уже в екатерининское время один из воспитателей цесаревича Павла, Семен Порошин, высказывал своему воспитаннику глубокое сожаление, что «достоинство и старание покойного Василья Никитича Татищева остались совсем почти в забвении»; Татищев был «великого ума, твердого и проницательного, человек весьма знающий и любопытный... он собрал и сочинил основательную российскую историю... оная история и теперь таскается в манускриптах... весьма жаль, что ее не напечатают, и такое сокровище пропадает»[4].

В литературе не раз можно встретить утверждение, что «История Российская» Татищева не печаталась столь долго из-за «вольнодумства» ее автора[5]. Это обстоятельство действительно создавало

[3] *Пекарский П. П.* История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1873, т. 2, с. XLVIII.

[4] *Порошин С.* Записки, служащие к истории великого князя Павла Петровича. СПб., 1881, стб. 81—82.

[5] *Соловьев С.* Писатели русской истории XVIII века. — В кн.: Архив историко-юри-

атмосферу недоброжелательства вокруг рукописи. Сам В. Н. Татищев с горечью писал, что когда он представил свою «Историю» на суд петербургских знакомых, то ему пришлось услышать немало сердитых вердиктов: «иному то, другому другое неисправно было; что один хотел дабы пространнее и яснее написать, то самое другой советовал сократить или вовсе оставить. . . явились некоторые с тяжким порицанием, якобы я в ней православную веру и закон опровергал»[6].

Но не эти доморощенные рецензенты решали судьбу труда Татищева. Ее вершила Академия наук. А там не торопились с печатанием. Рукопись «Истории Российской» оказалась «собственностью» тогдашнего главы академической канцелярии Тауберта. Рукописью пользовались. Штрубе де Пирмонт брал из нее материал для своей книги по истории русского права. Об атмосфере, царившей в Академии наук, было широко известно. Даже через сорок лет после основания Академии деятель екатерининской поры Никита Панин говорил: «Какая из того польза и. . . слава отечеству приобретена быть может, что десять или двадцать человек иностранцев, созванных за великие деньги, будут писать на языке, весьма не многим известном? Если бы крымский хан дал цену и к себе таких людей призвал, они б и туда поехали и там писать бы стали»[7].

Забегая вперед, следует сказать, что судьба «Истории Российской» была определена не Академией наук как учреждением, а усилиями академиков-историков. Случилось это на исходе 60-х годов, когда началась публикация летописей и других источников. Встал вопрос и об издании сочинений по русской истории. Шлецер был сторонником публикации татищевской рукописи. Несмотря на то что он не считал Татищева ученым, академик-немец признавал за ним роль первого русского историка. После публикации историками ГДР архивных материалов о Шлецере это можно утверждать с полным основанием. Адресуясь к «владельцу» рукописи Тауберту, Шлецер писал в 1767 г.: «Татищев — русский, он является отцом русской истории, и мир должен знать, что русский, а не немец проломил лед в русской истории»[8].

Человеком, которому принадлежит честь быть первым публикатором «Истории Российской» Татищева, явился Миллер, работавший в то время в Москве. Книга начала печататься в 1768 г., причем не по инициативе Академии наук. Приступать к работе Миллеру пришлось по черновому экземпляру рукописи, переданному Московскому университету сыном Татищева Евграфом. Беловой экземпляр оказалось необходимым добывать у Тауберта, которому рукопись после публикации была возвращена.

дических сведений, относящихся до России, отделение III. М., 1855, с. 36—37; *Бестужев-Рюмин К. Н.* Биографии и характеристики. Татищев, Шлецер, Карамзин, Погодин, Соловьев, Ешевский, Гильфердинг. СПб., 1882, с. 162—163 и др.

[6] *Попов Н.* Татищев и его время. М., 1861, с. 201—202.

[7] *Порошин С.* Указ. соч., стб. 37.

[8] A. L. v. Schlözer und Russland. Eingel. und unter Mitarb. von L. Richter und L. Zeil. Hrsg. von E. Winter. Berlin, 1961, S. 191.

Все это случилось значительно позже. В первые же послепетровские десятилетия в Петербургской Академии наук была особенно сильна «бироновская» атмосфера. Тем не менее и в русском обществе, и в самой Академии наук эта идейная бироновщина с самого начала столкнулась с большим национальным подъемом, порожденным победой в труднейшей Северной войне со Швецией. Россия поднялась в ранг сильнейших держав мира. Полтавская виктория была матерью победы в этой войне, она стала символом национальной гордости русских людей. Современник Полтавы и современник бироновщины Феофан Прокопович сравнивал Северную войну со 2-й Пунической войной, сделавшей Древний Рим мировой державой. Полтаву он ставил рядом с крупнейшими битвами в мировой истории, а Петра сравнивал с Александром Македонским и Юлием Цезарем. Это были те вершины мировой славы, на которые, по его убеждению, Полтава возносила Россию [9].

Выдвижение России в первый ряд европейских государств [10] было встречено на Западе с удивлением и враждебностью. История международных отношений рассказывает о той неприязни и высокомерии, с которыми встретилась там петровская и послепетровская Россия [11]. Академики-немцы были представителями этого, западного, взгляда на Россию. Русский национальный подъем и бироновское засилье в России неизбежно должны были столкнуться. Немало искр столкновение это высекло в сфере политики. Эхо борьбы громко отдалось и в стенах Академии наук, где также кипели национальные страсти. Борьба перекинулась и в историческую науку — это-то и породило варяжский вопрос.

Что он оказался варяжским, точнее, шведским — так же закономерно, как и столкновение вокруг него. Тени двух соотечественников — Рюрика и Карла XII — витали над теми, на чьих глазах рождался этот вопрос. Полтавская виктория сокрушила амбиции шведских завоевателей времен Карла XII, норманнская теория, возводившая русскую государственность к Рюрику, наносила удар по национальным амбициям русских с исторического фланга. Это был идейный реванш за Полтаву. Покрытый пылью веков древний сказ о варягах обрел новую жизнь, стал острейшим современным сюжетом. Ожесточенность противоборства вокруг него говорит о накале идейной атмосферы, в которой оно происходило. Варяжский вопрос, следовательно, родился не в Киеве в летописные времена, а в Петербурге в XVIII в. Он возник как антирусское явление и возник не в сфере науки, а в области политики. Человеком, который произвел первый «выстрел» в этой баталии, был Байер.

---

[9] О состоянии исторических знаний в России при Петре I подробнее см.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII—первая четверть XVIII в., с. 260—328.

[10] *Некрасов Г. А.* Роль России в международной политике 1725—1739 гг. М., 1974.

[11] Международные связи России в XVII—XVIII вв. (Экономика, политика и культура): Сб. статей. М., 1966.

Готлиб Зигфрид Байер
(1694—1738)

Петровские преобразования оживили связи России с Западом. Они стали более тесными и по научной линии. Шлецер писал: «Передвижение из Германии в Россию, особливо между штудирующими, было тогда в особенности сильно. Простаки мечтали, что нигде лучше нельзя составить счастья, как там: у многих на уме был выехавший из Иены студент богословия (Остерман), сделавшийся впоследствии государственным канцлером. Все желали, по крайней мере, найти оседлость, но это было трудно при огромной конкуренции» [12].

Одним из первых ученых-иностранцев прибыл в Россию Готлиб Зигфрид Байер [13]. Это был уже сложившийся ученый. В Германии он работал над изучением восточных языков и истории народов Востока. Другой областью, занимавшей его, была античная история. Кроме древности, его интересовала история Пруссии, в особенности Тевтонского ордена. Привлекала его и область истории прусской исторической науки и филологии, которые в тот «энциклопедический» век еще не были резко отграничены друг от друга. Русская история лежала вне пределов его научных интересов; единственной книгой, с которой Байер познакомился и которая имела хотя бы отдаленное отношение к истории России, был «Corpus Byzantinum» — сборник византийских исторических документов, обращавшийся тогда в западных ученых кругах.

Байер дал согласие переехать в Петербургскую Академию (он прибыл сюда в начале 1726 г.), но эта перемена мест не означала перемены в его ученых занятиях. Интерес к России был тогда у западных ученых несколько своеобразен. Еще со времен средневековья Россия интересовала купцов, дипломатов и ученых Западной Европы не только сама по себе, но и как страна, через которую можно попасть на Восток или получить сведения о нем. Байер, как специалист по восточным языкам, рассчитывал прежде всего найти в России материал по истории Китая. Это и определило на первых порах направление научных интересов ученого. Он отказался от должности русского историографа и стал подвизаться на кафедре древней истории и восточных языков. Его довольно многочисленная и разнообразная научная продукция, которой он заполнял «Commentarii» Петербургской Академии наук, посвящена античной древности или Востоку. Байер был типичным эрудитом, погруженным в древность: изучать русский язык он не собирался, а по-латыни писал лучше, чем по-немецки.

---

[12] Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная. Пребывание и служба в России от 1761 до 1765 г. Известия о тогдашней русской литературе / Пер. с нем. с примеч. и прил. В. Кеневича. СПб., 1875, с. 378. (Сер.: Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук; т. 13).

[13] *Пекарский П. П.* История императорской Академии наук в Петербурге. СПб., 1870, т. 1, с. 180—196; *Бестужев-Рюмин К. Н.* Русская история. СПб., 1872, т. 1, с. 208—209; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1955, т. 1, с. 191; *Рубинштейн Н. Л.* Русская историография. М., 1941, с. 96—97.

Эрудиция эта строилась в соответствии с распространенной тогда среди дворянских историков схемой, которой придерживались и в России [14]. Типичным в этом отношении является его «Auszug der ältern Staatsgeschichte zum Gebrauch Petri II» (1728). Это всего лишь пухлый учебник античной истории. Петру II учиться по нему не пришлось, но книга интересна тем, что в ней отражены взгляды Байера на древнюю историю в целом. Это некая смесь библейских и евангельских представлений с элементами взглядов эпохи Просвещения. История начинается «от сотворения мира», которое, по убеждению Байера, произошло ровно за 2349 лет до Рождества Христова. Семья — зародыш всего общественного развития, в том числе и зародыш государства; власть монарха есть не что иное, как разросшаяся до масштабов государства отцовская власть. Всемирная история является историей четырех традиционных монархий, причем история Ассиро-Вавилонского, Персидского и Греческого царств составляет лишь краткое введение к Римской истории, изложение которой занимает почти всю книгу. Все исторические деяния дело монархов; деятельность последних оценивается в зависимости от степени ее близости к христианским идеалам и к идеям Просвещения (в их дворянском толковании).

Тем не менее русская тематика постоянно врывалась в творчество Байера. Помимо работ, непосредственно связанных с современностью [15], Байер создает цикл исследований о скифах во времена античности и средневековья [16], поскольку история скифов, по его мнению, была связана с происхождением русского народа. Рядом с ним возник другой цикл, посвященный древнейшей истории русского народа [17]. Сочинения Байера были скоро забыты. Однако его работе «О варягах» суждена была долгая жизнь. Именно это произведение определило место Байера в исторической науке. Байер оказался

---

[14] *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII—первая четверть XVIII в., с. 260—267, 403—407.

[15] К ним относится прежде всего «Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова от создания сего города до возвращения оного под Российскую державу» (1738) — труд, возникший в связи с русско-турецкими войнами. Характерно, что и здесь Байер старается подольше оставаться в привычной ему стихии, отводит большое место истории Причерноморья в античное время и средние века.

[16] De origine et priscis sedibus scypharum (О происхождении и древних местах поселения скифов). — Commentarii Academiae scientiarum imperialis Petropolitanae. Petropoli, 1728, vol. 1, p. 385—399; De Scythise situ, qualis fuit sub aetatum Herodoti (О местоположении Скифии во времена Геродота). — Ibid., p. 400—424; Cronologia scythica vetus (Древняя скифская хронология). — Ibid., 1732, vol. 3, p. 295—350; Memoriae Scythicae ad Alexander Magnum (Скифские древности до времени Александра Великого). — Ibid., p. 351—388.

[17] De varagis (О варягах). — Ibid., 1735, vol. 4, p. 375—411; De russorum prima expeditione Constantinopolitane (О первом походе русских на Константинополь). — Ibid., 1738, vol. 6, p. 365—391; De venedis et Eridano fluvio (О венедах и реке Эридане). — Ibid., 1740, vol. 7, p. 346—361; Origines russicae (Происхождение русских). — Ibid., 1741, vol. 8, p. 388—436.

Этой же теме посвящены и некоторые другие труды Байера, которые должны были служить географическим обоснованием его идей. См.: Geographia Russiae vicinarumque regionum circiter... (География Руси и соседних с ней территорий...). — Ibid., 1744, vol. 9, p. 367—422; 1747, vol. 10, p. 371—419.

«правофланговым» в длинной шеренге норманистов, с него загорелся весь «сыр-бор». А начался он на первый взгляд очень просто. В 1732 г. уезжал в камчатскую экспедицию Миллер. У него было немало академических должностей; в частности, он состоял редактором первого исторического журнала в России «Sammlung russischer Geschichte», знакомившего западных читателей с русской историей. Редактирование журнала было теперь возложено на Байера. Новый редактор стал ближе знакомиться с источниками по русской истории. Особое его внимание привлекла русская летопись. Не знавший русского языка, Байер принялся штудировать немецкий перевод Радзивилловского списка «Повести временных лет» с 860 по 1175 г. Байер был близок ко двору Анны Ивановны, являлся горячим почитателем Бирона. Проникнутый антирусским настроением, он прочитал русскую летопись по-своему. Первые строчки его работы «О варягах» гласили: «От начала руссы или россияны владетелей варягов имели. Выгнавши ж оных, Гостомысл от славянского поколения правил владением, и ради междоусобных мятежей ослабевшим и от силы варягов учиненным. По его совету россияны владетельский дом от варягов опять возвратили, то-есть Рурика и братьев»[18]. Это был пересказ самых первых и, сказать попутно, самых темных строчек летописи. Ничего нового тут не было, но летописный текст получил у Байера совершенно новое звучание.

Во-первых, Байер выступил против распространенной в русской историографии последних столетий традиции — выводить Рюрика из Пруссии как потомка Августа. В свое время против идеи происхождения московских царей от Августа решительно ополчался Юрий Крижанич. Теперь развернулась вторая атака на эту концепцию, но с противоположными целями — развенчать попытку русских возвеличить свое государство родством с Римской империей. Байер объявил эту концепцию баснословной и сравнивал ее с попытками поляков генетически связать своих королей с Юлием Цезарем. Как известно, Кадлубек развивал легенду о том, что польский король Лешко III трижды побеждал Цезаря и тот был вынужден отдать за него свою сестру Юлию, а в приданое ей — Баварию.

Байер был, безусловно, прав, отрицая родословную русских царей как начинающуюся якобы от Августа. Из петербургских академиков-немцев он первым начал высвобождение древнейшей русской истории из тумана легенд. После Крижанича и Байера всякое усилие, направленное на то, чтобы вызвать тень Рюрика из Пруссии, было обречено на неудачу.

Во-вторых, на место традиционных связей Руси с Западом Байер ставит ее связь с Севером. Рюрик был варяг, следовательно, он пришел из Скандинавии, настаивал Байер. И тут логика была на его стороне.

В-третьих, Байер по-иному взглянул и на самый характер появления варягов на берегах Волхова и Днепра. Еще со времен Киевской Руси летописный сказ об этом понимался русскими книжниками в том

[18] *Байер Г. З.* О варягах. СПб., 1767, с. 1.

смысле, что имело место мирное, добровольное и всенародное призвание княжеской власти на русскую землю. Байер, однако, обратил внимание на то, что признание мирного прихода варягов на Русь никак не согласуется с известиями самой летописи. Ведь «Повесть временных лет» начинается с рассказа о том, как варяги господствовали над славянами и их союзниками, взимали с них дань. Те восстали и прогнали варягов за море. Начавшиеся после этого междоусобия заставили восставших было славян вновь обратиться к тем же варягам и умолять их вернуться, чтобы снова «княжить и владеть» ими. Байер делал из этого вывод, что вторжение варягов на русскую землю было насильственным, представляло собой вторжение завоевателей. Слова же о том, что славяне вдруг одумались и снова пригласили варягов, власть которых только что свергли, являются совершенно неправдоподобными и не заслуживают доверия. Для Байера не подлежал сомнению завоевательный характер варяжских вторжений на Русь. Как мы увидим далее, норманнов и в самом деле никто и нигде не приглашал — они являлись сами. Их вторжения на берега Волхова и Днепра ничем не отличались от таких же военных акций в других странах — в Англии, Франции (Нормандия), Италии (Королевство обеих Сицилий).

В-четвертых, появление варягов и их предводителей на Руси было определено Байером не только как вторжение германского этнического элемента, но и как привнесение извне русской государственности. Положение рисовалось таким образом, что славянские и финские племена восточноевропейских равнин были какими-то троглодитами, а бродячие дружины варягов с их предводителями выступали носителями государственности. В этом Байер был решительно не прав, и его представления на сей счет не поднимались выше воззрений летописцев. Для них история народа начиналась с государства, а история государства — с первого государя. Проблема «Откуда есть пошла русская земля» решалась ими весьма просто: с ответа на вопрос «Кто первый стал княжить?» Славяне к тому времени прошли тысячелетний путь своей истории, имели своих племенных князей и переживали завершающую стадию создания межплеменного государственного объединения с центром в Киеве. Дальнейшее развитие исторической науки показало, что для решения вопроса о происхождении государства основополагающей по значению является конкретная история формирования социальных и государственных институтов. Существенно установить, как именно формировалось государство. Вопрос же о том, кто его создавал, какой князь, какая династия и т. д., второстепенен. У Байера между тем речь шла не о путях создания русского государства, а о том, кто его строил.

Но в этом как раз и крылся замысел Байера. Ему, человеку, проникнутому бироновскими настроениями, первые строчки русской летописи нужны были именно для того, чтобы доказать, что создателями русского государства выступали вовсе не славяне, а чужеземцы, предки тех самых шведов, победой над которыми так кичатся русские. Сказ о призвании варяжских князей, веками служивший

прославлению Руси, теперь получил новое истолкование: в глазах Байера он представлял собой не что иное, как поношение русского народа и его государства. В этом состояла *политическая* задача бироновщины, которая господствовала в стенах Петербургской Академии наук. Норманизм родился как откровенно антирусское явление, и не случайно автором этой концепции был Байер. Он так и не прижился в России. Ученый решил вернуться в Германию. В сборах в обратную дорогу он и умер.

Дальнейшее обострение борьбы между норманизмом и антинорманизмом связано с именами Миллера, Шлецера и Ломоносова.

Герард Фридрих Миллер (1705—1783)

Миллер (в России его именовали Федором Ивановичем) [19] родился в вестфальском городе Герфорде. Окончив тамошнюю гимназию, он учился в Ринтельнском, а затем в Лейпцигском университете. Когда в связи с созданием в России Академии наук сюда стали приглашать ученых и преподавателей из-за границы, то двадцатилетний Миллер в 1725 г. приехал в Петербург и был зачислен адъюнктом Академии. Поначалу его дела складывались вполне благополучно. Ему покровительствовал знаменитый секретарь Академии Шумахер. С его помощью Миллер получает должность преподавателя латинского языка, истории и географии в академической гимназии. Вскоре ему поручили вести в отсутствие конференц-секретаря протоколы заседаний Академии; в 1728 г. он назначается редактором издаваемой Академией газеты «Санкт-Петербургские ведомости». В 1731 г. Миллер избирается профессором, т. е. членом Академии. В 1732 г. он первый редактор упоминавшегося выше исторического журнала «Sammlung russischer Geschichte» (выходил на немецком языке в 1732—1765 гг.).

Первые номера журнала дают четкое представление о научных интересах молодого Миллера. Предметом его занятий сделалась русская история. «Sammlung» открывается статьей Миллера о русской летописи. Если не считать огрехов, порожденных тогдашним плохим знакомством Миллера с русским языком, статья эта ориентировала иностранцев в источниках по русской истории. Ее автор рассказал о варягах, пришедших из Скандинавии, осуществил перевод на немецкий язык текста «Повести временных лет» с 860 по 1175 г., привел сведения, которые сообщают о древней истории

---

[19] Очерки истории исторической науки в СССР, т. 1, с. 191—193; *Рубинштейн Н. Л.* Русская историография, с. 99—115; *Бахрушин С. В.* Г. Ф. Миллер как историк Сибири. — В кн.: Миллер Г. Ф. История Сибири. М.; Л., 1937, т. 1, с. 3—57; *Андреев А. И.* Труды Г. Ф. Миллера о Сибири. — В кн.: Миллер Г. Ф. История Сибири, т. 1, с. 57—144; *Алпатов М. А.* Варяжский вопрос в русской дореволюционной историографии. — Вопр. истории, 1982, № 5, с. 31—45; Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера. ., с. 3—11, 25—31 и др.; *Соловьев С.* Герард-Фридрих Миллер. — Современник, СПб., 1854, т. 47, № 10, с. 115—150.

России византийские и скандинавские писатели. Миллер знакомил в «Sammlung» и с дальнейшей историей России, включая современную ему, но особенно важна именно первая его статья о древней Руси. Это та самая статья, которую затем прочитает Байер, вследствии чего и возникнет пресловутый *варяжский* вопрос.

Бросается в глаза и другое обстоятельство: журнал изобилует статьями о Востоке, в которых рассказывается о географии и истории сопредельных с Россией восточных стран.

Однако столь удачно, казалось бы, начавшаяся ученая карьера Миллера оборвалась: Шумахер превратился из его покровителя в непримиримого врага. Приехавший в Россию еще в 1714 г. и осуществлявший по поручению Петра I научные связи с западными странами Шумахер стал теперь, и надолго, всесильным вершителем судеб Академии. Началось это уже в 1728 г., при первом президенте Блюментросте, и продолжалось при Корфе (с 1732 г.). Свое положение Шумахер сохранял около 10 лет и при Разумовском (с 1746 г.). Самоуправство Шумахера вызывало резкое недовольство академиков, некоторые из них даже уехали из России. Но поддержка президентов делала Шумахера неуязвимым, хотя «с легкой руки» того же Корфа Шумахер прослыл среди академиков как «неученый собрат и канцелярский деспот». Миллер, человек независимого характера, не смог примириться с тиранией Шумахера и вынужден был уехать во вторую Камчатскую экспедицию. К Миллеру и Гмелину был прикомандирован студент Степан Крашенинников, ставший впоследствии академиком, автором труда «Описание земли Камчатки».

На Камчатку Миллер не попал, а занялся исследованием Сибири. Это был подлинный научный подвиг молодого ученого. Экспедиция длилась 10 лет (1733—1743). Миллер проделал по Сибири свыше 31 тыс. верст. Он знакомился с географией, этническим составом населения, фольклором. В поле его наблюдения оказалась территория Березов—Усть-Каменогорск—Нерчинск—Якутск. Он обследовал и описал архивы более двух десятков городов, собрал богатейший архивный материал, которым потом пользовалось не одно поколение ученых. Среди этих материалов была сибирская летопись Ремезова.

Собранный материал составил основной корпус критически освоенных источников большого труда Миллера «Описание Сибирского царства и всех происшедших в нем дел от начала, а особливо от покорения его русской державой по сии времена». На русском языке первый том этого труда появился в 1750 г. и был переиздан в 1787 г. Отдельные части второго тома печатались в «Ежемесячных сочинениях». Полностью исследование Миллера под названием «История Сибири» вышло на немецком языке: первый том в 1761 г., второй — в 1763 г. Изложение событий доведено здесь до 60-х годов XVII в. Это был первый научный труд по общей истории Сибири, и поныне не утративший своего научного значения, переизданный после Октябрьской революции (это было первое полное издание

труда Миллера о Сибири на русском языке [20]) и вызвавший отклик в советской историографии [21].

Советские лингвисты тоже поминают добрым словом «Историю Сибири» Миллера. Дело в том, что Миллер многое сделал для выработки правильных представлений о енисейских языках. Из этой группы языков до нас дошел только один — кетский, но у Миллера имеются сведения и о других, ныне вымерших языках этой группы, благодаря чему стало возможным восстановить прошлое остальных енисейских языков (енисейскую прасистему), выяснить их родственные связи с другими языками и на основе языковых данных осветить историю соответствующих народов. Это особенно важно, поскольку енисейские народы, как известно, не имели письменности.

Наряду с записями Д. С. Мессершмидта, Ф. И. Страленберга, И. Э. Фишера «История Сибири» Миллера — уникальный источник по ныне исчезнувшим енисейским языкам — аринскому, ассанскому и пумпокольскому. Миллер и Гмелин обнаружили всего нескольких последних ассанов и одного старика аринца, еще знавших языки своих племен. Миллер перевел на енисейские языки около трехсот латинских слов, составил словарь нескольких наречий. «В настоящее время благодаря вновь открытым и опубликованным старым материалам XVIII в., собранным великими тружениками, немецкими учеными, работавшими в России, можно утверждать, что сравнительно-историческое изучение енисейских языков открывает новый этап в истории этой группы языков» [22].

Немалую роль сыграл Миллер в собирании и разработке материалов о народах менее отдаленных, о чем свидетельствует его труд, имеющий витиеватое название — «Описание живущих в Казанской губернии языческих народов яко-то черемис, чуваш и вотяков. С показанием их жительства, политического учреждения, телесных и душевных дарований, какое платье носят, от чего и чем питаются, о их торгах и промыслах... С приложением многочисленных слов на семи разных языках, как-то: на казанско-татарском, черемисском, чувашском, вотяцком, мордовском, пермском и зырянском... Сочиненное Герардом-Фридрихом Миллером... по возвращении его в 1743 г. из Камчатской экспедиции» [23].

В 1747 г. исторический департамент Академии был расформирован. Президент Разумовский назначил Миллера на должность Российского историографа. В этом же году Миллер стал ректором академического университета и исправлял эту должность три года. С 1754 г. в течение 11 лет он трудится в должности конференц-секретаря Академии, обязанностью которого было ведение протоколов

---

[20] *Миллер Г. Ф.* История Сибири. М.; Л., 1937—1941. Т. 1/2.
[21] Статьи Бахрушина и Андреева (см. примеч. 19).
[22] *Топоров В. Н.* Материалы к сравнительно-исторической фонетике енисейских языков. — В кн.: Кетский сборник [вып. 1]. Лингвистика. М., 1968, с. 278—279.
[23] Ежемесячные сочинения, СПб., 1756, июль—август; отдельные фрагменты этого труда выходили в «Новых ежемесячных сочинениях» (СПб., 1781, февраль—март). Отдельное издание вышло в Петербурге в 1791.

академических собраний, вся внешняя переписка Академии и издание академических «Комментариев». К этому нужно прибавить, что он вернулся к редактированию «Sammlung», а с 1755 до конца 1764 г. редактировал «Ежемесячные сочинения». Работой в «Ежемесячных сочинениях» Миллер очень дорожил. Полагалось, чтобы каждый член Академии (по очереди) предоставлял свои сочинения для месячного выпуска журнала. «Но, выключая весьма малое число чужих сочинений, все сделал я один. Может быть, изо всех моих сочинений сие есть наиполезнейшее для российского общества. . . Сим сочинениям честию служит, что они как в Санкт-Петербурге, так и в Москве приобрели много подражателей» [24].

В 40-е годы Миллер окончательно определяет свое отношение к России. Байера, Миллера и Шлецера нельзя ставить рядом — они во многом разные. И к России они относились по-разному. Если Байер знал ее в бироновские времена, презирал все русское, решил вернуться в Германию, то Миллер и Шлецер считали русский народ великим народом, а Россию — великой страной с великим будущим. В этом отношении Миллер пошел дальше Шлецера. Последний все же уехал из России, а Миллер обрел здесь новую родину. В 1748 г. он принял русское подданство. Два его сына находились в русской армии, он писал о них: «А дети мои, коих я воспитал для службы отечеству, — и действительно они служат капитанами — прямые будут сыны отечества, потому что иностранный человек, пока он в России не испомещен, всегда будет иностранцем». Сам Миллер даже просился в воронежские губернаторы. В губернаторы он не попал, но всегда был исправным служакой, хозяйским оком смотрел на положение в исторической науке. Вместе с Ломоносовым он восстал против Шлецера, вывозившего русские исторические документы в Германию. Миллер считал, что всякая «вне России изданная русская история будет наполнена промахами и недостатками даже в том случае, если сочинитель знает русский язык, жил некоторое время в России» [25].

Миллер утверждал величие России в исторической науке. В 1762 г., еще при жизни Ломоносова, в речи на академическом собрании в честь Екатерины II он выступил пропагандистом теории циклического развития в том ее виде, в каком она встречается в петровские времена. «Примечено, — говорил он, — что науки переходят от одного народа к другому. . . Переселившись из Египта в Грецию, а из Греции в Рим, распространились науки по всей Европе», в том числе и в России, которая взирает «с восхищением на приближающееся время, в кое и она самым издавна просвещенным народам первенство в науках уступать не имеет» [26]. Миллер заговорил как заправский деятель екатерининской поры.

---

[24] *Миллер Г. Ф.* Автобиография. — В кн.: История Сибири, т. 1, с. 151.
[25] *Пекарский П. П.* История императорской Академии наук в Петербурге, т. 2, с. 379.
[26] *Миллер Г. Ф.* Речь о содержании заданных Имп. Академиею наук из награждения вопросов и полученных на оные решений. . . — В кн.: Торжество. . . отправленное Имп. Академиею наук в публичном собрании сентября 23 дня 1762 г. СПб., [1762], с. 3.

Время после возвращения Миллера из сибирского путешествия характерно тем, что научные интересы российского историографа все больше перемещались с истории Сибири на историю европейской части России. Миллеру пришлось возвратиться к той точке, с которой он начинал перед поездкой в Сибирь, — к древнейшей истории России. Толчком к этому послужило событие, которое наложило печать на судьбу Миллера и послужило поводом к самым разноречивым оценкам его роли в русской исторической науке. Сам Миллер вспоминал об этом событии с большой горечью. В автобиографии «Описание моих служб» он очень лаконичен на этот счет. «В 1749 г. написал я на латинском языке сочинение о начале российского народа и имени, переведенное и на российский язык и напечатанное на обоих языках. Сие сочинение было определено для прочитания в публичном академическом собрании; но по особливому происшествию учинилось в том препятствие, и сие сочинение не обнародовано» [27].

А началось все с того, что 5 сентября 1749 г., в день именин императрицы Елизаветы, должно было состояться торжественное собрание Академии. Доклад был поручен Миллеру, назывался он «Происхождение народа и имени Российского». Миллер встал на точку зрения Байера. Это вызвало возражение Ломоносова. Текст подготовленной Миллером речи обсуждался в Академии дважды, причем второе ее обсуждение началось в октябре 1749 г., а закончилось лишь в марте 1750 г. На стороне Ломоносова выступали С. П. Крашенинников, Н. И. Попов, В. К. Тредьяковский, И. Э. Фишер, Ф.-Г. Штрубе де Пирмонт. Главный их тезис состоял в том, что варяжские князья были из племени роксолан.

Обсуждение «скаредной диссертации» Миллера носило бурный характер. Впоследствии в «Краткой истории поведения Академической канцелярии» (1764) Ломоносов рассказывал: «Сии собрания продолжались больше года. Каких же не было шумов, браней и почти драк! Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, на иных замахивался палкою и бил ею по столу конферентскому. И наконец, у президента в доме поступил весьма грубо, а пуще всего асессора Теплова в глаза бесчестил» [28]. Если учесть, что Ломоносов был тоже человек крутого нрава и ходил тоже с палкой, то нетрудно себе представить всю ожесточенность этих ученых баталий. Ломоносов, для которого борьба с норманистами была составной частью его борьбы с немецким засильем в Академии, доказывал, что по отношению к России Миллер постоянно «всевает по обычаю своему занозливые речи» и «непристойности». Многие из противников Ломоносова обвиняли его в «несносном бесчестии и неслыханном ругательстве» по своему адресу и даже выносили постановление не допускать Ломоносова на академические заседания. Дело кончилось тем, что академики осудили речь Миллера, но сделали это после отчаянного сопротивления.

---

[27] *Миллер Г. Ф.* Автобиография, с. 150.
[28] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 6, с. 549.

Вот в какой обстановке развернулся спор вокруг *варяжского* вопроса.

Дискуссия о варягах надолго приковала внимание Миллера к древнейшему периоду Руси. Об этом свидетельствуют его сочинение «О первом летописателе Российском преподобном Несторе, о его летописи и продолжателях оныя» (1755) и две работы 60-х годов — «Краткое известие о начале Новгорода и о происхождении российского народа» и «О народах, издревле в России обитавших». Наибольшего внимания заслуживают последние произведения. Они важны в двух аспектах. Во-первых, Миллер обратил внимание на несовместимость легенды о мирном призвании варяжских князей с общей картиной войны славян с варягами, которую рисует летопись. Он пришел к выводу, что варяжские викинги никак не могли быть призваны в качестве правителей. Не безрассудно ли, спрашивает Миллер, что славяне, только что сбросившие иго варягов, обратились к тем же самым изгнанным за море варягам, умоляя их вернуться, чтобы снова владеть и править ими? При этом не было заключено никакого договора с приглашаемыми правителями, в то время как у новгородцев это было непреложным правилом. Что являлось причиной приглашения варягов? Отсутствие порядка, внутренние раздоры? Но почему же тогда славяне так быстро и легко договорились о приглашении князей, да еще из враждебного народа? Да и какая нужда была обращаться к чужеземцам? Совершенно очевидно, что князь из собственного народа был бы лучшим правителем, чем чужеземец, не знавший обычаев земли. Наконец, во имя чего приглашали славяне варяжских князей? Ради спокойствия и мира на их земле? А что принесли варяги? Рюрик, усевшись в Новгороде, оказался свирепым угнетателем, довел новгородцев до восстания и жестоко расправился с восставшими и их вождем Вадимом Новгородским.

Миллер выдвигает иную трактовку появления Рюрика и его братьев на славянской земле. Они появились здесь в качестве предводителей наемных дружин для охраны Новгородской земли. Именно поэтому, подчеркивает Миллер, их не пустили в Новгород, а рассадили по крепостям: Рюрика поместили в Ладогу, Синеуса — в Белоозеро, Трувора — в Изборск, на что указывает и сама летопись. Впоследствии Рюрик узурпаторски захватил власть в Новгороде и стал единовластным правителем. С этого, собственно, и начинается захват власти варягами на русской земле, который привел в дальнейшем к утверждению потомков Рюрика в качестве князей и в самом Киеве. Такое истолкование Миллером летописного рассказа о мирном призвании варягов не потеряло своего научного значения и в наши дни.

Во-вторых, откуда пришел Рюрик? И в этом вопросе Миллер отступает от своей прежней точки зрения. Как и Байер, выводивший Рюрика раньше из Скандинавии, Миллер теперь считает, что Рюрик происходил из племени роксолан. Свой новый взгляд на этническую принадлежность Рюрика он уже противопоставляет взгляду Байера, подчеркивая, что установить правильный взгляд на происхождение Рюрика Байеру помешало незнакомство с источниками. Это была

прямая уступка точке зрения Ломоносова, который выводил Рюрика тоже из роксолан. Однако Миллер решительно не желает, чтобы подумали, что он капитулировал перед Ломоносовым. Разницу между своей точкой зрения и точкой зрения Ломоносова он усматривает в том, что Ломоносов и он выводят Рюрика из разных мест, занятых роксоланами. Другими словами, сделав уступку даже во второстепенном вопросе, он продолжал полемику со своим давним противником, хотя и очень ценил заслуги Ломоносова в русской науке [29]. Полемизирует он и с Татищевым, высказывая вполне основательное сомнение в финском происхождении Рюрика. Вместе с тем ученый отдает должное и Татищеву, ибо «заслуги его в Российской истории бессмертны». Перемена взгляда Миллера на этническое происхождение Рюрика вызвала, как известно, гнев Шлецера, считавшего Рюрика вслед за Байером скандинавом.

Научные интересы Миллера простирались на весьма широкий круг проблем [30]. К петербургскому периоду его деятельности относятся исследования о времени царей Федора Ивановича и Бориса Годунова, об избрании Михаила Федоровича на престол, о годах царя Федора Алексеевича, которые историк рассматривал как преддверие петровского времени; его очень интересовала деятельность Петра, он писал по истории Украины, по истории казачества, о восстании Разина, работал над многими другими проблемами.

Миллер не переставал трудиться над русской картографией. Он собрал «известия о ландкартах, касающихся до Российского государства с пограничными землями, также и о морских картах тех морей, кои с Россией граничат»; в 1745—1746 гг. составил карту всей Сибири; в 1754 г. — карту островов между Камчаткой и Америкой. Ему принадлежит карта территории между Каспийским и Черным морями; он внес дополнения в издававшиеся Академией наук работы о Каспийском море, созданные известным исследователем русских морей Ф. И. Соймоновым. Миллер был назначен руководителем географического департамента при Академии наук. Русское правительство обращалось к нему за «разъяснениями», когда возникали «сумнительства» относительно пограничных территорий, и т. д.

Миллер был постоянным рецензентом иностранных сочинений о России. Наряду с Ломоносовым ему было поручено помогать Вольтеру в его работе над «Историей Петра Великого». События, с этим связанные, хорошо известны. Напомним лишь, что Ломоносов и Миллер в изобилии снабдили Вольтера историческими источниками по Петровской эпохе, хранившимися в русских архивах. Вольтер, однако, прошел мимо них. Когда рукопись первого тома вольтеровской истории Петра была прислана в Петербург, оказалось, что она полна грубых ошибок. Замечания, которые были сделаны в Петер-

[29] *Миллер Г. Ф.* О народах, издревле в России обитавших. 2-е изд. СПб., 1788, с. 127.

[30] Библиографию трудов Миллера и советской литературы о нем см.: *Емельянов Ю. Н.* Историческая проблематика периодических изданий Академии наук (1725—1917). — История и историки: Историографический ежегодник, 1975. М., 1978, с. 215—218; 222—223.

бурге, мало помогли делу и вызвали раздражение Вольтера. Об отношениях, сложившихся между Вольтером и его русскими рецензентами, рассказывают строчки Миллера, которые приводит С. М. Соловьев: «Все согласны, что Вольтерова история Петра Великого не удовлетворила всеобщему ожиданию. Ее недостатки замечены были еще до ее появления в свет по тем образчикам, которые автор прислал в Петербург в рукописи. Меня просили сделать замечания; я сделал. Но г. Вольтер не имел терпения ими воспользоваться: так спешил он напечатать первый том. После появления его в свет я продолжал писать свои заметки. . . Заметки мои были отосланы к автору. На их-то основании в предисловии ко 2 тому он исправил некоторые промахи, сделанные в первом томе. . . наговорил мне грубостей; особенно постарался он не коснуться тех замечаний, которые бы заставили его покраснеть» [31].

1765 год внес в жизнь Миллера большие перемены. Его переводят в Москву: коллежский советник Миллер должен был руководить Воспитательным домом. Свое новое назначение петербургский академик встретил с большим сопротивлением. Согласился «в уповании, что при том возможно мне будет пользоваться московскими архивами для российской истории, о чем я был и обнадежен». За ним сохранились и звание академика, и должность российского историографа. Через год Миллера перевели в архив коллегии иностранных дел в Москве, а скоро он стал его руководителем. Здесь он нашел самые благоприятные условия для работы: ему было разрешено пользоваться Разрядным архивом, состоявшим в ведомстве Сената, а также делами, оставшимися от прежнего Сибирского приказа.

Начался новый этап в жизни российского историографа. Престарелый ученый оставался все тем же неутомимым тружеником. Разбитый в 1772 г. параличом, он продолжал работать. Наиболее плодотворной была в то время его публикаторская деятельность. Правда, она началась задолго до этого. Еще в 1755 г. в Петербурге Миллер издал «Описание земли Камчатки» Крашенинникова. При издании книги «недоставало у ней предисловия и потребных для изъяснения ландкарт. Предисловие сочинено мною, а ландкарты приказал я заимствовать из генеральной карты о Сибири» (которая была составлена также Миллером). Ему же русская наука обязана изданием «Истории Российской» Татищева, которая с 1739 г. в Академии «таскалась в манускриптах» (вышли в свет три части). Было издано «Ядро Российской истории» Манкиева (тогда эта книга приписывалась князю Хилкову).

Пополнилось издание источников. Миллер издал «Судебник» Ивана Грозного с примечаниями Татищева, «Степенную книгу», географический словарь Российского государства, письма Петра Великого к Б. П. Шереметеву, проповеди Г. Бужинского, посвященные Петру Великому. По поручению Екатерины II старый ученый проводил большую работу по изданию русских дипломатических

---

[31] *Соловьев С.* Герард-Фридрих Миллер, с. 146.

документов («Собрание русской дипломатики»). Издания Миллера сразу же вошли в обиход русской исторической науки. Советами и помощью Миллера пользовались многие историки, в частности Щербатов в работе над своим трудом по русской истории. Для «Деяний Петра Великого» Голикова Миллер предоставил сотни архивных документов. Он снабжал документами Новикова для его «Древней Российской Вивлиофики». Публикация русских исторических источников в «Опыте трудов Вольного Российского собрания» осуществлялась также при ближайшем участии Миллера. Накопленный им фонд исторических источников составил содержание свыше 250 «портфелей Миллера» [32], не потерявших своего значения и до сих пор. Из этого запаса черпали и черпают документальный материал многие исследователи вплоть до нашего времени.

Не прекращалась и авторская работа Миллера. В «Опыте трудов Вольного Российского собрания» (т. IV и V) вышли его статьи о раннем периоде истории Петра. Петровским временем он начал заниматься еще в Петербурге. С интересом к Петру связана и его публикация писем Петра и проповедей Бужинского. Миллеру было поручено писать историю Академии наук к ее 50-летнему юбилею. Он предпринимает путешествия по «московской провинции», в результате чего появляются его описания Коломны, Можайска, Рузы, Звенигорода, Савино-Сторожевского монастыря, Дмитрова, Троице-Сергиевой лавры, Переяславля Залесского [33].

С обычным своим рвением исполнял он общественные обязанности: был депутатом Академии наук в комиссии по составлению «Уложения». Екатерина II очень ценила Миллера, поручая ему составление проектов законов в области культуры. Она купила его библиотеку и все бумаги для архива за 20 тыс. руб., предоставив все это Миллеру в пожизненное пользование. Такой чести ею, как известно, был удостоен Дидро. Миллера пожаловали чином действительного статского советника и орденом св. Владимира, но ученый уже понимал, как свидетельствует его переписка, что ему недолго осталось пользоваться этими милостями. Он умер 11 октября 1783 г., оставив большой след в русской исторической науке.

---

[32] *Голицын Н. В.* Портфели Г.-Ф. Миллера. М., 1890; Любопытные документы из портфелей Миллера. — Исторические материалы. Отд. 4. М., [1853].

[33] На русском языке они выходили в «Ежемесячных сочинениях» в 1789—1790 гг.

Август Людвиг Шлецер
(1735—1809)

Если Байер знал Россию времен бироновщины и с презрением относился ко всему русскому, если Миллер стал усердным екатерининским служакой, то отношение Шлецера к России было очень сложным. Оно определялось его теоретическими взглядами, исторической концепцией и самой его работой в России [34].

---

[34] Литература о Шлецере огромна. Укажем лишь основные работы. Оценка Шлецера в русской дворянско-буржуазной историографии складывалась в значительной мере под влиянием борьбы норманизма и антинорманизма. Наиболее характерными для норманистов сочинениями о Шлецере были: *Соловьев С. М.* Шлецер и антиисторическое направление. — Собр. соч.: товарищество «Общественная польза», Б. г., стб. 1539—1576; *Он же.* Август Людвиг Шлецер. — Там же, стб. 1582—1584, *Иконников В. С.* Август Людвиг Шлецер: Ист-биогр. очерк. Киев, 1911; *Милюков П. Н.* Главные течения русской исторической мысли. 3-е изд. СПб., 1913, с. 72—83, 84—107, 107—127.

Типичные для антинорманистов оценки Шлецера встречаются обычно у славянофильствующих авторов. См: *Венелин Ю. И.* Скандинавомания и ея поклонники, или столетия изыскания о варягах. — Московский наблюдатель, 1836, окт., кн. 1, с. 269—307; окт., кн. 2, с. 395—425; *Максимович М. А.* Аноикритика. Письмо г. Максимовича к издателю (Речь идет об издателе «Москвитянина» М. П. Погодине. — *М. А.*). — Москвитянин, 1841, ч. 3, № 5, с. 198—211; *Попов А. Н.* Шлецер. Рассуждение о русской историографии. — В кн.: Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847, с. 397—483; *Коялович М. О.* История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. СПб., 1884, с. 117—130 и др.

Но были авторы, не разделявшие крайних оценок Шлецера. К. Н. Бестужев-Рюмин, несмотря на свои славянофильские симпатии, признавал и заслуги Шлецера перед русской наукой (*Бестужев-Рюмин К. Н.* Биографии и характеристики. . ., с. 177—203); В. О. Ключевский, не принадлежавший ни к норманистам, ни к антинорманистам, не только указывал на ошибки Шлецера, но и говорил о его положительной роли в русской историографии (см.: *Ключевский В. О.* Соч. М., 1959, т. 8, с. 445—452); Шлецеру отдавал должное и А. А. Шахматов (см. его «Разыскания о древнейших русских летописных сводах». СПб., 1908, с. III).

Сложной была судьба Шлецера в советской историографии. Рецидив норманизма проявился в книге Н. Л. Рубинштейна «Русская историография» (М., 1941) Но решение варяжского вопроса шло в объективном направлении, что отразилось и на оценке Шлецера. Еще в начале 30-х годов на этот путь встал С. Н. Валк, дававший объективную оценку Шлецеру (см.: Исторический источник в русской историографии XVIII в. — Проблемы истории докапиталистических обществ, 1934, № 7/8, с. 33—35). Рубинштейн внес поправку в свою оценку русской историографии второй половины XVIII в., правильно определив место в ней Татищева и Ломоносова (см.: Историография истории СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции. 2-е изд. М., 1971, с. 69—80). Объективная оценка Шлецеру дается в рецензии В. В. Мавродина, С. Л. Пештича, В. А. Якубовского на книгу «A. L. v. Schlözer und Russland», вышедшую в ГДР под ред. Э. Винтера в 1961 г. (История СССР, 1963, № 3, с. 223—230). Эта же оценка нашла свое место и в книге Пештича «Русская историография XVIII в.» (Л., 1965, ч. 2, с. 241—242).

Обобщающий характер носит статья Л. В. Черепнина «А. Л. Шлецер и его место в развитии русской исторической науки: Из истории русско-немецких научных связей во второй половине XVIII—начале XIX вв.» в кн. «Международные связи России в XVII—XVIII вв.: Экономика, политика, культура» (М., 1966). Здесь с большой тщательностью определяются как сильные, так и слабые стороны научной деятельности Шлецера, дается историография вопроса.

Шлецер представлял собой типичного немецкого просветителя своего времени. Таким он оставался до конца жизни. В ряды просветителей Шлецера ставит его резко отрицательное отношение к основному явлению феодальной эпохи, вокруг которого шла общественная и идейная борьба, — к крепостному праву. В автобиографии он негодует против этого «бесчеловечного изобретения», которое «притупляет и убивает всякое, даже инстинктивное движение человека к личному счастью и к пользе общей» [35]. О взглядах Шлецера в сфере общественно-политической у нас есть немало и русских

На Западе наиболее глубокий след Шлецер оставил, естественно, в немецкой исторической литературе. Сам Шлецер начал было писать автобиографию, но успел рассказать лишь о первых годах своего пребывания в России (1761—1765 гг.). Это его «August Lüdwig Schlözer's öffentliches und Privatleben, von ihm selbst beschrieben». Erstes Fragment. Göttingen, 1802. Известен ее русский перевод (см. примеч. 12). Жизнеописание, начатое отцом, решил довести до конца его сын Христиан. Появился двухтомный труд: August Lüdwig von Schlöezer's öffentliches und Privatleben. Aus Originalurkunden und mit woertlicher Beifügung meherer dieser letzteren vollstaendig beschrieben von dessen aeltestem Sohne Christian von Schloezer. Bd. 1—2. Leipzig, 1828. Эта биография Шлецера, какой она представлялась его сыну; в книге приведен обширный документальный материал. Как автобиография отца, так и труд сына имеют неоспоримое значение источника.

Тема о Шлецере стала непременной принадлежностью всех солидных немецких «хандбухов» по историографии, широко известных в Европе: *Lorenz O.* Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben. Berlin, 1866, S. 29—30; *Wegele F.* Geschichte der deutschen Historiographie seit zum Auftreten des Humanismus. München; Leipzig, 1885, S. 766—772; *Fueter E.* Geschichte der neueren Historiographie. 2 Aufgabe. München; Berlin, 1925, S. 373—374; *Diethey W.* Studien zur Geschichte des deutschen Geistes. — In: Diethey W. Gesammelte Schriften. Stuttgart, 1959, Bd. 3, S. 261—264.

О Шлецере писали многие немецкие историки, в том числе крупные, пользовавшиеся в России в XIX в. большой популярностью: *Heeren A. H.* August Lüdwig von Schlözer. — In: Historische Werke. Theil 6. Göttingen, 1823, S. 498—514 (Русский перевод см.: Московский вестник, 1827, ч. 4, с. 315—332); *Bock A.* Schlözer: Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Hannover, 1844. Изложение работы Бока см.: *Головатов Г.* Август Людвиг Шлецер. — Отечественные записки, 1844, т. 35, отд. 2, с. 39—66; *Шлоссер Ф. К.* История восемнадцатого столетия и девятнадцатого до падения французской империи. 2-е изд. СПб., 1868, с. 182—185.

Для всех этих авторов характерно стремление показать Шлецера как многогранного ученого и публициста, как представителя века Просвещения, сыгравшего видную роль в истории исторической науки на Западе. Но его работа в России, его роль в русской историографии для этих авторов осталась или совсем неизвестной, или изображалась на один и тот же манер: Шлецер, как и другие академики-немцы в России, выступал как своего рода миссионер от науки, учивший русских азам исторического познания.

Коренной поворот в сторону объективного изучения роли Шлецера в русской историографии наступил только у историков ГДР. Основополагающим явлением был выход сборника документов о роли Шлецера в русской исторической науке (см. примеч. 8). Результатом сотрудничества советских историков и историков ГДР была совместная конференция по русско-немецким научным связям XVIII в. Доклады на этой конференции составили сборник: Lomonosov, Schlözer, Pallas. Deutsch-russische Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert. Hrsg. im Zusammenarbeit mit C. Grau, P. Hoffman und H. Lemke von E. Winter. Berlin, 1962.

Это заложило прочный фундамент для объективного изучения роли Шлецера, как и других немецких ученых, в русской науке XVIII в.

[35] Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера. . ., с. 118.

свидетельств. Геттингенский университет, где большую часть своей жизни работал Шлецер, был в то время крупным просветительским центром в Европе, куда охотно ездила учиться дворянская молодежь многих стран. Бывали там и русские студенты. Об этом у нас существует целая литература [36]. Наибольшей известностью пользуется написанное о Геттингенском университете А. И. Тургеневым, учившимся там в 1802—1804 гг. [37] Материалы Тургенева не оставляют сомнений в антикрепостнических взглядах Шлецера. Особенно тяжелое впечатление на него, судя по всему, произвели крепостнические порядки в России.

Ненавидел Шлецер и политические порядки феодализма. Самым отвратительным их проявлением он считал современную ему Германию, феодально-раздробленную, состоявшую из множества мелких деспотий. Шлецер не скрывал перед студентами своего презрения к владетельным немецким князьям. Словом, он выступал противником всего, что оставалось в Германии феодального и что, по его убеждению, противоречило здравому смыслу.

Однако Шлецер был представителем немецкого просветительства, на котором лежала печать неразвитости общественных условий тогдашней Германии. Если во Франции век Просвещения послужил идеологической подготовке Великой буржуазной революции, то в Германии роль просветительства была совсем другой. Шлецер, к примеру, являлся убежденным противником революции. Он готов был признать все права угнетенного народа на восстание, но полагал, что это принесет куда больше бед, чем пользы; революция приведет к «сумасбродству свободы», к резне, а это гораздо хуже, чем деспотизм. Пример — Французская революция. Шлецер видел выход не в революции, а в «просвещенном абсолютизме». Просвещенный монарх — вот кто может покончить с феодализмом и тем избавить народ от ужасов «сумасбродства свободы». Если и французским просветителям такая мысль не была чужда (вспомним хотя бы переписку Вольтера и Дидро с Екатериной II или приезд Дидро в Петербург), то подобная идея тем более была характерна для Шлецера: в просвещенном абсолютизме он видел единственный путь политического развития общества.

Воплощением своего идеала Шлецер считал екатерининскую Россию, а затем Россию Александра I. Совершенно закономерен тот факт, что один из русских учеников Шлецера по Геттингену, А. С. Кайсаров [38], выступил автором докторской диссертации «Об освобождении крепостных в России», адресованной Александру I. От русского царя ученик Шлецера ждал освобождения крестьян. Идеи диссертации Кайсарова пришли от Шлецера. России, крупнейшей стране «просвещенного абсолютизма», Шлецер отводил решающую роль на международной арене. Именно она, Россия, служит

---

[36] См.: *Черепнин Л. В.* Указ. соч., с. 209, примеч. 130.
[37] Там же, с. 210, примеч. 132.
[38] О А. С. Кайсарове см.: *Лотман Ю. М.* Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958.

противовесом наполеоновской Франции. Только Россия способна сохранять равновесие в Европе. Только с ее помощью Европа может благоденствовать и не будет ввергнута в пучину революции.

С такой Россией Шлецер был готов связать и свою личную судьбу. Он выступил перед правительством России с ходатайством о принятии его семьи в ряды русского потомственного дворянства. Такой России он отдавал свой талант историка. Главный труд своей жизни — «Нестора» — он посвятил Александру I, а в дворянском гербе Шлецеров желал видеть изображение монаха Киево-Печерского монастыря. Шлецер хотел быть первым, самым крупным летописателем России. Это стремление родилось у него еще в молодые годы, в те восемь лет пребывания в России, которые он считал лучшими в своей жизни.

Более непосредственное влияние на Шлецера оказала французская историческая наука периода идеологической подготовки Великой французской революции. Во французской историографии того времени исключительное место заняла, как известно, идея завоевания. К середине XVIII в. разгорелся знаменитый спор между Буленвилье и Дюбо. Речь шла о значении франкского завоевания Галлии. По мнению Буленвилье, это завоевание создало французскую монархию и французское дворянство, обладающее властью по законному праву завоевателя. Дюбо, отрицая самый факт завоевания, отрицал тем самым и право дворянства на власть. Спор с новой силой вспыхнул в годы Реставрации. Последователем Буленвилье выступил Монлозье. Против него ополчились корифеи буржуазной исторической науки во главе с О. Тьерри и Ф. Гизо. Они приняли тезис о завоевании, но делали из него противоположный вывод: если дворянство завладело властью путем завоевания, то третье сословие имеет такое же право — вооруженной рукой свергнуть дворянскую власть [39].

На протяжении целого столетия — с середины XVIII до середины XIX в. — идея завоевания занимала огромное место в европейской историографии. В середине XVIII в. Д. Юм придавал основополагающее значение в истории Англии нормандскому завоеванию 1066 г. В России идея завоевания, столь популярная на Западе, использовалась дворянской историографией в иных целях — для противопоставления России Западу. Если там государство пошло с германского завоевания, что затем привело к борьбе между сословиями, а позднее и к революциям, то русское государство началось с мирного, добровольного и всенародного призвания варяжских князей, поэтому в социальном строе России отсутствуют причины для революции. Эта концепция была типична и для идеологов консервативного дворянства (Щербатов, Болтин, Карамзин, а после них Погодин), и для славянофилов. В Германии одним из приверженцев идеи завоевания являлся Шлецер. Идея эта наложила свой отпечаток на его концепцию всемирной истории.

---

[39] Подробнее см.: *Алпатов М. А.* Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века, с. 29—130.

Исходный путь его исторических построений — сотворение мира богом и происхождение человеческого рода из первозданной семьи праотца Адама. «Все люди суть творения одного рода. Негр на Сенегале, калмык на Алтае, ирокезец в Северной Америке и даже какурлак на Яве имеют с германцем, французом и британцем одного прародителя» [40]. Это было своеобразное, но по природе своей просветительское толкование теории естественного права; этим утверждалось равенство людей по рождению — противовес неравенству по сословной принадлежности.

История начинается с голого человека на голой земле. Известно, что все люди сначала жили почти наравне с животными. Эти полулюди бродили отдельными семьями, затем семьи стали соединяться в орды, области, государства. «Торговля, путешествия и случаи познакомили рассеянные сии толпы. . . между собою; завоеватели принудили многие из них вступать в союз» [41]. В конечном счете завоевание в соединении с цивилизацией выступает у Шлецера доминирующей причиной образования государств.

Всемирную историю можно рассматривать в виде суммы государств, если писать историю каждой страны, и как систему государств, если писать историю ведущих стран. Шлецер решительно отвергает первый взгляд: «Картина, на части разделенная. . . не подает еще живого представления о целом», ей не будет доставать «всеобщего обозрения». Только выбор главного из этой общей картины «претворяет сумму в систему, приводит все государства земного шара обратно к единице, т. е. к роду человеческому, и ценит народы единственно по их отношению к великим переменам мира» [42].

Поэтому историк должен выбрать «только те народы, которые в великом обществе мира, так сказать, первенствовали» [43]. Какие события должен запечатлеть историк в своем труде? «Из множества известий, под которыми часто история важного народа погребена бывает, отделяет он только те, которые показывают. . . только действительно великие деяния, купно с их причинами. . . Все прочее. . . не нужно» [44]. Выявив *главное* у ведущих народов, историк ставит эти события рядом, «приводит их под одну точку зрения, совокупляет народы, никакого сперва. . . совокупления не имевшие, и составляет систему, посредством которой многоразличность вдруг понять можно» [45].

В «Представлении всеобщей истории» Шлецер дает сравнительно широкий перечень народов, достойных занять свое место

[40] *Шлецер А. Л.* Представление всеобщей истории. СПб., 1772, с. 5.
[41] Там же, с. 18.
[42] Там же, с. 21.
[43] Там же, с. 23.
[44] Там же, с. 24—25.
[45] Там же, с. 25.

во всеобщей истории. В «Несторе», своем последнем и крупнейшем произведении, где он окончательно сформулировал собственный взгляд на эту проблему, Шлецер из всех народов выделяет три наиболее важных, оказавших наибольшее влияние на ход мировой истории: римлян, германцев и россиян.

Исходя из этого, историк намечает периодизацию всемирной истории. По сравнению с господствовавшей до того времени в дворянской и церковной историографии теорией четырех монархий периодизация Шлецера была шагом вперед. Теория четырех монархий таила в себе большие неудобства, давно уже превратившиеся в тормоз исторической науки. Вся история Европы, начиная с падения Рима, входила, по сути, в состав римской истории, поскольку Рим был последней монархией в этой схеме. В XVIII в., когда уже давно поднялись сильные, самостоятельные государства Европы, несоответствие столь архаической схемы историческим реальностям чувствовалось особенно сильно. История европейских стран настоятельно требовала самостоятельной разработки и слома отжившей традиции. Предложенной им концепцией всемирной истории Шлецер ломал эту традицию.

Всемирную историю, по Шлецеру, открывают два «пустых» периода — от сотворения мира до потопа и от потопа до римской истории. Это — предыстория человечества. Другими словами, у старой схемы Шлецер сразу же отсекал три монархии из четырех — ассиро-вавилонскую, персидскую и греко-македонскую; весь Древний Восток и Древняя Греция попадали в предысторию. Основанием для этого служило то соображение, что для систематического описания стран Древнего Востока еще нет материала, «греки еще не важны, карфагенцы лишь только начинаются, римляне еще не существуют». Систематическая история начинается только с римской историей, когда исторических источников становится больше. Значение Рима — «в силе и великих делах его». Римляне «завоевали южную треть нашей частицы вселенной и собранное ими у этрурцев, греков, египтян, карфагенян и азиатцев просвещение распространили до Рейна и Дуная, но не далее» [46]. Такова была первая волна цивилизации.

Вторая связана с появлением германцев. «Германцы по сию сторону Рейна, а особливо франки с V столетия, еще же более со времен Карла Великого. . . назначены были судьбою рассеять в обширном северо-западном мире первые семена просвещения. Они выполняли это предопределение, держа в одной руке франкскую военную секиру, а в другой — евангелие; и самые даже жители верхнего севера по ту сторону Балтийского моря или скандинавы, к которым никогда не заходил ни один немецкий завоеватель, с помощью германцев начали мало-помалу делаться людьми» [47].

---

[46] Нестор: Русские летописи на древле-словенском языке, сличенные, переведенные и объясненные Августом Лудовиком Шлецером / Пер. с нем. Дм. Языкова. СПб., 1809—1819. Ч. 1—3; 1816, ч. 2, с. 177—178.

[47] Там же, с. 178.

Вне цивилизации все еще оставалась огромная территория — «суровый северо-восточный север по сию сторону Балтийского моря до Ледовитого океана и Урала, о существовании которого не ведали ни греки, ни римляне, куда за величайшей отдаленностью не проходил еще ни один германец». Это был дикий край. «Люди тут были, может быть, за несколько тысяч лет, но очень в малом числе; они жили рассеянно на безмерном пространстве земли без всякого сношения между собою, которое затруднялось различием языков и нравов... Кто знает, сколь долго пробыли бы они еще в этом состоянии, в этой блаженной получеловека бесчувственности, ежели бы не были возбуждены» [48].

Под «возбуждением» Шлецер разумеет борьбу с внешней опасностью. Она-то и вывела этих полулюдей из их привычного состояния. «Счастливый человек никогда не рассуждает, а рассуждает только страждущий. И действительно, они страдали от нападения дерзкой шайки разбойников, ворвавшихся в их мирное жилище; и тут они стали рассуждать и приняли лучшие меры для доставления себе внешней защиты и внутреннего спокойствия» [49]. Этими завоевателями были норманны, которые, покорив славянские, финские и всякие иные племена этой территории, вынудили их подняться на борьбу и изгнать завоевателей. Но, находясь на слишком низком уровне развития и не умея создать у себя гражданский порядок из-за междоусобиц, славяне и их союзники вынуждены были снова обратиться к только что изгнанным завоевателям, чтобы те взяли на себя защиту от внешних опасностей и установили бы у них спокойствие и тишину. Так рождается русское государство. Если бы люди этих северных равнин «остались в прежней своей независимости и демократическом одиночестве, то союз их ослаб бы скоро», но призванный князь «принуждается соединить его крепче, и демократическое правление превращается в чистую монархию» [50].

Приход норманнов, по мысли Шлецера, создал русское государство, но это не могло принести россиянам культуры, ибо «просвещение, занесенное в сии пустыни норманнами, было не лучше того, которое лет со 120 назад тому европейские казаки принесли к камчадалам. Но тут Олег перешел в Киев и подвинулся к приятному югу. Тут сильные побуждения к просвещению возникли от Царьграда, сильнейшее было введение христианской веры» [51].

Такова концепция мирового исторического процесса, точнее, концепция европейской истории, созданная Шлецером. Его взгляд сводится к тому, что европейская цивилизация распространялась волнами, а каждая волна приходила с завоевателями. Римские легионы на своих мечах донесли цивилизацию до линии Рейн—Дунай, германские дружины с секирой и евангелием в руках понесли ее дальше, на северо-запад Европы. Третья волна, захватившая северо-восток Европы, связана с норманнами, с той, однако, разни-

[48] Там же, с. 179—180.
[49] Там же, с. 180.
[50] Там же.
[51] Там же, с. 180—181.

цей, что сами норманны оказались людьми невысокой культуры и поэтому, создав у россиян государство, они были вынуждены ехать за цивилизацией в Царьград.

Норманнское завоевание Руси и создание русского государства было, таким образом, составной частью всей концепции мировой истории Августа Людвига Шлецера. Его взгляды на русскую историю нельзя рассматривать в отрыве от воззрений историка на мировой исторический процесс.

Шлецер и история России

Об отношении Шлецера к России можно судить, опираясь на довольно обширный материал. Сам Шлецер оставил автобиографию «Общественная и частная жизнь Людвига Шлецера, им самим описанная». Правда, здесь автор успел рассказать всего лишь о периоде 1761—1765 гг., но это были именно те годы, которые он провел в России. Для характеристики всего жизненного пути и научной деятельности Шлецера много дал уже упоминавшийся сборник материалов о Шлецере, изданный в 1961 г. историками ГДР, «A. L. v. Schlözer und Russland». Однако главным источником для оценки Шлецера (как и всякого автора) являются его произведения.

Шлецер — уроженец г. Ягштадта (графство Гогенлоэ). В Виттенбергском, а затем в Геттингенском университетах получил типичное для того времени эрудитское образование, в которое входила филология (Шлецер знал около пятнадцати языков), а среди исторических дисциплин большое место занимали библейские древности. Огромное влияние на формирование научных интересов Шлецера оказал профессор Геттингенского университета Михаэлис, крупный знаток исторических источников по древнему Востоку. Поездка на Ближний Восток для научных изысканий стала мечтой молодого Шлецера.

Чтобы заработать средства для этой поездки, он отправляется в Швецию. Всякого рода служебная деятельность, которой ему пришлось заниматься (1755—1758 гг.), не помешала Шлецеру начать свою научную работу. В Стокгольме он издал на шведском языке «Опыт всеобщей истории торговли и мореплавания в древнейшие времена» (1758). На немецком языке он написал «Новейшую историю учености в Швеции» (выходила в Ростоке в 1756—1760 гг.). Вернувшись в Геттинген, стал готовиться в заветное путешествие, но события развернулись иначе, чем предполагал молодой ученый. Работавший в Петербургской Академии наук Г. Ф. Миллер обратился к Михаэлису с просьбой рекомендовать ему кого-нибудь из его учеников: Миллеру нужен был домашний учитель и сотрудник в работе над русской историей, которой он тогда занимался. По рекомендации Михаэлиса Шлецер согласился поехать в Россию, отложив поездку на Ближний Восток. Так волею судеб молодой Шлецер в 1761 г. очутился в Петербурге.

Карьера Шлецера началась со скромного положения домашнего учителя в семье Миллера, но уже в 1762 г. он стал адъюнктом

Академии наук по русской истории. Отныне изучение истории России — его служебная обязанность. Занятие русской историей превратилось в пожизненное дело Шлецера. Скоро на свою научную подготовку, полученную в Германии, и на работу в Швеции он стал смотреть как на предварительные штудии для занятий историей России. «Русская история, — признавался Шлецер, — стала моим занятием в такой степени, что я без всякого раздумья хотел заменить ею библейскую филологию» [52]. Вспоминая потом о 1765 г., когда он находился в научной командировке в Германии, ученый писал: «Охота к русской истории сделалась у меня страстью» [53]. Его эрудиция предоставляла ему полную возможность удовлетворить эту страсть. Она словно для того и была Шлецером приобретена, чтобы приступить к разработке русской истории. «Без истории древних европейских народов, которая требует в качестве профессии филологию, без древней шведской истории, без знания греческого языка (в целях прочтения византийских авторов), наконец, без критического усвоения славянского языка в русской истории нечего делать»[54]. Чтобы справиться с этой вставшей перед ним задачей, Шлецер принялся за изучение русского языка.

Как же представлялась молодому иностранцу, очутившемуся в России, его новая задача — изучение русской истории? Шлецер исходил из убеждения, что русской исторической науки еще не существует, что перед ним нечто вроде дикого поля, по которому «еще не проходил плуг» [55]. Татищева и Ломоносова он не считал представителями исторической науки, и в этом состояла его ошибка. Как известно, критерий заслуг ученого перед наукой определяется тем, чтó он внес нового по сравнению со своими предшественниками. Если с этой мерой подойти к Татищеву, то окажется, что именно в его «Истории Российской» исторические знания в России превратились в науку. История становится наукой с того момента, когда рационалистическая теория исторического процесса соединяется с историческим источником. Такое соединение и составило заслугу Татищева [56]. Ломоносов, создатель выдающихся исторических исследований «Краткий Российский летописец с родословием» (1760) и «Древняя Российская история от начала Российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года» (1/2 части), вышедшей позже (1766), продолжил и обогатил русскую историческую науку. И Татищев, и Ломоносов основывали свои выводы на данных, почерпнутых не только из русских, но и из зарубежных источников. Это был качественный скачок в истории русского исторического знания.

Иной критерий был у Шлецера. Считая себя основателем русской исторической науки, он видел свою задачу в перенесении в Россию приемов критики исторических источников, которые были вырабо-

[52] A. L. v. Schlözer und Russland, S. 46.
[53] Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера. . ., с. 360.
[54] A. L. v. Schlözer und Russland, S. 47.
[55] Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера. . ., с. 191.
[56] Подробнее см.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII—первая четверть XVIII в., с. 7, 400—411.

таны на Западе. С этой точки зрения он не признавал учености за Татищевым. Несколько сложнее обстояло дело с Ломоносовым. Шлецер приехал в Россию в 60-е годы XVIII в., когда Ломоносов был известен и в России, и за рубежом как крупный ученый. Шлецер готов был признать в Ломоносове гения (впоследствии он прямо писал об этом), но смотрел на него как на профессора химии, не имевшего, подобно Татищеву, ученой подготовки для занятий историей. Своими предшественниками в разработке русской истории он считал Байера и Миллера — представителей западной исторической науки. Правда, впоследствии он не простил Миллеру отступничества в варяжском вопросе.

С такими убеждениями адъюнкт Петербургской Академии наук Шлецер приступал к составлению плана исследований по русской истории. В автобиографии он рассказал об этом плане. Исходной точкой должна была послужить работа над источниками, среди которых главенствующее место занимала, понятно, летопись. Наряду с этим велась бы работа по изучению иностранных источников по русской истории. Венцом источниковедческих исследований должно было стать научное повествование по русской истории.

Поскольку источниковедческие штудии не самоцель, а лишь средство для создания исторических сочинений, постольку Шлецер уже тогда планировал работу по русской истории. На проблематике этой работы лежал отпечаток его общей концепции всемирной истории. Шлецер был убежден в том, что русское государство создали варяги, поэтому для него особое значение имела история России под эгидой Рюрикова рода. Темой предлагавшегося Шлецером сочинения являлась история русского государства от основания и до того времени, когда угасла династия Рюриковичей. Материалом для этой книги должны были послужить русские источники и труды Татищева и Ломоносова. Кроме того, Шлецер предлагал выпускать популярные книги по истории, географии и статистике. География, статистика, филология рассматривались им в едином научном комплексе с историей.

Таков был план, с реализации которого молодой адъюнкт решил начинать свою научную деятельность в Петербурге. Трудно сомневаться в благих намерениях ученого иностранца, решившего трудиться над русской историей. Его план обладал несомненными достоинствами, но таил в себе и крупные изъяны, обусловленные недостаточным знакомством с русской историографией.

Источниковедческая часть плана была построена на ложной предпосылке. Русское летописание, как известно, представляло собой очень сложный процесс. Над летописью трудились многие поколения книжников. К более ранним текстам прибавлялись новые, повествующие о позднейших событиях, создавались своды летописного материала, принадлежащего разным авторам, жившим в разное время и в разных княжествах. Без анализа этого сводного состава летописей нельзя правильно понять их содержание. Именно по такому пути пошло впоследствии русское источниковедение в анализе летописей. Совсем иначе представлял себе этот процесс Шлецер.

Он полагал, что первоначально была создана летопись Нестора, она и есть уникальное свидетельство древней русской истории. Вся дальнейшая история летописи есть история ее искажений переписчиками, и задача современного исследователя — обнаружить эти искажения, восстановить первоначальный текст, найти «очищенного» Нестора. Этому пути Шлецер следовал всегда. В последние годы жизни он, как известно, создал своего знаменитого «Нестора». Д. С. Лихачев прав, говоря, что ни одна западноевропейская хроника не удостоилась столь тщательных исследований западных авторов, как русская летопись, благодаря неустанному труду Шлецера. Увы, идея, руководившая этим тружеником науки, была ошибочной.

Тем более уязвимой оказалась та часть плана Шлецера, где речь шла о сочинениях по русской истории. Уязвимость эта бросалась в глаза уже тогда. Автор плана считал, что труды Татищева и Ломоносова не имеют самостоятельного значения, что это только материал для его собственных книг.

Едва ли могло остаться тогда незамеченным в Академии наук и пристальное внимание Шлецера к родоначальнику династии Рюриковичей. Правда, после нашумевшего спора между Ломоносовым и Миллером по варяжскому вопросу прошло уже добрых десять лет, но страсти, им поднятые, в то время еще не улеглись. Все это не могло не задевать русской академической партии, возглавлявшейся Ломоносовым. Это стало особенно ясным, когда Шлецер начал публиковать свои первые работы, прежде всего исследование «Опыт изучения древностей в свете известий греческих писателей». Труд этот, несомненно, способствовал изучению византийских источников, сохранивших сведения о Киевской Руси. Правда, выбор Шлецером автора, чью работу он исследовал, едва ли можно признать удачным. То был Кедрин, простой компилятор. Среди привлекаемых им сочинений главное место занимали хроники Скилицы, Синкелла и Феофана. Никаких новых сведений о Руси Кедрин не давал, но сам характер его труда, явившегося своего рода сборником сочинений других авторов, представлял Шлецеру широкие возможности для филологических наблюдений. Шлецер поступал тут, однако, весьма прямолинейно: созвучия в греческом и древнерусском языках он объяснял заимствованиями из греческого.

Другой работой молодого Шлецера явилась «Русская грамматика». Это сочинение имело очень сильную сторону. Знавший много языков Шлецер представил богатый материал по сравнительному языкознанию, что было новым словом в русской лингвистике. Шлецер ставил перед собой весьма важную научную задачу. По мере изучения русского языка он убеждался в его достоинствах и собирался написать русскую грамматику для иностранцев. Он брался пропагандировать «ученое знание этого бесконечно богатого и высокоразвитого, но в то же время еще совершенно неизвестного языка. . .»[57]. Вместе с тем дало себя знать и недостаточное знакомство с русским языком. Шлецер нагромоздил множество необоснованных заимствований из немецкого. Его утверждения были подчас на-

[57] Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера. . ., с. 61.

столько курьезны, что о них заговорили в петербургском обществе. Впоследствии ученый писал: «Мое имя произносили тысячи уст, которые без того никогда бы его не произнесли. На всех обедах только и говорили о князе, кнехте и обо мне»[58] (русское слово «князь» Шлецер производил от немецкого «Knecht» — наемник, холоп; подобное «словопроизводство» было особенно неприемлемо для аристократических кругов столицы).

Таково начало научной работы Шлецера в Петербурге. Шлецера поддерживало большинство представителей немецкой академической партии, но со стороны Ломоносова и стоявшей за ним русской партии в Академии наук направление научной деятельности ученого с самого начала вызывало решительные возражения. Не приходится забывать, что все эти события происходили в накаленной атмосфере борьбы академических «партий».

Она уже давно приобрела форму столкновения двух исторических концепций. Немецкая академическая сторона в пику русской старалась подчеркнуть, что создателями русского государства были германцы в лице варяжских князей и что русская культура, в частности русский язык, испытали влияние более высокой византийской культуры. Русской стороной такая концепция рассматривалась как оскорбление национального достоинства. Всякий намек на иностранное влияние встречался в штыки.

Стоило только Шлецеру выступить со своим планом научных работ, как это тут же встретило возражение со стороны Ломоносова. Не таким представлялся Ломоносову историк России! План Шлецера был им оценен как «бесстыдство» и «самохвальство». Ломоносов не мог согласиться и с тем, как представлялось Шлецеру начало русского государства. Не могло прийтись по душе и пренебрежительное отношение к русской исторической науке. И сами-то труды Ломоносова рассматривались всего лишь как подсобный материал для книг Шлецера. Неудивительно, что, прочитав в плане Шлецера о той роли, которая ему отводится, Ломоносов написал: «Я еще жив и пишу сам»[59]. Прочитав работу Шлецера «Опыт изучения древностей в свете известий греческих писателей», Ломоносов вынес свой вердикт: «Этот ,,Опыт» так написан, что если кто-нибудь несведущий в русском языке его прочтет, то неизбежно поверит, что этот язык происходит от греческого, а такой вывод противоречит истине»[60]. И уж никак не мог принять Ломоносов шлецеровской «Русской грамматики», несмотря на все ее достоинства. В ней речь шла об исключительном влиянии немецкого языка на русский, а в этом Ломоносов усматривал пропаганду все той же идеи варяжского происхождения русского государства. «Русская грамматика» Шлецера не только содержала «досадительные россиянам мнения», но была полна «прошибок», исправить которые невозможно. Ломоносов настоял на прекращении печатания этой работы.

---

[58] Там же, с. 230.
[59] Там же, с. 289.
[60] Там же, с. 398.

Вывод Ломоносова был категоричен: Шлецер не годился в историки России, из адъюнктов Академии наук его нужно отчислить, отпустить иноземца на все четыре стороны. Пусть едет на свой Ближний Восток, занимается восточными древностями и оставит в покое русскую историю и русский язык.

Однако академическое большинство и руководство Академии придерживались иного мнения. Шлецер не только остался в Петербургской Академии, но в 1764 г. встал вопрос о присвоении ему звания ординарного профессора русской истории, что делало его членом Академии. Возникли острые разногласия между академиками. Вместе с Ломоносовым против Шлецера на этот раз выступил Миллер. Оба они не верили, что Шлецер останется в России; было больше вероятности, что он уедет в Германию и увезет с собой массу снятых им копий с русских исторических источников. Можно было сомневаться, что они будут использованы в интересах России. Ломоносов был убежден, что это будут «о России ругательные известия».

В том же году из Германии пришло сообщение, что Шлецер назначен профессором Геттингенского университета. Шлецер попросил отпуск для поездки в Геттинген. Ломоносов решительно возражал. Чтобы получить разрешение на поездку, Шлецеру пришлось обращаться к самой Екатерине II. Обстоятельства, связанные с подобным обращением, позволяют в известной мере судить о намерениях Шлецера. Вопрос об отъезде из России им, видимо, еще не был тогда решен. Шлецер хотел сначала сам побывать в Геттингене. На благоусмотрение Екатерины он представил два плана своих научных работ. Один предусматривал путешествие на Восток с целью сбора сведений, нужных России для установления экономических связей с восточными странами. В данном случае важно, что мысль о путешествии на Восток Шлецером еще не была оставлена. Кроме того, ученый намеревался заняться выявлением славянских рукописей в Ватиканском архиве, надеясь, что там окажется много интересного материала по русской истории. Как известно, впоследствии такую работу в Ватиканском архиве предпринял ученик Шлецера А. И. Тургенев, издавший немало найденных там источников по русской истории.

Второй план Шлецера, представленный Екатерине, предполагал работу по русской истории. Сюда входили перевод Несторовой летописи на латинский язык с комментарием (чтобы сделать ее доступной иностранным ученым), сокращенное изложение древней русской истории на немецком и французском языках и т. д. Следует заметить, что годы знакомства с русской историографией поколебали прежний взгляд Шлецера на нее. Не признавая в Татищеве ученого, которого можно было бы поставить рядом с западными историками, Шлецер теперь готов был признать в нем зачинателя русской исторической науки; его план предусматривал сокращенное издание татищевской «Истории Российской». Не оставлял Шлецер и своих занятий русским языком: в план был включен пункт о доведении до конца разработки «Русской грамматики» и создании этимологического словаря русского и латинского языков.

В 1765 г. умер Ломоносов. В этом же году Миллера против его воли перевели в Москву. Для Шлецера же год этот был на редкость удачный. Состоялось его назначение ординарным профессором русской истории при Петербургской Академии наук. Екатерина положительно оценила второй план Шлецера. Последовал указ о заключении с его автором контракта на пять лет. Ему предоставлялась возможность трехмесячного пребывания в Германии, куда Шлецер тогда же и отправился; правда, вместо трех месяцев он пробыл там год.

В этой поездке Шлецер считал себя представителем Петербургской Академии наук. С ним были отправлены в Геттингенский университет русские студенты; Шлецер хлопотал об их устройстве, следил за учебными делами, приобретал книги для Петербургской Академии наук. В архивах и библиотеках Германии он предпринял поиски исторических источников, касавшихся русской истории и русского языка. Этот интерес к русским сюжетам перерос у Шлецера в изучение всей славянской истории и славянских языков. В Геттингене он выступил с лекцией о славянских источниках, имевших отношение к древней русской истории, выступал в научной печати по истории России, Польши и Скандинавских стран, следил за точностью переводов русских книг на западные языки, отстаивал достоинства русского языка, приглашал немецких ученых в Петербургскую Академию наук. Вся деятельность Шлецера в Германии было подчинена одной цели: пропагандировать русскую историю перед западной научной общественностью, ввести русскую историю в круг европейской исторической науки. Шлецер при этом явно становился в позу человека, открывшего Западу неведомую доселе русскую историю.

В 1766 г. Шлецер вернулся в Петербург. Через год он излагает тогдашнему президенту Академии наук Владимиру Орлову свои мысли о создании древней русской истории. Это было повторением того плана, с которого историк начинал свою научную деятельность в Петербурге и осуществить который ему помешал Ломоносов. Основные идеи Шлецера сводились к следующему: на Западе о русской истории царят самые нелепые представления; чтобы их развеять, нужно создать труд по русской истории, который был бы замечен на Западе. Для этого Шлецер предлагал перевести на латинский язык главный источник по русской древней истории — летопись, снабдив перевод критическим комментарием. Однако русских источников недостаточно. Нужно привлечь иностранные источники и иностранную литературу по русской истории.

Как и раньше, Шлецер исходил из мысли, что труда по русской истории еще нет, его нужно создавать заново по правилам, о которых говорил он сам. Как и прежде, все, созданное по русской истории до самого Шлецера, рассматривалось им как нечто такое, что не достигало уровня западной науки. А между тем уже труд Татищева был основан не только на русских источниках. Его автор делал попытки привлечь и источники иностранные. Исторические труды Ломоносова тоже строились не только на русских источниках: автором широко привлекались известия византийских

писателей и широкий круг западных хроник средневековья. Ничего подобного ни в источниковедении, ни в исторической науке о России на Западе тогда не было. Скоро мы увидим, что, работая над «Нестором», Шлецер обратился к анализу западной литературы по истории России и учинил форменный «погром» этой литературы, так как оказалось, что на Западе к началу XIX в. не было создано по русской истории ничего заслуживающего внимания. Это же пришлось доказывать и И. Н. Болтину.

Совершенно очевидно, что перед Шлецером были два пути: остаться в России писать русскую историю на русском материале, привлекая западные источники, или, вооружившись русскими источниками, отправиться в Германию и там заниматься решением той же задачи, но работая в атмосфере западной науки. Очевидно и другое: Шлецер все больше склонялся к мысли уехать в Германию, собрав как можно больше русских источников. За время работы в России он накопил уже немалый их запас, причем особое место среди них занимали различные списки летописи. Напомним, что именно коллекционирование источников с самого начала наводило и Ломоносова и Миллера на мысль, что Шлецер не останется в России. И действительно, окончательно решив уехать, он стал добиваться разрешения на доступ к рукописям в частных библиотеках, а для этого ему нужен был помощник.

И разрешение на знакомство с рукописями в частных библиотеках, и помощник (Семен Башилов) Шлецеру были даны. В том же 1767 г. он опять получает разрешение на выезд в Германию. Мотивы, которые привел при этом Шлецер, были все те же: нужны иностранные источники и исследования по русской истории, необходимо общение с зарубежными учеными. Как и в прошлый раз, он брался выполнять поручения Академии наук. Однако в Россию Шлецер более не вернулся.

Отъезд из России вовсе не означал, что Шлецер перестал быть ее историком. Перемена мест не внесла существенных перемен в его научные интересы, однако мысль о путешествии на Ближний Восток была оставлена окончательно. Новый профессор Геттингенского университета с прежней энергией продолжал работу, начатую в России. Труды Шлецера по русской истории выходили как в России, так и в Германии. В год выезда Шлецера из Петербурга (1767) там с помощью Башилова была издана Никоновская летопись. В том же году вышел Радзивилловский ее список. Вышел он, видимо, уже без участия Шлецера, поскольку в «Общественной и частной жизни Августа Людвига Шлецера. . .» мы находим его собственный отрицательный отзыв об этом издании. С 1767 г. связано и издание в Петербурге «Русской Правды» с его предисловием, где проводится параллель между «Русской Правдой», законодательством древнего Рима и средневековых государств Европы. В 1768 г. по указаниям Шлецера Башилов издал Судебник Ивана Грозного 1550 г. вместе с остальными источниками, необходимыми для понимания этого исторического памятника.

Другими словами, после отъезда из России работа Шлецера над русской историей не только не прекратилась, но приобрела новый размах. При этом бросается в глаза настойчивое стремление Шлецера представить себя первооткрывателем русской истории. В России, однако, этого не признавали, в чем, видимо, и заключалась не последняя причина, заставившая Шлецера покинуть Петербург. Уехав из России, он не прекращает полемику с русской стороной по этому важнейшему для него вопросу. Посылая в Петербург одну из своих очередных работ, историк продолжал настаивать: «Теперь знает свет, что изучение русской литературы станет достоянием не только России, но и всего ученого мира... До меня никому не было известно, что такое русские летописи. Сама Академия не знала, сколько имеется в ее библиотеке сводов; о их составе и классификации, от чего, конечно, всецело зависит достоверность последних (это — первый исторический закон), кто-либо до меня тем менее мог думать, что даже термин „критика русских источников" в России впервые услышали только в 1767 г.» [61] Словом, это было все то же «самохвальство», о котором говорил в свое время Ломоносов. Но теперь никто не мешал Шлецеру выступать перед западной наукой и западным читателем в роли «первопроходца» русской истории. В расчете на них он создает целую серию работ, среди которых были серьезные научные исследования. К ним принадлежит «Probe Russischer Annalen» (Опыт исследования русских летописей») — труд этот вышел в Бремене и Геттингене в 1768 г., а также статья «Oskold und Dir, eine russische Geschichte, kritisch beschrieben» («Аскольд и Дир. Русская история, критически описанная»), вышедшая в Геттингене и Готе в 1773 г. В большинстве же случаев это были популярные книги, пропагандировавшие русскую историю на Западе. Такова прежде всего «Geschichte von Russland. Erster Teil» (Göttingen; Gotha, 1769), где, опираясь на данные «Истории Российской» Татищева, Шлецер излагает русскую историю с древнейших времен до основания Москвы.

Обзор русской истории вплоть до екатерининского времени Шлецер представил в книге «Tableau de l'histoire de Russie» (1769), которая была переведена затем на русский язык под названием «Изображение Российской истории, сочиненное г. Шлецером». Здесь была дана «сквозная» периодизация русской истории: «Россия возрастающая» — период от «призвания варягов» до смерти князя Владимира I (862—1015 гг.); «Россия разделенная» (удельный период) — от смерти Владимира I до установления ордынского ига (1015 — 1216 гг.); «Россия утесненная» — период ордынского ига от Юрия Всеволодовича до Ивана III (1216—1462 гг.); «Россия победоносная» — от Ивана III до Петра I (1462—1725 гг.); «Россия цветущая» — с 1725 г. Эта периодизация была построена на материале, собранном Шлецером в России. Большое место здесь занимала борьба русского народа за свою независимость.

---

[61] A. L. v. Schlözer und Russland, S. 201.

В работе Шлецера над русской историей заметна определенная закономерность. Изображая историю России, он явно исходил из своей концепции всемирной истории. В периодизации русской истории, которую намечал Шлецер, имея в виду западную науку и западных читателей, особое значение имело для него начало русской истории, во-первых, и современная самому Шлецеру екатерининская эпоха, во-вторых.

В 1771 г. он выпускает труд «Allgemeine Nordische Geschichte». Помимо собственных изысканий, историк включил в книгу материалы других авторов, главным образом иностранных ученых, работавших в России: Байера, Фишера, Стриттера. Рядом с этим были приведены данные древнегреческих, византийских, а также римских писателей о скандинавских, финских, славянских племенах. Все это, по мысли Шлецера, должно было нарисовать картину, которая просматривается в его концепции всемирной истории: отсталые восточные славяне, зажатые, с одной стороны, норманнами, а с другой — Византией, получили от норманнов государство, а от Византии восприняли культуру.

Затем русский народ во времена самого Шлецера вступил в период «России цветущей». Этому был посвящен изданный в Риге и Митаве сборник материалов «Neuverändertes Russland oder Leben Catharina der Zweiten, Kaiserinn von Rissland» (1-е изд. — 1767, второе — 1769, третье — 1771 г.) и две книги приложений («Beilagen zum Neuveränderten Russlands». Riga; Mitau, 1769, Bd. 1; Riga; Leipzig, 1770, Bd. 2). Здесь даны самые разнообразные материалы, характеризующие промышленность, торговлю, политический строй, культуру, деятельность Екатерины II, и другие. Россия периода «просвещенного абсолютизма» была воплощением исторического идеала Шлецера. Эти книги о современной Шлецеру России вышли под псевдонимом Haigold (фамилия деда Шлецера со стороны матери.)

Венцом научного творчества ученого стал знаменитый «Нестор» — труд, созданный им в последние годы жизни. «Нестора» сам Шлецер считал своим главным, итоговым трудом. Располагая к тому времени уже большими знаниями по истории России, он основные усилия обратил на исследование русского летописания. С Нестора, по мысли Шлецера, начиналась история России, «Нестор» — важнейший источник по изучению русской истории. Как уже говорилось, путь, которым пошел Шлецер, исследуя русскую летопись, заводил в тупик. Как выяснилось потом, верный путь лежал совсем в иной стороне.

Выше говорилось и о другом: в те времена ни один западный средневековый источник не имел такого самоотверженного исследователя, каким оказался Шлецер — исследователь главного источника по древней истории Руси. Он сличил почти два десятка летописных списков. Во введении к «Нестору» автор определил три задачи: реконструкция «очищенного» Нестора, отделение его первоначального текста от позднейших искажений и дополнений; выяснение смысла «очищенного» текста; проверка достоверности летописных

известий [62]. Несмотря на то что Шлецер оказался на неверном пути, его работа над русской летописью имела немалое значение для своего времени: исследователь сделал много важных филологических и исторических наблюдений, привлек внимание на Западе к русской летописи.

Русского Нестора Шлецер ставил выше всех средневековых хронистов. «Нестор, еще раз смело повторяю, на всем этом обширном поприще есть один только настоящий в своем роде полный и справедливый (выключая чудес) летописатель» [63]. Шлецер подметил очень важное обстоятельство: «Из всех новейших народов нашей земли русские начали первые обрабатывать язык свой, а из славян они только одни писали временники на своем языке» [64]. Никто, кроме Шлецера, не сделал в то время столько для популяризации русской истории на Западе.

В «Несторе» Шлецер в наиболее полном виде сформулировал свой взгляд на русскую историю и на современную ему историческую науку.

Шлецеровской концепции русской истории присуща та же особенность, которая была характерна и для его ранних работ: внимание ученого приковано главным образом к древней Руси и к современной ему России. Автор «Нестора» весьма обстоятельно изложил свои взгляды на эти периоды русской истории. Согласно Шлецеру, русская история начинается с создания государства. Вслед за Байером и Миллером он решительно отвергает старую теорию происхождения Рюрика от Августа, считая, что она играла чисто политическую роль. «Иван Васильевич не только поверил этой глупой сказке, но и основал на ней требования свои на всю Польшу и Литву»[65]. Стефан Баторий, опровергая притязания Грозного, должен был опровергать и представления о его происхождении от Августа. Шлецер с полным основанием рассматривает эту легенду, которую называет «глупой модой», как явление, характерное для определенной исторической полосы в жизни многих народов.

В противовес этому Шлецер поддерживает норманнскую теорию. Однако выступивший позже Байера и Миллера, он учел их опыт, и его норманнская теория не была простым воспроизведением воззрений предшественников. От Миллера Шлецер принял идею призвания варягов в Новгородскую землю не как правителей, а первоначально в качестве подсобной военной силы. Что же касается происхождения варягов, то он решительно отвергает мнение Миллера, выводившего Рюрика из Пруссии, и принимает тезис Байера о шведском происхождении Рюрика. Таков был шлецеровский синтез взглядов предшественников. При этом Шлецер с насмешкой отнесся к ренегатству Миллера. Провинность Миллера состояла в отказе от мысли о норманнском происхождении Рюрика. Поступая так, Миллер

---

[62] Нестор. СПб., 1809, ч. 1, с. 1.
[63] Нестор. СПб., 1816, ч. 2, с. 46.
[64] Там же, с. 75.
[65] Там же, ч. 1, с. 282.

делал шаг назад, покидал почву науки и оказывался на почве политики. Шлецер подчеркивал, что в России «обстоятельства... преобразили историю в политическую науку: почему и должно было часто приноравливаться к политическим, хотя и бесполезным видам» [66], что русские не признавали шведского происхождения Рюрика только потому, что они «тогда были в ссоре со шведами» [67]. Миллер, по мнению Шлецера, последовал за русскими прежде всего из трусости. Из вокняжения Рюрика Шлецер делает категорический вывод: «Скандинавы, или норманны, в пространном смысле основали русскую державу; в этом никто не сомневается» [68]. «Они — шведы, произошедшие из Скандинавии и говорившие скандинавским языком» [69].

Правда, сформулированная Шлецером концепция поставила перед ним самим два недоуменных вопроса. Во-первых, «намерение призвать защитников от жестоких грабителей из сих же самих грабителей было странно и опасно». В ответ на этот вопрос Шлецеру оставалось только развести руками: новгородцы, полагал он, в этом случае допустили такую же оплошность, которую 400 лет перед этим допустили англы, пригласивши саксов против тех же норманнов. Во-вторых, ему кажется подозрительным само сказание о призвании трех братьев. Рюрик, Синеус и Трувор напоминали ему такие же банальные сказания о Лехе, Чехе и Руссе, о Кие, Щеке и Хориве, об ирландских Амелаусе, Ситаракусе и Ивору и т. д. И здесь его ответ еще менее вразумителен: он считает, что ирландцы заимствовали сказание о трех братьях у россиян, но тут же удивляется своей гипотезе: «Как можно предположить, чтобы в XII или XIII веке было ученое сношение между Дублином и Киевом!» [70]

Норманнская теория постоянно подвергалась в России критике. Если главным оппонентом Миллера был Ломоносов, то противники Шлецера оказались более многочисленными. Против норманнизма после Ломоносова выступили Эмин, Тредиаковский, Болтин и другие. И если к этим русским противникам Шлецер отнесся с изрядной долей иронии, то он был крайне возмущен, когда против него выступили немцы, жившие в России, в особенности А. К. Шторх. В «Историческом и статистическом изображении русского государства» (1800) Шторх, в отличие от Шлецера, не склонен был рассматривать хозяйство в Древней Руси как первобытное, а подчеркивал, что немалую роль играла в нем торговля. Этому способствовало и то обстоятельство, что Киевская Русь находилась на транзитном торговом пути «из варяг в греки». Такой вывод был Шлецеру весьма неприятен. Генрих Фридрих (Андрей Карлович) Шторх являлся видным русским экономистом конца XVIII — начала XIX в. «Каким образом,— восклицал Шлецер,— ученый человек, сведущий в немецкой словесности и которого изданные до сих

[66] Там же, с. 369.
[67] Там же, с. 430.
[68] Там же, с. 325.
[69] Там же, с. 327.
[70] Там же, с. 352—353.

пор известия о новейшей России приняты с благодарностью и уважением немцами и французами, мог попасть не только на ненаучную, но и уродливую мысль о древней России?»[71]

Такой представлялась Шлецеру древняя Россия. Совсем иными глазами смотрел Шлецер на современную ему Россию. Если Байер знал это государство во времена бироновщины и не скрывал своего презрения ко всему русскому, если Миллер видел Россию бироновскую, а затем стал усердным екатерининским служакой, то Шлецер увидел дворянскую Россию в годы «блестящего» екатерининского царствования и в «дни Александровы», когда Россия притивостояла Франции Наполеона. Такой России Шлецер всегда пел дифирамбы. Еще в 1765 г. он писал о Екатерине II: «Будучи сама ученая, она была одушевлена уважением к науке, которую почитала неизбежно необходимою для своих обширных благодетельных и необходимых предначертаний». Он говорил о своем преклонении перед русской императрицей, которая в его лице «приобрела себе добровольного, а потому более преданного раба, а для своего государства завоевала патриота, который с радостью пожертвовал собою для его пользы и славы»[72].

Такое отношение к России обусловливало научную деятельность Шлецера. Планы своей работы он всегда строил «соразмерно величию государства и богатству истории оного». Ученый не раз называет Россию *своей* страной. «Перечень российской истории» он посвящает Отечеству, а в «Изображении Российской истории», обращаясь к русскому читателю, называет историю России нашей историей. На Россию он смотрел как на сильнейшее государство Европы. Самый восторженный дифирамб России Шлецер пропел в «Несторе». «Русская древняя история! Я почти теряюсь в величии оного! История такой земли, которая составляет 9-ю часть обитаемого мира и в два раза более Европы: такой земли, которая в два раза обширнее древнего Рима, хотя и называвшегося обладателем вселенной — история такого народа, который уже 900 лет играет важное лицо на театре народов. . . Раскройте летописи всех времен и земель и покажите мне историю, которая превосходила бы или только равнялась бы русской! Это история не какой-нибудь земли, а целой части света, не одного народа, а множества народов»[73]. Иностранцы должны знать русскую историю, а для этого им надлежит знать русский язык. «Что русский язык. . . достоин того, чтобы и в чужих землях оному обучались, это не требует доказательства»[74].

Но не только история России столь достославна. Шлецер пророчит русскому народу еще более величественное будущее. На русских падает миссия дальнейшего распространения цивилизации: это — народ, «долженствовавший со временем распространить чело-

---

[71] Там же, с. 389.
[72] Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера. . , с. 254.
[73] Нестор, ч. 1, с. XXXIV—XXXV.
[74] Там же, с. 385.

вечество в таких странах, которые, кажется, до тех пор были забыты от отца человечества» [75]. Русские с этой задачей справятся лучше, чем всякий другой народ, ибо «северный человек более всякого другого имеет способность сделаться образованным человеком. Усовершенствование не имеет пределов, оно должно идти не прерываясь; для сего требуется усилие и неутомимость, к которым климат приучает северного человека; южный, напротив того, скоро слабеет и утомляется» [76]. Таков взгляд Шлецера на Россию, на ее прошлое и на ее будущее.

Как же в таком случае согласовать «концы и начала» концепции русской истории Шлецера? Для восточных славян на пороге второго тысячелетия н. э. у Шлецера не нашлось, что называется, доброго слова. Для него это люди, «отлученные» от цивилизации. А Россия Екатерины II и Александра I представляется ему наивысшим совершенством истории. Он прибегает к самым восторженным выражениям, чтоб славословить это совершенство. Противоречие в данном случае только кажущееся, ибо в действительности и Россия, «отверженная» от цивилизации, и Россия цветущая порождена шлецеровской концепцией мировой истории.

История Европы, как мы уже видели, является, по Шлецеру, историей трех завоевательных волн, каждая из которых несла свой общественный строй и создавала свою цивилизацию. Римляне завоевали огромный «orbis terrarum» — в Европе он простирался до линии Рейн—Дунай; они принесли сюда свой общественный строй, свое государство. Венцом античной цивилизации было христианство.

Германское завоевание на рубеже средних веков — вторая волна, внесшая коренные перемены в историю Европы. Оно захватило весь европейский северо-запад. Как известно, в западноевропейской историографии XVIII—XIX вв. развернулась бурная полемика по поводу того, какие элементы — римские или германские — были определяющими в формировании общественного строя и государства западных стран в средние века. Возникли два течения — германистов и романистов. Наиболее бурный характер эта полемика приобрела во Франции, где она оказалась связанной с проблемой исторических причин Великой революции. Шлецер — явный германист; не случайно наиболее почитаемым им французским просветителем был германист Монтескье. Германизм среди немецких ученых имел широкое распространение; для них не подлежало сомнению, что на смену изжившему себя, разложившемуся римскому общественному строю и государству пришел новый общественный строй, новое государство, созданное победителями-германцами. Однако германцы восприняли римскую культуру, и прежде всего ее главный результат — христианство, и понесли эту европейскую цивилизацию дальше.

---

[75] Там же, ч. 2, с. 179.
[76] Там же, с. 177.

Вне цивилизации к исходу первого тысячелетия в Европе все еще оставались огромные, «забытые богом» и историей пространства, куда не ступала нога ни римлянина, ни германца. Это была территория от линии Балтийского моря до Урала. Сюда пока не докатились волны завоевателей, и люди, затерявшиеся здесь в безбрежных просторах, пребывали еще на стадии полулюдей. Но вот пришел и их черед. Из Скандинавии выплескивается новая, третья по счету, волна завоевателей: на арену европейской истории выступили норманны. Эта волна, прокатившаяся по территории восточных славян, имела по сравнению с завоеваниями римлян и германцев свои особенности. Находившиеся сами на примитивной ступени развития, норманны не принесли с собой более высокого общественного строя, но в целях господства над завоеванными они создали государство. Создателями русского государства были норманны! — не раз утверждал Шлецер. Как и германцы, завоевавшие Римскую империю, норманны не принесли завоеванным более высокой культуры. Но если древние германцы нашли высокую культуру у завоеванных ими римлян, то норманны не нашли таковой на берегах Волхова и Днепра. Созданному норманнами русскому государству пришлось обращаться за культурой к Византии. Так, по Шлецеру, цивилизация тремя волнами прокатилась по всей Европе — от Атлантики до Урала.

Словом, состояние «троглодитов» и привнесенное извне государство — все это было уже уготовано восточным славянам шлецеровской концепцией всемирной истории. Таков, по Шлецеру, исток истории русского народа. Что же было дальше? Норманнское завоевание послужило лишь толчком, который вывел восточных славян из исторического небытия. А потом норманны исчезли в массе славянского населения; в Киевском государстве «все сделается славянским. . . даже от самих варягов через 200 лет не осталось ни малейшего следа; даже скандинавские собственные имена уже после Игоря истребляются из царствующего дома и заменяются словенскими. . . Словенский язык нимало не повреждается норманским. . . Новое доказательство, что варяги, поселившиеся на новой земле, не слишком были многочисленны»[77].

А еще дальше Россия, пройдя ряд исторических этапов (они намечены Шлецером в его периодизационной схеме), вступает в стадию своего процветания. Она становится могучим государством «просвещенного абсолютизма», столь излюбленного Шлецером. Теперь он готов считать Россию венцом европейской истории.

Во введении к «Нестору» Шлецер дал беглый критический разбор литературы (как в России, так и на Западе), касавшейся русской истории. Этот очерк, как и все научное наследство Шлецера, в последующей исторической литературе встретил диаметрально противоположные оценки: норманисты видели в нем историографическое кредо, антинорманисты не находили ничего, кроме вреда.

В русской историографии Шлецер намечает два главных этапа: *летописный* период — до создания Петербургской Академии наук —

---

[77] Там же, с. 171—172.

и период *академической* науки. Ценно прежде всего то, что историю науки Шлецер пытается связать с историей страны.

Киевская Русь занимала почетное место среди западных государств. «Эта новая держава войною и завоеваниями сделалась страшною смежным народам и даже византийским императорам; и не только Польша, Венгрия и Швеция, по соседству лежащие, но и отдаленная Франция видели на престолах своих киевских княжен» [78]. Сведения о Руси попадают в зарубежную историографию. О ней сообщают и византийские летописцы, больше всех — Константин Багрянородный, и летописцы Запада. Лиутпрандт описал неудачный поход Игоря на Константинополь [79], Гильдесгеймская, Кведлинбургская, Корбейская и другие летописи рассказали о посольстве Ольги к Оттону I с просьбой прислать проповедников [80], Титмар Мерзебургский говорит (в отрицательном смысле) о Владимире [81]. Большой известностью в хронографии Германии пользовались события, связанные с бегством туда Изяслава и с его переговорами с папой.

Однако все это были только разрозненные сведения. Подлинную древнюю историю Руси написал киево-печерский монах Нестор. Русского Нестора Шлецер, как уже говорилось, ставил выше всех западных хронистов средневековья. К тому же только Нестор тогда писал на родном языке.

Затем наступает удельный период. «Кулачное право, содержавшее столь долгое время Германию в варварстве, ворвалось также и в русскую землю». С этих пор Русь прочно изчезает с горизонта западного человека. Ее «полагали в Азии, и никто более не знал, что делалось по правой и левой стороне верхней Волги. Лишь миссионеры XIII в. были в этой потерянной земле». Даже после того как русский делегат появился на Флорентийском соборе и после того как Иван III женился на Софье Палеолог, западные люди не стали знать больше о Московии. Ее представляли где-то «между неизвестными землями у ледовитого моря», немцы смотрели на нее как на страну, «доселе неизвестную Германии». Эту страну надо было «открыть. . . отыскать снова».

В XV в., когда значительная часть русского государства находилась в зависимости от Польши и Литвы, польский летописец Длугош (1415—1480) в своей «Польской истории» коснулся древнего периода западных русских земель, сведения о них он заимствовал у Нестора. Несмотря на то что русский материал составил

---

[78] Там же, с. 46.

[79] Лиутпранд Кремонский (920—970 гг. — обе даты приблизительны). Итальянец. По поручению итальянского короля Беренгария II, затем германского императора Оттона I трижды ездил послом в Константинополь. В одном из своих трудов — «De legatione Constantinopolitana» («О посольстве в Константинополь», речь идет о посольстве 968 г.) — говорит о походе кн. Игоря на Константинополь 941 г.

[80] О западных свидетельствах, в которых имеются сведения о крещении кн. Ольги, см.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XII—XVII вв., с. 64—72.

[81] О свидетельствах Титмара Мерзебургского см.: Там же, с. 77—78.

первые 6 книг «Польской истории», Длугош умолчал о своем источнике. С тех пор эти сведения стали в западных странах кочевать из книги в книгу. Около 1711 г. материал Длугоша был опубликован в Лейпциге Гюйссеном [82], хотя этот русский служака имел полную возможность издать Нестора по подлиннику.

Что касается немцев, то Россию им заново открыл Герберштейн [83]. Родом из Австрии, где жило много славян, он знал славянские языки и мог читать русские летописи. Сам Нестор оказался ему недоступен, но Герберштейн привез выписки из других летописей и издал добытые сведения в середине XIV в. Дальше этого, однако, дело не пошло. Для знакомства в Россией «иностранцы не могли ничего делать, а русские ничего не делали»; когда у русских завелись типографии, то в них они печатали церковные книги, летописи же продолжали переписывать. Принц Букхау, другой имперский посланник, был в Москве в 1578 г., он сделал выписку из Степенной книги о происхождении царя Ивана от Августа. В 1582 г. Матвей Стрыйковский издает в Кёнигсберге на польском языке «Летопись Литовскую, Польскую, Русскую, Московскую. . .» В состав этой книги вошли и русские летописи, материалы которых освещают древний период. Характерно, что сами русские в то время еще не печатали исторических известий, тогда как к 60-м годам XVI в. по-славянски уже печатали в Кракове, Вильне, Варшавской Праге, в Венеции и Несвиже.

Некоторые сдвиги в знакомстве с русским летописанием, по мнению Шлецера, принес XVII век. Швед Петрей [84], побывавший в Москве во время правления Лжедимитрия (1606 г.), и немец Олеарий (1634 г.) [85] упоминают о летописях. В 1704 г. имя Нестора было отмечено Бергиусом [86]. Знал Нестора и Лейбниц [87]. В 1668 г. один из списков Несторовой летописи попал в Кёнигсберг. Прусский губернатор Богуслав Радзивилл подарил его библиотеке местного университета. Около 1679 г. был напечатан «уродливый Синопсис» [88], которому служили основанием сочинения Стрыйковского и других поляков.

---

[82] Генрих Гюйссен — публицист и историк. Был приглашен Петром I из Германии специально для борьбы с враждебной России пропагандой в других странах. Подробнее см.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII—первая четверть XVIII в., с. 296—300.

[83] См.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XII—XVII вв., с. 247—264.

[84] См.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII — первая четверть XVIII в., с. 54—70.

[85] Там же, с. 98—118.

[86] Бергиус Николаус (1658—1706 гг.) — шведский писатель, глава протестантского духовенства в Лифляндии. С целью распространения протестантства в России основал русскую типографию в Стокгольме, где напечатал на русском языке «Катехизис» Лютера.

[87] О связях Лейбница с Россией см.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII—первая четверть XVIII в., с. 265.

[88] О Синопсисе см.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XII—XVII вв., с. 396—398.

Особо Шлецер выделяет петровский период. Петр «открыл опять европейцам свое государство, которое они до сих пор считали азиатским. Слава, озарившая победителя при Полтаве, отбросила луч свой также на все, называвшееся русским (уже более не московским), следственно и на историю сего вновь возникающего государства»[89]. Сам Петр в 1716 г. заказал копию с Радзивилловского списка. «Он не знал, что дома у него были списки гораздо лучше этого». А в 1722 г. последовал указ о присылке с мест исторических документов в Петербург. Швед Лидгейм вывез с собой из плена в Финляндию один из списков Нестора и «Степенную книгу» и сделал известными выписки из них. Попадают русские рукописи и в Вольфенбютель (между Россией и Брауншвейгом дважды заключался союз).

В Петровское время падает, наконец, барьер между русской историей и Западом. «Связи царского двора со многими иностранными дворами и неслыханное счастье Петра I возбудили до нетерпения любопытство иностранных узнать русскую историю». На что ни пустится «дерзкий германец, думающий все преодолеть трудолюбием!» Речь идет о Трейере, писавшем в 1720 г. «Введение в Московскую историю». Начал он это введение только с Ивана Грозного, а источником ему служили лишь записки иностранцев о России. «Слепца водили слепцы», — иронически замечает по этому поводу Шлецер[90].

Среди иностранцев господствовало убеждение, что русскую историю можно писать только по запискам иностранцев, так как русские источники якобы содержат слишком скудный материал. В действительности же в русских источниках русская история «описана подробнее и с большей точностью, нежели в историях иностранных». Тут, однако, вставало новое препятствие: не знавшие русского

---

[89] Нестор.., ч. 2, с. 136.

[90] Шлецер прав, говоря, что Трейер на русские темы писал по западным источникам. Но Шлецер ничего не говорит о том, что в интерпретации этих источников немецкий историк Готлиб Самуил Трейер (G. S. Treuer, 1683—1743 гг.) сделал большой шаг вперед по сравнению не только с иностранной, но и с тогдашней дворянской историографией в России. Современник Петра I, Трейер очень интересовался деятельностью русского царя, о котором говорила тогда вся Европа. Автор пришел к выводу, что появление Петра было следствием всей предшествующей истории России. Свидетельством тому является труд Трейера: «Apologia pro Johanne Basilide IV Magno Duce Moscoviae tyrannidis vulgo falsoque insimulato» (1711). Предшественником реформаторской деятельности Петра I оказывается Иван Грозный. Начиная с «Временника» Ивана Тимофеева русская историография, а за ней и Сказания иностранцев, изображали Ивана Грозного как воплощение патологической и бессмысленной жестокости. У Трейера царь Иван выступает как собиратель русских земель, борец за укрепление центральной власти в противовес боярскому сепаратизму. Жестокость Ивана объяснялась именно этими политическими причинами. Но Трейеру этого было мало. Он исследует деятельность Грозного как следствие предшествующей русской истории и как фактор, определивший последующие события. Результатом этого явилась новая работа: «Einleitung zur Moscovitischen Historie von der Zeit an da Moscov aus vielen kleinen Staaten zu einem grossen Reiche gediehen...». Leipzig; Wolffbüttel, 1720. Кроме того, Трейер работал в области истории немецко-русских связей.

языка иностранцы не могли написать путной русской истории. Им оставалось только ждать, пока сами русские откроют свои источники, давно существовавшие и достоинства которых были уже известны. Это и должна была сделать Академия наук.

Оценивая состояние русской исторической науки, Шлецер сопоставлял степень продвижения вперед в изучении истории России с тем, что было сделано западной наукой в изучении истории соответствующих стран. Что касается собирания и публикации источников, то аналогичное сопоставление показало следующее.

Первым историком в России Шлецер, разумеется, называет Байера, который «объяснил точно варягов и отыскивал русскую историю у византийских писателей». Байер, однако, не знал русского языка, а посему «зависел всегда от неискусных переводчиков и делал важные ошибки». Выступивший ему на смену Миллер стал в 1732 г. (почти через два века после того, как появились русские типографии) публиковать в «Sammlung russischer Geschichte» немецкий перевод Радзивилловского Нестора. Плохой переводчик перекрестил монаха Феодосиевского монастыря в Феодосия, с его легкой руки иностранцы 30 лет величали Нестора Феодосием. Это спокойное, хотя и не столь блистательное начало было омрачено столкновением Ломоносова и Миллера в 1749—1750 гг. По словам Шлецера, Миллер всего-навсего утверждал «Байерово положение, что варяги были норманны, ежели не шведы», а Ломоносов был убежден, что такое мнение «оскорбляет честь государства». Здесь у Шлецера выпала суть всего спора — она состояла, как известно, не только в тех или иных представлениях насчет национальной принадлежности варягов, но и в том, что им приписывалась роль создателей русского государства. Шлецер не один раз говорит в «Несторе», что Миллер был крайне перепуган натиском Ломоносова. «Образумившись от сего страха», он стал издавать «Ежемесячные сочинения», убеждая русских, что пора приняться за издание летописей, но его голос не был услышан. Астроном Делиль привез во Францию Степенную книгу. На основании ее там была составлена первая «роспись» русских правителей с X по XV в.

Так доходит Шлецер до начала собственной деятельности в области русской исторической науки. Прежде чем говорить об этом, он решает ответить на сам собою возникающий вопрос: неужели русские так и не предпринимали самостоятельных попыток написать свою историю? Неужели начало разработке русской истории положила только деятельность Байера и Миллера? Ответ Шлецера был целиком подчинен его главной цели — доказать, что все написанное до этого русскими историками было по большей части «ощутительно дурно, недостаточно и неверно». Даже Байер и Миллер, по мнению Шлецера, не стояли на высотах науки. На этом фоне должна была подняться «монументальная» фигура самого Шлецера.

Этой же цели служили и критерии, с которыми он подходил к оценке русской исторической науки. Таковых было два: во-первых, русские историки не знают западную историческую литературу;

во-вторых, все они, включая Байера и Миллера, не имели «очищенного» Нестора. Как уже говорилось, Шлецер исходил из той мысли, что русское летописание состоит из подлинного, но потом утерянного Нестора и позднейших его списков. Переписчики исказили первоначальный текст, и задача состоит теперь в том, чтобы восстановить его, очистить подлинник от искажений невежественных переписчиков. Эта задача еще не была решена, и ее решение брал на себя Шлецер.

Русская историография наряду с летописанием начиналась для Шлецера с Синопсиса. Мы уже видели, что оценка этого труда Шлецером была резко отрицательной. Другие русские исторические произведения XVII в., включая Лызлова, остались ему совсем неизвестными. Уничтожающую оценку получил и Манкиев [91], уже за одно то, что повторял укоренившиеся в русской исторической традиции легенды, в частности миф о происхождении московских царей от Августа. Тем более не повезло Татищеву, выступавшему против Байера [92]. Его «История», по мнению Шлецера,— всего лишь выписки из летописей до 1462 г. «Нельзя сказать, чтобы его труд был бесполезен (включая части о скифах и сарматах и пр.), хотя он и совершенно был неучен, не знал ни слова по-латыни и даже не разумел ни одного из новейших языков, выключая немецкого». Его «Историю» долго не печатали, т. к. автора заподозрили в вольнодумстве. По этой причине он намеревался печатать ее в Англии. Шлецер ничего не говорит об отношении Академии наук к труду Татищева. По его словам, этот труд стал «оракулом всех читателей летописей». Шлецер не преминул заключить свой отзыв о Татищеве излюбленной тирадой: «Вот сколько, или лучше, сколь *мало* сделали между тем русские и самая Академия».

Однако этот отзыв, приведенный самим Шлецером, не отражает полностью его отношения к Татищеву. В автобиографии Шлецер рассказал, что в 1765 г. он предлагал Тауберту, владельцу рукописи Татищева, издать его «Историю Российскую», и брался осуществить это безвозмездно. А из переписки, связанной с изданием упомянутой рукописи Миллером, стало известно письмо Шлецера Тауберту, где он замечал: «Татищев — русский, он является отцом русской истории, и мир должен знать, что русский, а не немец проломил лед в русской истории» [93].

Иностранцев, писавших в то время о русской истории, Шлецер тоже не жалует, и он имеет на это все основания. Помимо примеров, приводимых в «Probe russischen Annalen», он в «Несторе» без устали умножает их число, чтобы показать невежество иностранных авторов в русской истории. Иностранцы не знали русских источников. Некоторые продолжали доказывать происхождение русских от Мосоха; невежество доходило до того, что Нестора

---

[91] Естественно, что об этом труде Шлецер знал по изданию Миллера и считал его автором Андрея Хилкова.

[92] *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа, XVII—первая четверть XVIII в., с. 411.

[93] A. L. v. Schlözer und Russland, S. 191.

считали просвещенным россиянином XVII в.; Синопсис приписывали некоему патриарху Константину, на которого потом ссылался и Вольтер; утверждалось, будто русские научились писать не раньше 1262 г.; говорилось, что они скрывают свою древнейшую историю, чтобы не показать собственного варварства, и т. д.

Порой, однако, Шлецер возводил и явную напраслину. Совершенно категоричен и негативен, например, его отзыв о Страленберге: «Ни один иностранец не наделал столько ошибок и глупостей в русской истории, географии и статистике, как этот швед — хвастун и невежда»[94]. Между тем справедливость требует в данном случае существенных поправок. Филипп Иоганн Страленберг, попавший в Полтавском бою в русский плен и проживший 13 лет в Сибири, был крупным знатоком этой части России. Его книга «Историческое и географическое описание полунощновосточной части Европы и Азии», вышедшая в 1730 г. на немецком языке и переведенная в 1797 г. на русский, как и книга Миллера «История Сибири», не утратила своего географического, этнографического, исторического и филологического значения даже в наши дни. Страленберг собрал огромный материал по личным наблюдениям, он пользовался русскими источниками, в частности картами С. Ремезова. Карта Сибири, составленная самим Страленбергом, получила одобрение Петра[95].

Тем временем русские продолжали разработку своей истории. С 1747 г. в Академии наук не стало исторического департамента, что Шлецер считал совершенно ненормальным. Однако вскоре происходит важное событие: над русской историографией «сжалился» профессор химии Ломоносов и написал «Краткий Российский летописец». 1760 год — дату выхода «Краткого летописца» — Шлецер считает крупным явлением в историографии, создаваемой самими русскими. Он старался подчеркнуть свою причастность к изданию трудов русского ученого. Шлецер не преминул сказать о своем участии в издании (1766 г.) после смерти Ломоносова его «Древней Российской истории», для которой им было написано предисловие. Подчеркивает Шлецер и участие других немцев в переводе на немецкий язык ломоносовских исторических произведений — Штелина-младшего (перевод «Краткого летописца») и Бакмейстера (перевод «Древней Российской истории», в том числе и на французский язык). В годы создания «Нестора» (1802—1809) ученый авторитет Ломоносова за рубежом успел достаточно укрепиться. Шлецеру оставалось удивляться, что рядом с сочинениями Ломоносова в России продолжал издаваться «уродливый» Синопсис[96]. В ломоносовские годы продвинулось вперед и русское источниковедение. В 1761 г., когда в Пруссии были русские войска, Тауберт добился распоряжения перевезти из Кёнигсберга в Россию Радзивилловский список летописи. Он был издан, но «неученому»

[94] Нестор, ч. 2, с. 144.
[95] См. также настоящее изд.
[96] Последнее его издание вышло в 1861 г.

Баркову разрешили «выпускать, прибавлять, а также поновлять древний язык», чем и испортили все дело [97].

С 1761 г. начинается участие самого Шлецера в разработке русской истории. Задача, которую он себе поставил, сводилась, по его собственным словам, к тому, чтобы «памятники русской древности обработать так, как до сих пор делалось у всех народов, упражняющихся в науках». Это значило, что надо было провести значительную работу по собиранию возможно большего количества списков летописи, чтобы создать «очищенного» Нестора; нужно было издать такие памятники русской истории, как «Русская Правда», «Судебник» Ивана Грозного и др.; следовало ближе познакомиться с византийскими источниками и, наконец, необходимо было на этой источниковой базе создать сочинения по русской истории. Для выполнения всего этого Шлецеру явно не хватило проведенного в России времени.

В 1767 г. Шлецер уезжает в Геттинген. Он очень сожалеет, что Петербургская Академия и Геттингенский университет не объединили своих усилий в разработке древней русской истории. Это значительно продвинуло бы дело. За время с 70-х по 90-е годы XVIII в. в России, считает он, была проделана большая публикаторская работа. Такого периода «еще никогда не бывало на свете. В эти 20 лет напечатано на русском языке гораздо более подлинников... нежели во все прежние царствования». Шлецер, несомненно, имел в виду публикации Миллера и Щербатова. Он считал их чрезвычайно важными, ибо благодаря им наметился известный перелом во взгляде иностранцев на источниковую базу русской историографии. Теперь немцы писали очень мало (ждали, что выйдет в России), а то, что ими создавалось, особого интереса не представляло. В 1778 г. Шмидт, прозванный Фисельдеком, написал «Versuch einer neuen Einleitung in der russische Geschichte nach bewährten Schriftsteller» (Рига). А в следующем году в Лейпциге вышел «жалкий немецкий перевод с жалкого русского издания жалкого Радзивилловского Нестора..., но эта тройная жалость принята многими за классическое сочинение».

Зато кое-что пытались сделать в этой области французы. Лакомб в 1763 г. написал свой «Abrégé chronologique de l'histoire du nord», где большое место заняла русская история. Она вышла вполне сносной, по крайней мере, не начиналась с Гомера, внука Иафета. Вольтеру само русское правительство заказало историю Петра Великого. Опыт оказался неудачным: в книгу проникло «бесчисленное множество неверно описанных бессмертным поэтом происшествий». Попытка Миллера (о Ломоносове Шлецер не упоминает) помочь Вольтеру присылкой материала не удалась, так как, «по собственному Вольтерову признанию, известно, что ему не хотелось рыться в кипах полученных им бумаг, почему, не рассматривая, отдал их в публичную библиотеку» [98].

[97] Речь идет об известном Иване Баркове, который вместе с Таубертом издавал эту летопись (1767 г.).
[98] Нестор, ч. 2, с. 159.

Проживший 12 лет в России Левек написал «Histoire de Russie, triée des chroniques originales, des pièces autentiques et des meillieurs historiens de la nation» (1782). Самим заглавием он хотел подчеркнуть, что опирался на русские источники и русских историков: имелись в виду Татищев, Ломоносов и Щербатов. Для Шлецера, однако, это было неубедительно — источники в его глазах были еще «неочищенные», а что касается историков, то он оценивал их весьма невысоко, за исключением Ломоносова.

Следующим выступил Леклерк со своей «Histoire de la Russie ancienne et moderne» (1783). По поводу этой книги Шлецер не нашел высказать ничего, кроме насмешки и негодования, ибо «давно уже так грубо не обманывали публику». Сей историк России «не разумел русского языка, а и того менее мог читать летописи, это ему доказал Левек, у которого выкрал он все исторические происшествия». Леклерк «превосходит все то, что в словесности сего столетия критика когда-либо выставляла, говоря про невежество или, лучше, про недостаток человеческого смысла». Болтин с полным основанием проучил этого хвастуна: «Очень жаль, что лучшие наши классические книги и по сию пору еще ссылаются на это смешное сочинение»[99].

Таковы сочинения иностранцев, главным образом французов, по русской истории. Было совершенно очевидно, что историю России должны писать сами русские или, во всяком случае, люди, знающие русский язык.

Как же оценивает Шлецер в целом современную ему русскую историографию второй половины XVIII в.? Если проанализировать высказывания на этот счет, разбросанные по многим страницам «Нестора», то вырисовывается следующее. Процесс создания исторической науки Шлецер, как известно, представлял в виде трех последовательных этапов, на каждом из которых господствует соответствующая фигура историка — Geschichtssammler'a (собирателя исторических источников), Geschichtsforscher'a (исследователя) и Geschichtserzähler'a (повествователя истории). Для повествователя, считал Шлецер, время еще не наступило, но работа Sammler'a и Forscher'a должна идти полным ходом. При этом собиратель, естественно, должен идти впереди исследователя.

Критерий, с которым Шлецер подходил к оценке современного ему положения в русской исторической науке, был строго определен: насколько русские продвинулись вперед в изучении истории России, Шлецер сопоставлял с тем, что было сделано западной наукой в изучении истории соответствующих стран. Такое сопоставление показало, что на Западе наиболее существенную роль в собирании и публикации исторических источников сыграли монастыри и монашеские ордены; от них вынуждены были не отставать и иезуиты, рядом с последними выступали светские «эрудиты»; порой не оставалась в стороне и государственная власть.

В России инициатором собирания исторических источников выступила государственная власть. Со времен Петра I последовал

---

[99] Там же, с. 170—171.

третий указ учреждениям и монастырям о представлении в Петербург исторических рукописей. То, что такие указы приходилось повторять, свидетельствует об очень плохом их исполнении.

С трудом продвигалась и публикация исторических документов. Обнаружилось довольно неожиданное явление: в средние века в создании и хранении летописей на Руси ведущую роль играли монастыри; теперь же, когда встал вопрос о публикации «Повести временных лет», основного русского документа по древней истории Руси, главным препятствием оказался Святейший правительствующий Синод. Когда Академия наук запросила Синод, каково будет его отношение к публикации летописей, ответ был совершенно однозначен: «Рассуждаемо было, что в Академии затевают истории печатать, в чем бумагу и прочий кошт терять будут напрасно, понеже в оных книгах писаны лжи явственные... отчего в народе может произойти не без соблазна»[100]. Вполне вероятно, что такой ответ был продиктован стремлением угодить всесильному в те годы Бирону.

Все это создавало огромные трудности в становлении русской исторической науки. Известно, с каким трудом приходилось Татищеву, основоположнику исторической науки в России, создавать источниковую базу своего труда. Во введении к «Истории Российской» описание источников заняло не одну страницу; знакомиться с этими рукописными документами приходилось не только в архивах — главные усилия Татищева были направлены на добывание рукописей; добывались они не одним великим трудом, но и «иждивением» во многих городах и даже за границей у самых различных людей и при самых различных обстоятельствах.

И тем не менее во времена Шлецера издание русских исторических источников началось. К концу XVIII в. была издана «Повесть временных лет», «Русская Правда» (вышло несколько изданий), «Степенная книга», «Судебник» Ивана Грозного (с примечаниями Татищева), «Царственная книга», была уже позади публикаторская деятельность Н. И. Новикова, вышли в свет многие дипломатические документы и т. д. Шлецер упоминает далеко не все эти издания, но он признает, что работа по обнародованию исторических источников уже идет. Особое значение для Шлецера имела публикация летописи, над исследованием которой трудился он сам.

Готов был признать Шлецер некоторые завоевания современной ему русской историографии и по ведомству Geschichtsforscher'а. Русская историческая мысль покончила со старинными легендами в объяснении древней истории России. Теперь она исходила из исторической реальности. Основоположником русской исторической науки Шлецер стал считать Татищева, который первым «взломал лед русской истории». Крупным явлением в русской историографии были труды Ломоносова. Однако, считая его гениальным ученым в других отраслях науки, Шлецер не только Татищева, но и Ломоносова не ставил в один ряд с западноевропейскими историками, а следовательно, и рядом с собой. Тем не менее он постоянно под-

[100] *Иконников В. С.* Опыт русской историографии. Киев, 1908, т. 2, кн. 2, с. 1923.

черкивал, что XVIII век — это время, когда в России на смену историческим легендам приходит историческая наука. К достижениям русской историографии Шлецер причислял также рождение исторической критики: речь шла о Болтине, выступавшем против Леклерка и Щербатова.

И все же гораздо больше Шлецер насчитал в русской исторической науке капитальных недостатков. Первый из них состоял в том, что русские не знают иностранной исторической литературы, а потому лишены возможности познавать свою историю путем сравнения ее с западной. Во-вторых, русские не признали норманнскую теорию. С этим связан третий недостаток: русские не признают примитивного общественного уровня днепровских славян и даже находят у них торговлю. Эта точка зрения «принята была всеми русскими за доказанную истину, а в 1800 г. Шторх украсил ее даже всякою ученостью». Особое значение Шлецер придавал норманнской теории и представлению о примитивном уровне славян и самих норманнов. Непризнание этого тезиса историком лишало его в глазах Шлецера права быть представителем науки. Когда Шлецер подходил с этой меркой к русской исторической науке, он не находил в России ни одного ученого, кроме Байера. Именно Байер, по его убеждению, определил ее направление. Татищев и Ломоносов уклонились от этого пути. Миллер стал было на правильную дорогу, но потом сбился с нее, не признав Рюрика скандинавом. Щербатов и Болтин еще больше сбились с правильного направления. Была надежда, что дело поправится изданием «Русской Правды», но появился Шторх и испортил все дело, признав наличие торговли у древних славян.

И еще один, по счету четвертый, недостаток русской науки: русские не работают над реконструкцией «очищенного» Нестора. Именно по этой проблеме Шлецер ставил своей задачей восполнить пробел — создать труд о Несторе.

Таков взгляд Шлецера на русское источниковедение и русскую историографию его времени.

* * *

Когда читаешь шлецеровского «Нестора», бросается в глаза, что автор очень высоко ставит современную ему Россию. Он представляет ее читателю как идеал «просвещенного абсолютизма» и Александра I сравнивает с Александром Македонским. На высоты мировой исторической мысли Шлецер поставил Нестора, автора первого труда по истории России. Изданы «все древние важные исторические книги, как-то: Библия, Геродот, Диодор, Ливий, Тацит и пр. и пр. и многие временники среднего века действительно и примерно изданы искуснейшими в сем роде учеными людьми в Германии, Франции, Англии, Италии, Дании, Швеции и пр. Старый Печерский 1100 года монах достоин сего труда: честь великой нации, к которой он принадлежит, сего требует; общая северная, европейская, даже всемирная, история в том участвует»[101].

[101] Нестор, ч. 2, с. 394—395.

Но когда речь заходит о современной Шлецеру исторической науке (и русской, и западной), которой надлежит разобраться во всем этом, то оказывается, что она слишком беспомощна, чтобы это сделать. Изучение труда Нестора, автора мирового масштаба, по сути дела еще не начиналось. Перед читателем выступали грандиозная цель и ничтожные средства к ее достижению. В этой картине, нарисованной Шлецером, без сомнения, отразилось объективное положение дела: действительно изучение летописного наследства в России только начиналось, а западные историки, не владевшие материалом и не знавшие языка летописи, были беспомощны. Но ко всему этому с такой же несомненностью примешивался и субъективный момент: Шлецер с особым рвением старался показать, что по избранному им великому сюжету вокруг него, Шлецера, была пустота, своего рода «дикое поле», ибо мировая историческая наука была бессильна справиться с этой проблемой. Первым и единственным возделывателем нивы на этом «диком поле» явился сам Шлецер. Славословя Россию и Нестора, он подчеркивал значимость проблемы, которую сам же и решал; указывая на низкий уровень исторической науки своего времени, ученый стремился показать значимость собственной работы.

Это самовосхваление с самого начала было характерно для Шлецера. Когда он приехал в Россию, его первое впечатление от русской историографии отразилось в формулировке, которую мы находим в «Несторе»; «Немецкому читателю казалось, как будто он перенесся в XVI век своей словесности». Шлецер рассчитывал возглавить в России движение, целью которого было бы догнать по уровню западную историческую науку. В 1764 г. он написал докладную записку в Академию наук с изложением плана дальнейшей разработки древней истории России. Позднее он писал в «Несторе»: «Я не сказал тут ничего нового. . . а представил только, как другие ученые нации — немцы, французы, британцы — мало-помалу достигли хорошей отечественной истории. . . так должны поступать и россияне»[102]. Более подробно этот план был изложен в «Probe russischen Annalen» (1767).

Становилось все более ясным, однако, что русские не собираются следовать за Шлецером. Доказательством служило то важное для него обстоятельство, что в решении варяжского вопроса историки России оказались не на стороне Шлецера, а на стороне Ломоносова, которого уже не было в живых. Шлецер уезжал в Германию, так и не добившись признания своих идей в России, но он не расстался с ними. Историк увез из России немало списков русской летописи, собираясь на родине собственными силами осуществить исследование о главном историческом свидетельстве по древней русской истории. И Шлецер выполнил свое намерение: появился его «Нестор». В отличие от других иностранцев Шлецер знал и русскую, и западную литературу по своей проблеме. Во всей тогдашней историографии он не видел труда о Несторе, равнозначного своему труду. Такого

---

[102] Нестор, ч. 1, с. 393.

масштаба работа тогда не была создана даже в самой России. Шлецер написал: «Искренне желаю, чтобы в этой работе предупредил меня россиянин, однако же сомневаюсь, ибо именно эта часть требует особенного чтения иностранных книг, которых и по сию пору удивительно мало в русской земле»[103]. Он был убежден, что после его отъезда из России русская историческая наука «заснула». Знаменитый «Нестор» был памятником, который Шлецер воздвигал себе в мировой историографии. На закате своих дней он считал годы, проведенные в России, лучшими в своей жизни, работа же над русской историей была «главным и любимым»[104] его «упражнением»[105].

М. В. Ломоносов

На историческую концепцию Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765) отчетливо легла печать борьбы с норманизмом. Борьба эта составляла главную черту русской исторической науки его времени, а сам Ломоносов был главой антинорманнского направления. Профессор химии вынужден был взяться за перо историка, чтобы защитить честь русской науки и самого народа. Такая задача ставила перед Ломоносовым огромные трудности, вынуждала осваивать новую для него науку. При этом надо иметь в виду, что он шел на бой с противниками, выступавшими во всеоружии достижений западной исторической науки. Трудности, вставшие перед Ломоносовым, хорошо видели его современники. Ф. Эмин писал, что, приступая к трудам по истории, Ломоносов «долгое время в мыслях своих колебался, следовать ли мысленным своим поползновениям или до будущих и просвещеннейших времен оставить свое предприятие? Желание славы и любление отечества толь были в нем сильны, что отчасти преодолели многие ему мечтающиеся затруднения»[106].

Борьба с норманизмом определила для Ломоносова и саму задачу исторической науки. Задача эта двоякая. Во-первых, история должна служить сокровищницей исторического опыта, где любой человек, от государя до последнего гражданина, может сыскать себе образец для лучшего свершения своих дел. И уж если «вымышленные повествования производят движение в сердцах человеческих, то правдивая ли история побуждать к похвальным делам не имеет силы, особливо ж та, которая изображает дела праотцов наших?»[107] Здесь слышится нетерпеливый протест против искажения норманистами истории праотцов российского народа, но в самом определении истории как опыта, полезного для будущего, не было ничего нового

---

[103] Там же, с. XLI.
[104] Нестор, ч. 2, с. 150.
[105] Там же.
[106] *Эмин Ф.* Российская история жизни всех древних от самого начала России государей... СПб., 1767, т. 1, с. 4.
[107] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952, т. 6, с. 171.

по сравнению с предшественниками и современниками. Во-вторых, Ломоносов выделял особую задачу, которую способна выполнить только история. «Велико есть дело смертными и преходящими трудами дать бессмертие множеству народа, соблюсти похвальных дел должную славу и, пренося минувшие деяния в потомство и в глубокую вечность, соединить тех, которых натура долготою времени разделила. Мрамор и металл, коими вид и дела великих людей, изображенные всенародно, возвышаются, стоят на одном месте неподвижно и ветхостию разрушаются. История, повсюду распространяясь и обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности презирает»[108]. Среди задач, для решения которых история располагает столь могучими средствами, на первом месте стоит задача «дать бессмертие множеству народа». Это было новым и сразу поднимало Ломоносова не только над предшественниками, но и над современниками. Лишь Радищев и его последователи говорили о народе и ратовали за его место в истории.

Исходя из этих представлений, Ломоносов строил и свои собственные задачи как историка. Для него история была прежде всего историей народа, который прошел длинный и чрезвычайно сложный путь исторического развития еще до появления государства. Уже этим историческая концепция Ломоносова приходила в противоречие с концепцией его противников. В противовес норманистам, считавшим, что русская история начинается с призвания варягов, Ломоносов начинал историю России многими веками раньше — с формирования самого народа. Первый раздел его «Древней Российской истории» называется поэтому «О России прежде Рурика», а одной из основополагающих проблем выдвинутой им исторической концепции был вопрос о «дальности древности славенского народа».

Эта «дальность древности» простиралась в глубь веков. «Что славенский народ был в нынешних российских пределах еще прежде рождества Христова, то бесспорно доказать можно», — подчеркивал Ломоносов и представил неоспоримые тому доказательства. Здесь он широко использовал открытую брешь в миллеровской аргументации. Ведь Миллер опирался главным образом на данные северных писателей, прежде всего Саксона Грамматика, и на скандинавский фольклор. Он не мог опереться на античных авторов, располагавших слишком скудными сведениями о северной Европе. У него, таким образом, отсутствовали наиболее авторитетные для древних времен свидетельства, а самый материал древних писателей не согласовывался с построениями Миллера. Поэтому Ломоносов не преминул указать на слабое место построений своего оппонента, который, «чувствуя, что неосновательное его мнение при столь многих свидетелях слабо весьма будет, за благо рассудил оных прокинуть»[109].

Чтобы показать этническое различие славян и скандинавов и их территориальную разобщенность, Ломоносов старался призвать себе на помощь именно античных историков и географов, в известной

[108] Там же.
[109] Там же, с. 30.

мере знакомых с южной и юго-восточной Европой и дававших материал для истории древних славян. От Геродота (V в. до н. э.) до Прокопия Кесарийского (VI в. н. э.) все крупнейшие имена античной историографии за целое тысячелетие были мобилизованы против норманистов: Птолемей, Корнелий Непот, Катон, Плиний, Страбон, Тацит, Тит Ливий, Иордан и другие составили как бы первую линию наступления; более поздние — Гельмольд, Саксон Грамматик, Стурлусон, Кромер, Муратори, Арнольдт и другие образовали его вторую линию. Особую, хотя и немногочисленную, наступающую когорту составили русские авторы, прежде всего Нестор.

Сопоставляя данные столь многочисленных источников, Ломоносов приходит к выводу, что среди народов, населявших равнины юго-восточной Европы на протяжении этого тысячелетия, были и славяне. При этом он выдвигает чрезвычайно важное и плодотворное положение о том, что формирование народов включает в себя сложный процесс их взаимодействия, смешения их этнических элементов. Нет этнически чистых народов, ибо «ни о едином языке утвердить невозможно, чтобы он с начала стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть оных видим военными неспокойствами, преселениями и странствованиями в таком между собою сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество»[110].

Типичный пример взаимодействий народов в процессе «военных неспокойствий, преселений и странствований» — участие славян в разрушении Римской империи. Еще во времена ее могущества славяне соприкасались с ней в Придунайских областях. Наступающей стороной был Рим. Потом времена переменились, наступающей стороной стали народы, постоянно напиравшие на римские границы. Главной силой, угрожавшей этим границам, были германцы, но «немалую часть воинств их славяне составляли; и не токмо рядовые, но и главные предводители были славенской породы. Итак, ныне довольно явствует, коль велико было славенское племя уже в первые веки по рождестве Христове»[111].

Об этом же говорит и история отдельных славянских народов. Один из примеров того — роксоланы. Остготский король Германарих имел роксоланские войска, от которых и погиб. Другая часть роксолан с готами ушла в Италию. Для Ломоносова не подлежит сомнению, что «между готами множество славен купно воевали».

Наиболее крупными были нашествия славян на Восточную Римскую империю — Византию. «В начале шестого столетия по Христе славенское имя весьма прославилось; и могущество сего народа не токмо во Фракии, в Македонии, в Истрии и в Далмации было страшно, но и к разрушению Римской империи способствовало весьма много»[112]. В качестве красноречивого подтверждения Ломоносов приводит большую выдержку из «Готской войны» Прокопия

[110] Там же, с. 174.
[111] Там же, с. 178.
[112] Там же, с. 176.

Кесарийского, где рассказывается о широких масштабах военных действий между славянами и византийскими войсками, главным образом при императоре Юстиниане.

Великое переселение народов и участие в нем славян для Ломоносова важны не только как свидетельства роли славян в мировой истории, но и как процесс, когда интенсивно шло смешение народов и образование новых этнических масс. Их формирование совершалось постоянно, о чем говорит, к примеру, появление русского народа. Он родился из смешения славян и чудских племен. «В составлении российского народа преимущество славян весьма явствует, ибо язык наш, от славенского происшедший, немного от него отменился и по толь великому областей пространству малые различия имеет в наречиях... Рассуждая о разных племенах, составивших Россию, никто не может почесть ей в уничижение»[113].

Территория, занимаемая славянами и племенами, участвовавшими в формировании русского народа, весьма обширна. Ее западная граница представляется Ломоносову в бассейне Эльбы, восточная — теряется в бассейне Волги, на севере упирается в Прибалтику и уходит на северо-восток, на юге простирается до Дона, Дуная и Балкан. Как видим, Ломоносов в основном правильно определяет территорию и те этнические процессы, которые на ней происходили на протяжении многих веков. Позднейшая наука, внеся ряд уточнений, в целом сохранила картину, нарисованную Ломоносовым. Уточнения коснулись ошибок Ломоносова в определении этнической принадлежности ряда народов. Так, к славянам он причислял сарматов, прибалтийские народы — литовцев, эстонцев и латышей; «Одоацер, Радегаст и другие, и сам, как видится, Рима победитель Аларик», по мнению Ломоносова, тоже были славяне; к ним же относил он и варягов, о чем пойдет речь впереди.

Ломоносов пытался определить общественный строй славян. Для тогдашнего уровня исторической науки эта попытка была очень плодотворной. Он приводит свидетельство Прокопия о славянах, из чего следует, что в VI в. они еще не окончательно осели на земле. «Живут в убогих хижинах, порознь рассеянных, и нередко с одного места переселяются на другое». Это соответствует исторической действительности, как и сообщение Прокопия об их политическом строе. «Сии народы, славяне и анты, не подлежат единодержавной власти, но издревле живут под общенародным повелительством. Пользу и вред все обще приемлют»[114]. Славяне «без монархии почитали себя вольными, что весьма тому дивно не покажется, кто рассудит закоренелое прежде упрямство славян новгородских противу самодержавной власти московских государей»[115]. Они имели князей, но их власть была «без потомственного наследства».

Следовательно, у славян не было той «тьмы невежества», о чем твердят норманисты. Некоторые славянские племена имели по тем

[113] Там же, с. 174.
[114] Там же, с. 183.
[115] Там же, с. 214.

временам высокий уровень развития. «При Варяжском море на южном берегу жившие славяне издревле к купечеству прилежали. В доказательство великого торгу служит разоренный великий город славенский Виннета, от венетов созданный и проименованный. Гельмольд о нем пишет»[116]. За российскими пределами «лехи по Висле, чехи по вершинам Албы, болгары, сербы и моравляне около Дуная имели своих королей и владетелей, храбрыми делами знатных. По южным берегам Варяжского моря живших славян частые и кровавые войны с северными, а особливо с датскими королями, весьма славны. Множество и величество городов хотя тогда не таково было, как ныне, однако же весьма знатно». Что касается российских пределов, то «великий Новград, Ладога, Смоленск, Киев, Полотск паче прочих процветали силою и купечеством, которое из Днепра по Черному морю, из Южной Двины и из Невы по Варяжскому в дальние государства простиралось и состояло в товарах разного рода и цены великой»[117].

Такова нарисованная Ломоносовым картина ранней истории славянства и русского народа. Однако он не ограничивается этим, а развертывает перед читателем картину еще более грандиозную: все это лишь часть всемирно-исторического процесса, лишь его звено в ряду других звеньев, каждое из которых имеет свое, только ему принадлежащее место. Каждый народ проходит те стадии развития, которые проходили раньше другие, более развитые народы. Ломоносов сравнивает в широком плане историю Рима с историей России и находит, что в Риме «владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей Российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные городы... потом единоначальство кесарей представляю согласным самодержавству государей московских»[118]. Древняя славянская религия сходна с языческой религией греков и римлян. «Что значат известные в сказках полханы, из человека и коня сложенные, как греческих центавров? Не гиганты ли волоты? Не нимфы ли в кустах и при ручьях сельскою простотою мнимые русалки? Не соответствует ли царь морской Нептуну, чуды его тритонам? Чур поставленному на меже между пашнями Термину?»

Сравнивая русский народ с более развитыми народами, Ломоносов указывает на два обстоятельства. Во-первых, он, как и Татищев, отмечает, что «имя славянина поздно достало слуху внешних писателей», а сами славяне еще не имели собственных историков, поэтому причиной малой известности славян в ранний период является «бывший наш недостаток в искусстве, каковом греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности». Во-вторых, важной причиной малой известности славян в тот период было более позднее появление монархической власти. Если говорить о русском

---

[116] Там же, с. 184.
[117] Там же, с. 175.
[118] Там же, с. 170—171.

народе, то «древняя наша история до Рурика порядочным преемничеством владетелей и делами их не украшена, как у соседов наших, самодержавною властью управляющихся, видим. Шведы и датчане, несмотря, что у них грамота едва ли не позже нашего стала быть в употреблении, первых своих королей прежде рождества Христова начинают, описывая их домашние дела и походы»[119].

* * *

Появлению самодержавной власти Ломоносов придает большое значение. Сравнивая историю Рима и историю России в целом, он приходит к выводу, что «римское государство гражданским владением возвысилось, самодержавством пришло в упадок. Напротив того, разномысленною вольностию Россия едва не дошла до крайнего разрушения; самодержавством как сначала усилилась, так и после несчастливых времен умножилась, укрепилась, прославилась»[120]. Первым самодержцем, по мнению Ломоносова, был Рюрик, вокруг вопроса о происхождении которого и шла баталия с норманистами.

Ломоносову не надо было доказывать, что Рюрик — первый самодержец в истории России: в этом были убеждены как он, так и его оппоненты. Спор шел о другом, а именно о происхождении Рюрика и его братьев. В противоположность Байеру, Миллеру и Шлецеру Ломоносов доказывал, что Рюрик был славянин. Последующая наука пришла к выводу, что, несмотря на всю легендарность истории Рюрика и его братьев, пришельцы в Новгородскую, а затем и в Киевскую землю, именуемые варягами, являлись все же норманнами.

Аргументация Ломоносова в пользу славянского происхождения Рюрика не выдержала испытания временем. Ученый исходил из того, что, помимо варягов скандинавских, существовали варяги-россы, жившие в Пруссии. Из них-то он и выводил Рюрика, а опираясь на Кромера, доказывал, что варяги-россы «с древними пруссами произошли от одного поколения», следовательно, были славянами. Однако на пути такого утверждения вставало неизбежное препятствие: чем тогда объяснить скандинавские имена первых летописных князей? «Я не спорю, что некоторые имена первых владетелей российских и их знатных людей были скандинавские, — писал Ломоносов, — однако из этого отнюдь не следует, чтобы они были скандинавцы. . . Варяги, называемые русь, славенского колена. . .жившие на восточно-южных берегах Варяжского моря, имели сообщение с варягами скандинавскими через море, и для того князья их и знатные люди нередко женились у скандинавов и в угождение своим супругам давали детям нередко имена скандинавские»[121].

В своеобразное препятствие превращался для Ломоносова и весь устаревший к его времени арсенал предшествующей русской историографии. Иногда он им пользуется, ссылаясь, к примеру для

---

[119] Там же, с. 214.
[120] Там же, с. 171.
[121] Там же, с. 31.

доказательства славянской принадлежности Рюрика, на Синопсис, где сказано, что варяги «языка славенска бяху». Ломоносов резко критикует Байера и Миллера за то, что они отрицают посещение апостолом Андреем Киева, доказывает, что «Лех и Чех державствовали над многочисленным славянским народом». Он сомневался в существовании Кия, Щека и Хорива, но в большинстве случаев останавливался в нерешительности перед устаревшими аргументами; ученый не верил в их убедительность, хотя это были традиционные истины, иногда освященные церковью. Отсюда та осторожность, с какой Ломоносов прибегает к старой историографической традиции. «Мосоха, внука Ноева, прародителем славенского народа ни положить, ни отрещи не нахожу основания. Для того оставляю всякому на волю собственное мнение, опасаясь, дабы священного писания не употребить во лжесвидетельство, к чему и светских писателей приводить не намерен»[122], — вынужден заявить Ломоносов.

Столь же неопределенна его позиция и по отношению к другой легенде русской историографии: «О грамоте, данной от Александра Великого славенскому народу, повествование хотя невероятно кажется и нам к особливой похвале служить не может, однако здесь об ней тем упоминаю, которые не знают, что, кроме наших новогородцев, и чехи оною похваляются»[123]. Это же наблюдается и по отношению к мифу о происхождении Рюрика от Августа. Ломоносов полагает, что «многие римляне преселились к россам на варяжские береги. Из них, по великой вероятности, были сродники коего-нибудь римского кесаря, которые все общим именем Августы, сиречь величественные или самодержцы, назывались. Таким образом, Рюрик мог быть коего-нибудь Августа, сиречь римского императора, сродник. Вероятности отрещись не могу; достоверности не вижу»[124].

Вопрос о названии «Русь» для Ломоносова решался сам собою: название это принесли с собою варяги-россы, или «Русь» (с точки зрения норманистов, его принесли варяги-скандинавы, тоже именовавшиеся Русью). Сложная проблема происхождения слова «Русь» не была решена не только при жизни Ломоносова, но и в последующее время, хотя имеет огромную библиографию. Не получила эта проблема единодушного решения и в весьма обширной советской историографии, посвященной ей[125]. Виной этой разноголосицы является сам первоисточник — летопись, которая дает повод к различным толкованиям; из летописных данных можно сделать вывод, что была Русь северная и была Русь южная. Это крайне осложнило вопрос, но, может быть, в этом направлении и лежит его разгадка. Этим путем шел Б. Д. Греков.

Решение проблемы этнического происхождения Рюрика определило для Ломоносова и его отношение к характеру прихода варягов-россов на Русь: то было мирное, добровольное призвание

[122] Там же, с. 180.
[123] Там же, с. 189.
[124] Там же, с. 216.
[125] См.: *Греков Б. Д.* Избранные труды, т. 2, с. 355—358.

новгородцами себе князей. Свое понимание этой проблемы он выразил в известном положении о том, что «российским слушателям будет весьма досадно и огорчительно, когда услышат, что народов, одним именем с ним называемых, скандинавы бьют, грабят, огнем и мечом разоряют, победоносным оружием благополучно побеждают»[126]. Подобную позицию Ломоносова можно легко понять, ибо существо норманнской теории оскорбляло честь и достоинство русского народа, поскольку норманисты отрицали самостоятельную российскую государственность и считали ее привнесенной извне. От этого необходимо, однако, отличать ту сторону проблемы, которая согласуется с исторической действительностью: насильственное вторжение норманнов вовсе не значило, что они стали создателями русского государства. Об этом уже говорилось в очерке о Шлецере.

Важное место в концепции Ломоносова занимал вопрос о международном значении русского государства. Не один раз упрекает он «внешних писателей», недооценивавших историческую роль русского народа и его государства. Не раз он сравнивает историю римского и русского государств. Особое внимание обращает ученый на международные связи России в период единства Киевской Руси. Излагая события, связанные с введением христианства на Руси при Владимире, Ломоносов пишет, что окружающие государства «друг перед другом старались преклонить сего великого государя каждый в свою веру, кроме ея размножения, еще для приобретения с великою российскою державою выгодного союза и крепкой дружбы»[127]. Оценивая княжение Владимира, Ломоносов придает большое значение и международному престижу Руси: «В союзе и в любви пребывал с соседними державами, с Болеславом польским, Стефаном венгерским и с Генрихом Чешским».

Еще больше поднялся престиж Руси при Ярославе: «Знатные союзы, Ярославом утвержденные, купно с военными делами, соседам страшными, возвели Россию к великой знатности и славе. Генрик Первый, король французский, от супружества с Анной, княжною Ярославлею, родил три сына, Филиппа, Гугона и Роберта. Старший наследовал по отце королевство и произвел многое потомство. Со шведами от начала княжения Владимира Великого безпрерывный мир и во все владение Ярослава содержался, к чему брачные союзы много спомоществовали. Супружеством Ярослав сопряжен был с королевною шведскою Ингигердою, дочерью Олавовою, Елисавета, княжна Ярославля, была за братом короля Олава святого за Гаралдом, который ходил в Царьград прежде своего владения, в службу царей греческих и приобретенное там богатство сохранял в Новгороде у Ярослава»[128].

Таково участие Ломоносова в борьбе с норманизмом, таково его решение проблемы славянства и происхождения русского государства. Слабые стороны его исторических построений являются частностями, они не составляют существа его взглядов. Заслуга же

---

[126] *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч., т. 6, с. 40.
[127] Там же, с. 258—259.
[128] Там же, с. 285.

Ломоносова состоит в том, что, в противовес норманизму, он воссоздал грандиозную и верную в своих основных частях картину древнейшей славянской истории, которая засвидетельствовала самобытный путь исторического развития славян, начавшийся за тысячу лет до появления Рюрика, показала важное место, которое занимали славяне в мировом историческом процессе.

* * *

Однако этим не ограничиваются заслуги гениального русского ученого в области всеобщей истории. Он первый в русской историографии сформулировал проблему перехода от древней истории к средним векам. Рубежом между ними является падение Римской империи — катастрофическое событие, в основе которого лежит завоевание Римского государства германскими и славянскими племенами и внутренний переворот в Риме, совершенный Одоакром. Решающее значение в датировке падения Римской империи Ломоносов придавал событиям, связанным с этим переворотом: «Одоацер. . . Августула кесаря со владения свергнул и его падением Римская империя разрушилась» [129].

Согласно Ломоносову, завоеватели-германцы представляли собою смешанные племена, среди которых большую роль играли славяне. Для Ломоносова «нет сомнения, что в войнах готских, вандальских и лонгобардских великое сообщество и участие геройских дел приписывать должно славянам. Показывает помянутый Прокопий соединение их с лонгобардами, гепедами и готами ради Ильдизга, королевича лонгобардского. От великого множества славян, бывших с протчими северными народами в походах к Риму и Царюграду, произошло, что некоторые писатели готов, вандалов и лонгобардов за славян почитают, хотя они действительно германского были племени» [130].

Следует подчеркнуть, что вся последующая буржуазная историография XIX и, особенно XX в. не только не прибавила чего-либо принципиально нового к этой картине гибели Римской империи, но, как правило, шла назад. Это отступление происходило по двум основным направлениям. С одной стороны, по линии отрицания катастрофического характера перехода от античности к средним векам: пытались доказать, что между древним миром и средними веками нет никакого разрыва не только в форме социального переворота, но и в форме завоевания. Эта реакционная концепция разрабатывалась так называемой романистической школой, наиболее крупным представителем которой был Фюстель де Куланж. С другой стороны, такая фальсификация состояла в утверждении, будто разрушителями Римской империи были исключительно германцы, которые якобы благодаря своим расовым особенностям «омолодили» Европу. Подобная точка зрения была присуща по преимуществу

---

[129] Там же, с. 213.
[130] Там же, с. 194.

германской шовинистической историографии XIX—XX вв.; немецко-фашистской историографией этот расизм был не только доведен до чудовищных размеров, но и превращен в кровавую практику истребления целых народов. Как известно, и романистическое, и германистическое реакционные направления были впоследствии объединены исторической теорией А. Допша. Это совершенно закономерное явление, ибо приверженцы каждого из двух направлений ставили перед собой общую задачу борьбы с марксизмом-ленинизмом, общими усилиями пытались «доказать», что история якобы не знает никаких социальных скачков. Ломоносов, таким образом, по своим методологическим представлениям по этому важнейшему вопросу античной и средневековой истории, несомненно, стоял выше позднейших буржуазных историографов, притом он уделял пристальное внимание изучению фактов всеобщей истории.

* * *

Свои выводы Ломоносов строил на основе разработки большого круга источников. Из современных ему русских историков он был крупнейшим знатоком источников по всеобщей истории, их изучению посвятил много лет упорного труда.

В работе над источниками и Ломоносов порой отдавал дань времени — некритически относился к их отдельным показаниям, опирался на доводы от священного писания, упоминал о чудесах и т. д. Гораздо важнее, однако, другое: в огромной массе случаев Ломоносов показал образцы передовой для своего времени интерпретации исторических документов. Лишь за теми свидетельствами источников он признавал «неодолимую вероятность», достоверность которых можно было с очевидностью доказать. С этой точки зрения Ломоносов, в частности, решает вопрос об отношении исследователя к «баснословному» периоду в жизни каждого народа. Тем самым решался один из крупных вопросов исторической критики. Во-первых, сравнение истории различных народов убеждало Ломоносова в том, что «баснословный» период в жизни каждого народа — закономерное явление. Во-вторых, Ломоносов правильно определил отношение исследователя к этому периоду: «. . .в наших летописях не без вымыслов меж правдою, как то у всех древних народов история сперва баснословна; однако правды с баснями вместе выбрасывать не должно, утверждаясь только на одних догадках»[131].

Этой достоверности Ломоносов добивался всеми средствами, которые могла ему предоставить тогдашняя наука. Для решения того или иного вопроса он, как правило, привлекал сведения возможно большего числа древних писателей. Не довольствуясь этим, ученый старался дополнить их данными лингвистики и топонимики. Так поступает он, доказывая, например, славянское происхождение слова «Русь». Опровергая тезис Миллера о якобы позднем появлении славян на их теперешних территориях, Ломоносов пишет, что против Миллера «показывают славенские имена старинных городов

[131] Там же, с. 20.

российских, так что ежели славяне пришли в здешние земли в 4 веке, то оные города должны были иметь славенские имена прежде приходу славян в оные места, что отнюдь быть не может. Что славянский народ был в нынешних российских пределах еще прежде рождества Христова, то неоспоримо доказать можно» [132].

В качестве непременного условия научной работы в области истории Ломоносов требовал обстоятельного знакомства с источниками и добросовестного отношения к ним; тенденциозное использование источника и литературы не может иметь ничего общего с наукой. Все возражения Ломоносова Миллеру основывались именно на этих требованиях. Миллер, писал Ломоносов, «весьма немного читал российских летописей, и для того напрасно жалуется, будто бы в России скудно было известиями о древних приключениях» [133]. Вся диссертация Миллера «основана на вымысле и на ложно приведенном во свидетельство от господина Миллера Нестеровом тексте». Все свои выводы Миллер строит исключительно на данных иностранных авторов; эти данные он использует также «весьма непостоянным и важному историографу непристойным образом, ибо, где они противны его мнениям, засвидетельствует их недостоверными, а где на его сторону клонятся, тут употребляет их за достоверных» [134].

Ломоносов требовал также, чтобы историк не был лишь коллекционером фактов; исторические события должны излагаться в связи друг с другом как части общего исторического процесса. Историческая книга должна быть «всякому читателю новостию и справедливостию своею полезна». Пример тому — книги самого Ломоносова.

В. К. Тредиаковский

Василий Кириллович Тредиаковский (1703—1768) был непосредственным участником споров об отношениях России и Запада, свидетелем столкновения Ломоносова и Миллера. Ярый противник и неутомимый оппонент Ломоносова в области филологии, он старался сохранить нейтралитет в дискуссии Ломоносов—Миллер, но в действительности был убежденным антинорманистом. Однако в представлениях последующих поколений просвещенных читателей Тредиаковский являлся тем антинорманистом, от которого было больше вреда. Документом, засвидетельствовавшим это, стали созданные самим Тредиаковским «Три рассуждения о трех главнейших древностях Российских».

Тредиаковский находился еще во власти чисто библейских представлений. «Святое писание» и творения «церковных отцов» в его глазах — «первейшее, непоколебимое основание». В век Просвещения этим уже нельзя было ограничиваться. Тредиаковский вспоми-

[132] Там же, с. 21—22.
[133] Там же, с. 20.
[134] Там же.

ает слова Ролленя (книгу которого «Древняя история» он перевел на русский язык) о том, что по проблемам истории Священное писание «оставляет нас в глубокой нощи», а поэтому история «может взята быть из языческих писателей». К этому он прибавляет и «знатных новейших авторов», выступая во всеоружии современной ему науки. Даже у читателя советской поры не остается сомнений в эрудиции русского академика XVIII в. Тредиаковский смотрит на мир взглядом филолога, но под это филологическое ви́дение мира старается подвести исторический фундамент.

Однако читателя наших дней поражает употребление, которое нашел Тредиаковский своим обширным познаниям. На поле сражения с противниками он выводит целые легионы античных и современных писателей, которых в той или иной мере, безусловно, знал; он производит с ними сложные маневры, перестраивает их по начерченным его рукой линиям, заставляет брать намеченные им рубежи, но итоги всех этих операций оказываются совсем неожиданными, и такими они выступали даже для людей XVIII в. Главная победа, которую Тредиаковский хочет одержать, состоит в обосновании тезиса: древние скифы — пранарод, родоначальник всех народов Европы[135].

Стратегический замысел подобной концепции состоял в том, чтобы доказать, что скифы — «словенский народ», а поэтому славянский язык как язык-отец оказал влияние на все языки Европы. Отсюда вытекало знаменитое «словопроизводство» Тредиаковского, ставшее хрестоматийным курьезом в истории нашей литературы. Название самих скифов Тредиаковский производил от слова скитание, иберы — от уперы (упертые в море), Германия — от Холмания, Пруссия — от Поруссия, Саксония — от Сажония, этруски — от хитрушки, Сицилия — от Сечелия (отсечена от Италии) и т. д. Так фантазия филолога «гуляла» из конца в конец по всей Европе, отыскивая первородство славянского пранарода и его языка.

Однако это были лишь дальние подступы к главной проблеме: если скифы занимали главенствующее место в древности, то теперь это место принадлежит их потомкам — русскому народу. Второе рассуждение Тредиаковского называется поэтому «О первоначалии россов». Острие своего исследования автор направлял против самой сути норманнской теории: «Что за повсюдное Байерово тщание, приставшее от него, как прилипчивое, нечто к некоторым его ж языка здесь академикам, чтоб нам быть или шведами, или норвежцами, или датчанами, или германцами, или готами, только б не быть россианами, собственно так называемыми ныне?»[136]

Доказать «первоначалие» россов означало прежде всего доказать автохтонность славян в приднепровских равнинах, твердо установить тот факт, что славяне появились здесь гораздо раньше «рокового» IX века. Именно вокруг этого века и гремели бои — Байер первый стал доказывать, что до IX в. название руссов не было ведомо на

[135] *Тредиаковский В. К.* Сочинения. СПб., 1849, т. 3, с. 333.
[136] Там же, с. 417.

этой территории и что оно, следовательно, пришло с варягами, а значит, варяги и составляли главный элемент при создании русского государства. В доказательстве древности русского народа Тредиаковский пошел путем, проторенным Ломоносовым, — он «ухватился» за роксолан, образовавших главное звено в длинной и запутанной цепи его построений. Издревле обитавшие в Новгородской земле славяне соединились с другими славянскими племенами роксолан, создав сплошной славянский массив от Балтийского до Черного моря. Уже на рубеже нашей эры славяне были настолько сильны, что сами оказывали влияние на соседей, а порой и покоряли их.

Если отбросить некоторые преувеличения и неточности, имеющиеся в рассуждениях Тредиаковского, то во всей его конструкции есть историческое зерно, признаваемое современной наукой, — представление об участии роксолан в формировании русского народа, об автохтонности славян в Приднепровье, о славянских государствах. Все это, однако, сочеталось у Тредиаковского с некритическим отношением к источникам, особенно к традиционной русской историографии. Помимо античных, средневековых и современных зарубежных авторов, он старается опереться на Синопсис, Степенную книгу, Хронограф и их источники, принимая те и другие вместе с содержавшимся в них баснословным элементом. Родоначальником русского народа вновь оказывается Мосох — «седьмой сын Иафета», Киев основывается Кием и т. д. Кроме того, Тредиаковский постоянно грешит своими лингвистическими увлечениями.

Решив столь категорично вопрос о распространенности славянского языка и самих славян, Тредиаковский, по сути, предрешил «отгадку» центральной проблемы — вопроса о призвании варягов. Ученый считал, что трактовка варяжского вопроса Байером и его последователями «предосудительна»[137]. Этот вопрос оказывался тем более важным для автора, что с ним были связаны «слава и величество всероссийских самодержцев, начало свое производящих от первоверховных наших государей, варягами тогда именованных»[138]. Поэтому нам давно уже пора «препоясаться силами» и отыскать наконец истину.

Истину эту автор ищет весьма прямолинейно. Рюрик и его братья, пришедшие из варягов, «имели название сие славенское, род их был славенский и вещали они языком всеконечно славенским»[139]. Но кто же были варяги? Они не были норманнами, ибо слово варяги означало совсем иное: «Варяг есть имя глагольное, происходящее от славенского глагола варяю, значащего предваряю», а это относилось не только к норманнам, но и к вельтам и к сарматам[140]. Это значит, что призванные варяги «суть не что иное, как токмо предварители на те места, на коих они обитали», т. е. они были первыми поселенцами в той земле.

[137] Там же, с. 479.
[138] Там же, с. 481.
[139] Там же.
[140] Там же, с. 488.

Из каких мест они пришли? Варяги жили на берегах Балтийского моря, что касается Рюрика и его братьев, то они прибыли с территорий померанских ругиев. Именно ругии — «точно суть варяги, от которых призваны великие князи государствовать в Новгородскую державу»[141]. Но этот взгляд противоречил данным Синопсиса, согласно которому Рюрик «приидоша от немец». Тредиаковский обходит это обстоятельство, толкуя текст в том смысле, что немцы там жили во времена, когда писался Синопсис, но где прежде «пребывали варяги-руссы, люди словенского рода и языка». В доказательствах, что призванные были славянами, Тредиаковский приводит такое соображение: иначе князья не смогли бы управлять подданными, а главное, будь призванные князья чужеземцами, язык новгородцев подвергся бы влиянию языка пришельцев, как это случилось с латинским языком при нашествии варваров, с испанским языком — при арабском завоевании или с греческим — при завоевании турецком.

А как появилось наименование «Русь?» Летопись и Степенная книга утверждают, что Новгородская земля стала называться Русью только после прихода варягов. Автор противопоставляет этому свидетельство Синопсиса о том, что такое наименование у новгородцев было задолго до прихода варягов, так как «россы суть издревле россы по праотцу Росс-Мосоху». Это имя новгородцев лишь совпало с именем призванных и новгородцы «паки стали именоваться россами, древним именем собственно, казавшимся тогда новым»[142].

Тредиаковский при этом высказывает верное соображение: славяне той поры «имели у себя издревле царей», т. е. у славян уже было свое государство. Но и эта верная мысль ослаблена преувеличением: Тредиаковский доказывает, будто слово царь у славян «изъявляет достоинство верховнейшего величествия и есть равно греческому басилевс, латинскому императору в нынешнем августейшем знаменовании с монархических времен в Риме»[143]. Утверждая это, Тредиаковский, несомненно, оглядывался на августейшую императрицу современной ему России.

Ф. А. Эмин

Одним из противников норманнской теории был Федор Александрович Эмин (ок. 1735—1770). В дореволюционную русскую историографию он вошел как ритор, случайно забредший в историческую науку, который «берет бог знает какие источники, бог знает какие списки летописей и начинает витийствовать, сочиняя факты и речи действующих лиц, не щадя никаких средств для достижения своей цели, т. е. для украшения рассказа»[144]. С точки зрения источниковедческой, это действительно так, но в историографическом плане

[141] Там же, с. 495.
[142] Там же, с. 538.
[143] Там же, с. 507.
[144] *Соловьев С. М.* Собр. соч. СПб.: Изд. Т-ва «Общественная польза», Б. г., стб. 1381.

Эмин — далеко не курьез, он занял определенное место в развитии русской исторической мысли.

Немало скитавшийся по свету, он нашел в России свою родину и яро защищал ее интересы как историк. К этому труду он был достаточно подготовлен: знал не только русские сочинения по истории, но был начитан в иностранной исторической литературе, без знания которой уже не мыслился тогда историк России. «Усердие мое к отечеству и случайное знание нескольких языков много мне вспомоществуют в моем пути»[145], — писал Эмин. Некоторые упрекали его за незнание греческого языка, на что он вполне резонно отвечал, что «нет почти такой греческой напечатанной и до благосостояния и просвещения общественного касающейся книги, которая бы на латинский язык переведена не была»[146].

Во времена Эмина утвердилась мысль, что составление исторических трудов является делом Академии наук; все, что находилось вне пределов этой цеховой науки, считалось чем-то второсортным, плодом творчества самоучек. Эмин решительно отвергал мысль о том, что историческая наука должна стать монополией академических специалистов, ибо «всякому усердному человеку не только вольно, но и должно трудиться в сочинениях, обществу полезных. . . дело зависит от человека и успеха, а не от места». Эмин говорил о себе очень скромно, но имел полное основание заметить, что может иметь и некоторые преимущества перед другими авторами: «Им толь верные записки, какими я обогащен, может статься, в руки не попали. Столько же им трудиться, как мне, может быть, время не дозволило. Многим языкам, которые я знаю и на которых много есть книг о России упоминающих, они обучиться случая не имели»[147].

* * *

Над воззрениями Эмина на историческую науку тяготеет традиционное представление: историография, с его точки зрения, это свод правил, «из которых произойти может прямое наставление — чему следовать и чего убегать должно». Отсюда — *общественная* обязанность историка: он должен быть наставником общества, «уведомлять оное своим описанием о том, что к пользе целого общества касается. Добродетели, которым должно следовать, а пороки, от которых обществу было или быть бы могло разорение, неотменно ему должно описывать ясно и поучительно»[148]. Речь идет именно об общественных добродетелях и пороках, что же касается личных человеческих слабостей, то это дело сатирика.

Современные государства «подобны искусно заведенным часам, составленным из многих пружин и тончайших частиц, одна другой соответствующих, от исправности которых благосостояние целого корпуса зависит». Это благосостояние не может быть достигнуто без знания истории. Поэтому государства «не только тщатся иметь

[145] *Эмин Ф.* Российская история. . ., т. 1, с. XXVI.
[146] Там же, с. XLV.
[147] Там же, с. LI.
[148] Там же, с. XXXVIII.

исправную своего отечества историю, но и чужие, переведши на свой язык, заставляют искусных и трудолюбивых мужей общую из оных составить систему»[149]. Положение о том, что история отечественная и история зарубежная составляют «общую систему», у Эмина является одним из главных.

Однако, помимо обязанностей общественных, у историка немало обязанностей научных. Они начинаются с работы над источниками. Собрав «множественность» исторических документов, надо их тщательно сличить, «праведные повествования отделить от неосновательных; а что и за правду почтется, не полагаясь на том, всему доискиваться подтверждения у чужестранных авторов; каждого историка счислять летописание, несогласия их уравнивать, находить оных причины и из оных выводить истину. Писателей разбирать свойства, время, в которое они писали, и многие иные тончайшие наблюдать околичности есть дело долгого времени, великого труда, постоянства и великой к собиранию истории склонности требующие»[150].

Говоря о том или ином событии, историк должен его «описывать обстоятельно, находить оного причины и изъяснять следствия. . . В противном случае он будет подобен живописцу, черты какого-нибудь верно собравшему, но соединить и оных привести в согласие неумеющему»[151]. При этом на историка могут влиять привходящие обстоятельства.

Так, изучая тех или иных авторов, нужно обратить внимание, «было ли их отечество с нашим в согласии, ибо во время войны народ противу неприятеля ненавистью обыкновенно бывает заражен. Тогда автор, сколько бы, впрочем, справедлив ни был, будет пристрастен в описании действий своего отечества и всегда пером своим оное предпочтет пред другим»[152].

Однако, сколько ни вырабатывай правил составления истории, все равно историка подстерегают бесчисленные препятствия и опасности. Его путь слишком сложен, перед ним слишком много событий, из которых нужно выбрать главное, не пропустив ничего существенного, слишком много линий, которые нужно проследить, и т. д. Еще «ни один из неисчисленных почти авторов, о принадлежностях истории писавших, не мог показать прямого пути, которым бы историографу свободно до желанного места достичь было можно. . .» Можно ли на него негодовать, если он «на толь многих дорогах, стезях и малейших тропинках чего-нибудь такого не приметит, что́ ему мелкою вещию. . . показалось, а в самом деле лучшего его внимания было достойно? Такое-то есть путешествие каждого историка»[153].

Дело, однако ж, далеко не безнадежно. Историческая наука постоянно совершенствуется: автор уподобляет ее золотоносной руде — можно удалить породу и останется сияющее золото: нужно

---

[149] Там же, с. V—VI.
[150] Там же, с. XI.
[151] Там же, с. LI.
[152] Там же, с. XXIV—XXV.
[153] Там же, с. XXVII—XXVIII.

очистить исторические источники от баснословия и всего наносного и тогда останется правдивая история. Это очищение идет при помощи исторической критики: «Критики не бояться, но желать оной должно... критик и писатель должны бы быть великие друзья; но если часто случается, что они один другого ненавидят, то, по крайней мере, дела их одно другому могут сделать великие благодеяния и обществу пользу»[154]. К тому же если что-нибудь подвергается критике, то это еще не всегда означает, что оно плохое. В этой связи стоит вспомнить слова Сократа: если что-нибудь не вызывает критики, то значит оно не стоит критики. Примером совершенствования исторической науки Эмин называет Францию: с самого появления Франции на свет уже стали писать ее историю, «оную и поныне всегда дополняют. Разумные критики с часу на час больше оную расчищают; на несходства делают примечания, и дела сомнительные, разобрав рассуждением, решительно определяют... Таким образом, история всегда приходит в совершенство, и прочищающие оную от разных несходств, истину затмевающих, не только тем не делают ни малейшего ущерба чести прежних писателей, но еще приносят им славу»[155].

Как же должна строиться историческая критика? Она должна быть строгой: «кривых мыслей не должно оставлять без опровержения оных, ибо если каждую ошибку пропустить великодушно, то история, наконец, такими будет обличена неправдами, что после и оправдать ее будет трудно». В то же время эта критика должна быть обоснованной: «Чужие мнения опровергать, последуя одним только рвениям пристрастных мыслей, бесчестно есть и совестно»[156]. Строя свою критику, историк должен иметь в виду два ряда идей. Ему «необходимо потребно вникать в политические дела, однако ж должно ему быть и философу». Философия его должна быть связана с обществом и направлена на пользу общества, ибо иначе историк превратится в нового Диогена — «сей философ меньше всех был добродетелен и полезен обществу. Добродетель состоит в том, чтобы делать людям добро. Но Диоген жил почти в лесу и с людьми никакого не имел общения. Пользы от него больше имели звери, которых он оставшейся от него пищей кармливал, нежели люди, которых общества он бегал»[157].

Именно отсюда вытекали, по Эмину, общественные обязанности историка, о чем шла речь выше, а наиболее удобным средством для выражения общественных мыслей историка он считал использование такого авторского приема, как речи действующих лиц повествования. Такой прием, известный еще со времен Фукидида, Эмин считает полезным потому, что он позволяет «научить тех, кои довольного просвещения не имеют. Когда ж бы только просто без всяких поучительных рассуждений исторические действия были описаны, то многие, если бы им в подобные обстоятельства впасть случалось, не знали бы, как себе или другому помочь и от оных или освободиться,

---

154 Там же, с. XXXII.
155 Там же, с. XXXII—XXXIII.
156 Там же, с. XXXVII.
157 Там же, с. XXXVIII.

когда они вредны, или оным следовать, когда полезны»[158]. Историческая достоверность приводимой речи не имеет решающего значения; если исторический персонаж «оной не говорил, то, по малой мере, должен был говорить что-нибудь тому подобное». Важнее этого поучительная сторона дела.

* * *

Таковы были историографические позиции Эмина, ставившего своей задачей написать историю России. Собирая русские исторические источники, он решил следовать правилу Шлецера: собрать как можно больше списков летописей. Ученый собрал 12 таких списков, но когда стал их сличать, то «с крайним моим удивлением, я нашел в них великое согласие». Оказалось, что все они «почти списаны с Нестора, и если что в них прибавлено, то до Российской истории не столько, сколько до чужестранной принадлежит»[159]. Это было чрезвычайно интересное наблюдение, оно в гораздо большей степени, чем взгляд Шлецера, продвигало вперед представление о русских летописях. Если Шлецер полагал, что летописные списки были всего лишь испорченными копиями труда Нестора, то Эмин рассматривал летописи как произведения разных авторов, на которых Нестор оказал свое влияние. Опыт последующей науки доказал, что это мнение было ближе к истине.

Сделанное наблюдение заставило Эмина задуматься над причиной однообразия в содержании русских летописей. Подобного единообразия не было в западных хрониках. Эмин пришел к выводу, что разница эта коренится в неодинаковости самих исторических условий на Западе и на Руси. В Западной Европе получила развитие историческая критика; там, «если кто сочинит историю, то наследник его. . . читает издание историческое своего предка глазами чрезмерно критическими» и если находит ошибку, то, «привязавшись к оной, пишет целый том». При таком положении дела однообразие исторических сочинений становится немыслимым. «Сие происходит от вольности в писании и от самолюбия человека ученого, который не погрешности других исправляет, но себя свету человеком ученым показать желает».

Иначе сложились дела на Руси. Русские летописцы «взросли в такой земле, где ничего в древние времена без воли государей ни сделать, ни написать было не можно. Многие из них препровели жизнь свою в монастырях, где. . . о делах общественных вольно рассуждать не смели. Притом Нестор, первый летописец российский, после смерти в число святых включен. Тогда уже и помыслить о том наши летописцы боялись, чтобы Нестор мог ошибиться»[160]. Это налагает на историка России обязанность не ограничиваться русскими летописями, а опираться и на иностранные источники и сочи-

---

[158] Там же, с. L.
[159] Там же, с. XXXV.
[160] Там же, с. XXXVI.

нения. «Известно, что история для того сочиняется, чтобы и другие государства могли иметь точное понятие о древнем и нынешнем состоянии нашего отечества. . . Когда же нашу историю чужестранные государства, прочетши на своем языке, найдут оную основанную на одних только наших летописцев мнениях, и то часто с правдою несходных, то почтут оную за пространную баснь, от нашего самолюбия либо от невежества происшедшую» [161].

Таково отношение Эмина к летописям — главному источнику средневековой русской истории, вокруг которого шли тогда столь жаркие споры. Еще большее внимание Эмина привлекла, однако, литература. Русских книг по древнему периоду русской истории было тогда немного, и Эмин их хорошо знал. Он ставил чрезвычайно высоко исторические труды М. В. Ломоносова: «Описание г. Ломоносова о древности славянского, от которого мы происходим, народа довольно пространно и доказательно, так что не много к оному прибавить можно, и я сказать отважусь, что г. Ломоносов лучше и основательнее описал нашу древность, чем многие чужестранные историки, начала своих происхождений означавшие» [162].

Что касается труда В. Н. Татищева, то его наиболее ценной частью Эмин считал «Предъизвещение», ибо «история им писанная, та же, что и в Несторе, разве несколько из оной потребных вещей пропущено. Правда, что труд сего мужа вечной похвалы достоин» [163]. Эмин был в числе первых, кто высказал мысль о том, что «Российская история» Татищева — это во многом простой перепев «Повести временных лет». Этот тезис нашел свое развитие в дальнейшей буржуазно-дворянской историографии [164]. Кроме того, наторевший в чтении иностранных книг, Эмин довольно пространно рассказывает о промахах Татищева в зарубежной истории. Однако сама антинорманнская концепция Татищева вызывала восторженную похвалу Эмина.

Зато норманнская теория встретила его резкие возражения. Они были направлены почти исключительно против ее основоположника в России — Байера. «Сей ученый человек многих людей заразил мысли неправедными своими диссертациями, доказывая. . . что Россия не только с своего начала, но и по двенадцатый почти век не могла иметь своих князей и что Владимир и Святослав были чужестранцы» [165]. Эмин направляет свои удары против «святая святых» Байера — против его учености. На нее Эмин смотрит весьма скептически. «Профессор Беер, сколько я приметить мог, старался в своих сочинениях больше показать свою ученость, нежели знание российской истории. О чем он не писал? Во что он не мешался?» [166]

---

[161] Там же, с. XXXVI—XXXVII.
[162] Там же, примеч., с. 5—6.
[163] Там же, с. XIII.
[164] См.: *Милюков П. Н.* Главные течения русской исторической мысли. 3-е изд. СПб., 1913, с. 92—93.
[165] *Эмин Ф.* Российская история. . , т. 1, с. XXXIX.
[166] Там же, с. XLIII.

В действительности же он не знал не только русского языка, но и русской истории; немногим лучше знал и область, в которой считал себя специалистом, — востоковедение. «Что ж касается до знания восточных языков, то профессор Беер приобрел оное из лексикона Мининского, который частым перепечатыванием весьма испорчен, и профессор Беер, научась читать турецкие и арабские книги, турецкие слова выбирал из упомянутого лексикона, но настоящего оных употребления и правильного их произношения не знал, отчего великие в его на арабском и на турецком языке ссылках находятся ошибки»[167]. И бывший мусульманин и подданный турецкого султана, Эмин перечисляет ошибки Байера в турецком языке.

Байеру он противопоставляет целую плеяду зарубежных авторов, в том числе и писавших по-немецки. Первое место среди них занимает Герберштейн, сам бывавший в России. Далее идет длинный ряд других западных писателей, говоривших о славянском происхождении Рюрика и его братьев; в этом ряду выступают среди других такие видные исторические писатели средневековья, как Адам Бременский, Гельмольд, Титмар Мерзебургский, Кромер, Луитпранд, а также Гильдесгеймская, Кведлинбургская и Силезская летописи.

К этому автор присовокупляет от себя соображение, обращенное к Байеру: нельзя рассматривать Запад как своего рода поставщика всяких родоначальников и основателей государств для других частей света. В частности, некоторые западные народы могли бы вспомнить своих праотцов, пришедших с территорий, входящих сейчас в состав России. «Искусным знателям древности известно, что из Малой России вышедшие готы основали в Италии, Ишпании и во Франции великие государства, а от Волги, Яика и Камы вышедшие народы, а именно — угры и гунны, которые в начале шестого века... во время тогда великого преселения народов потрясли Европу, сделались причиной ее нынешнего состояния»[168].

Не пощадил Эмин и кумира последующей русской буржуазно-дворянской историографии Шлецера. Свою периодизацию русской истории — рождающаяся, разделенная, утесненная, победоносная и процветающая Россия — Шлецер заимствовал у католических историков христианства, где такая периодизация была традиционной. *Рождающееся* христианство — ранний период христианской религии, *утесненное* христианство — период гонений в Римской империи, *победоносное* христианство начинается с Константина, когда религия христиан становится государственной, *разделенное* христианство — время после разделения на католическую и православную церковь и, наконец, христианство *процветающее* берет свое начало с папы Григория XIV, который считался столпом богословия. Роль Шлецера состояла лишь в том, что он поменял местами некоторые периоды применительно к России.

Однако, критикуя со знанием дела норманистов, Эмин высказывал взгляды, в которых имелась и слабая сторона, она состояла

---

[167] Там же, с. XLIV.
[168] Там же, с. XLII.

в том, что норманнской теории он противопоставлял уже старевшую традицию русской историографии, сложившуюся в предшествующий период. Выше говорилось о том, что Эмин отстаивал идею славянского происхождения Рюрика. Более того, критикуя Татищева за ошибки в западной истории, он заодно критикует его и за то, что тот отходит от старинной традиции, отрицая историчность Мосоха. Он ведет происхождение Рюрика от Августа, считая, что мысль его противников «больше дерзка, нежели критическая». Он склонен считать, что Киев основан Кием, а апостол Андрей непременно был в Киеве. Вместе с тем Эмин, по примеру Ломоносова, не решался защищать старую точку зрения до конца. Он счел нужным сделать недвусмысленную оговорку по этому поводу: «. . .точно ли Оскольд от Кия, а Рюрик от Августа происходят, того я за подлинно не утверждаю. Древность всегда многим сомнениям подвержена быть может. И для того я оную описывал неопределенно и весьма кратко». И только начиная с Рюрика все утверждения его трехтомной «Российской истории» «на истине основаны и многими верными авторами подкреплены, так что никакого не заслуживают сомнения» [169].

«Российская история» Эмина — книга автора, который использовал сведения о славянах, добытые у многих западных авторов. Первыми в этом ряду стоят античные историки. И нужно признать, что Эмин достаточно свободно ориентировался в западной исторической литературе и подчас весьма критически относился к установившимся здесь традициям. Он не обольщался даже «князем всех историков» Титом Ливием. Для него «величественная и в истории весьма приятная Саллюстиева краткость драгоценнее той Ливиевой пространной плодовитости, которая в иных местах и скучна. Саллюстий читателей своих кормит пищею, а Тит Ливий конфектами. Каждый по своему вкусу рассуждать волен, что лучше и нужнее, пища ли, и притом весьма хорошая, или конфекты» [170].

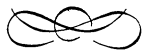
Показания русских авторов он сличал «с повествованиями чужестранных историков, писавших о делах славянских. По большей части употреблял я Гельмольда, яко писателя, Нестору почти современного, Саксона Грамматика, Адама Бременского, Валовского, Вишневецкого, Куяловича, Махозского, Лиутпранда, Пастория Гиртембского, Гвагнина, Прокопия Кесарийского, Титмара, Зонара, Кедрина, Диодора Византийского, Ламберта, Кадлубка, Длугоша, Окольского, Сарницкого, конституции польские, силезскую; Гильдесгеймскую, Кведлинбургскую и Богемскую летописи, Герберштейна, Кромера, Солиньяка, Петра из Ревы и многих иных» [171]. Этот до скуки затянувшийся список действительно может быть пополнен «многими другими», на которых опирался Федор Эмин.

---

[169] Там же, с. XXIII.
[170] Там же, с. XXI.
[171] Там же, с. XXV—XXVI.

Глава II

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЕКА ПРОСВЕЩЕНИЯ



Общая характеристика эпохи

Семнадцатый век в Европе был по преимуществу веком «английским», поскольку передовая европейская мысль концентрировалась вокруг проблем Английской буржуазной революции. Век восемнадцатый стал веком «французским», ибо теперь исторической инициативой завладели французы. Это выразилось, во-первых, в том, что французское Просвещение сделалось тем эталоном, посредством которого определяют характер Просвещения в других странах; во-вторых, вспыхнувшая затем Великая французская революция наложила свой отпечаток на европейскую историю не только конца XVIII, но и всего XIX в.

Первая половина XVIII в. во многом отличалась от второй, которая и определила главные черты века Просвещения в том его виде, в каком он вошел в сознание последующих поколений. В Англии после бурного подъема исторической мысли, связанного с Английской революцией, наступила полоса ее отрицательного восприятия: революцию изображали как взрыв религиозного фанатизма. Нежелание ворошить революционные традиции, а равно и стремление уйти в исследование древних эпох были характерны для английской историографии всего XVIII в. (Д. Юм., У. Робертсон, Э. Гиббон). В Германии еще отсутствовала сила, способная совершить революцию, а эпоха «бури и натиска» немецкого издания и идей Просвещения XVIII в. была пока впереди. В историографии Италии первая половина века ознаменовалась выступлением Джамбаттиста Вико (1668—1744). По сравнению с историческими идеями во Франции теория Вико выглядит чрезвычайно отсталой, в чем отразилась отсталость самой Италии.

Если у французских и английских просветителей укоренилось вольнодумство, то у Вико рационализм сплетается с религиозными представлениями католической Италии. Согласно его концепции, исторический процесс идет в направлении «от бога к человеку» и проходит три последовательные стадии: божественную, героическую

и человеческую. *Божественная* стадия человеческой истории — это первобытный период, когда человек являл собою полуживотное, беззащитное перед природой, получавшее от нее и средства поддержания жизни, и духовные ценности, в частности религию — как обожествление явлений природы.

Борьба между людьми приводит к возникновению социального неравенства; с одной стороны, появляется сословие имущих и господствующих, с другой — сословие неимущих и подчиненных. Борьба угнетенных заставляет господствующее сословие создать государство. Устанавливается аристократическое правление — первая форма государства. Господство аристократии составляет, по терминологии Вико, *героическую* стадию в истории человечества. Борьба низших сословий против аристократии влечет за собой изменение аристократического строя: он оказывается вынужденным допустить к управлению и представителей угнетенных. Начинается *человеческая* стадия истории. При этом аристократия перерастает в демократию. В рамках демократии происходит борьба богатых и бедных, завершающаяся победой монархии, которая, согласно Вико, есть форма примирения враждующих сословий.

В своем развитии монархия ведет к упадку общественной и политической жизни, к распадению общественных связей — начинается попятное движение общества, его вырождение. Если предоставить общество самому себе, то этот упадок будет продолжаться до тех пор, пока народ снова не возвратится к первобытному состоянию — божественной эре, с которой начнется новый цикл развития. Эта неумолимая цикличность может быть прервана лишь в том случае, если переживающий упадок народ будет завоеван молодым, варварским народом. Тогда народ одряхлевший включается в цикл развития народа-завоевателя. В зависимости от этого кругообразного развития общества совершает свой кругооборот и культура. Древний Восток, античный мир, последующая история Западной Европы — три следовавшие друг за другом цикла.

Несмотря на всю искусственность этой схемы в целом и присутствие в ней «потустороннего» фактора — божественного начала, она содержит отдельные суждения, явившиеся предвосхищением магистральных линий развития исторической науки. Таковы мысли Вико о роли природы в происхождении первобытной религии, о борьбе между имущими и неимущими, о возникновении государства как органа власти имущего сословия и др. Таковы же некоторые его суждения о более частных проблемах истории.

Уже в первой половине XVIII в. становилось все более очевидным, что «историческая инициатива» перешла к французам. После атеистического выступления П. Бейля (XVII в.) последовало «Завещание» Ж. Мелье, отразившее всю глубину протеста народных масс против старого порядка во Франции. Назревание революции отразилось также и в собственно историографической сфере. В 20-е годы XVIII столетия развернулась полемика вокруг вопроса об истоках французской истории: идеолог дворянства граф Буленвилье в «Истории древнего правительства Франции» (1727) выдвинул теорию

о том, что Франция вышла из германского завоевания Галлии в V в. Завоеватели франки образовали класс дворянства, завоеванные галло-римляне стали их крепостными. Французское дворянство XVIII в. владеет Францией по праву своих предков-завоевателей. Против этого выступил аббат Дюбо. В «Критической истории установления французской монархии в Галлии» (1734) он доказывал, что никакого завоевания не было, что франки внедрились в Галлию мирным путем как римские союзники, а французское дворянство присвоило себе права в IX—X вв. путем узурпации. Французский народ имеет все права свергнуть узурпаторов. Так родилась германо-романская проблема, игравшая затем крупную роль в историографии Франции и Германии XVIII—XIX вв.

Тем самым началась идеологическая подготовка буржуазного переворота во Франции — именно постановкой вопроса о революции, о насильственном свержении феодального строя (причем идейным обоснованием как революции, так и контрреволюции служила апелляция к истории). Иными словами, битва исторических концепций завязалась задолго до самой революции.

В историю мировой исторической мысли французская буржуазия вписала две яркие страницы. Первая из них — это произведения эпохи Просвещения, времени назревания Французской революции XVIII в. Сочинения этого периода отражали антифеодальные устремления буржуазии в тот исторический момент, когда она готовилась к битве за власть и выдвинула целую плеяду своих идеологов (Вольтер, Монтескье, энциклопедисты, Руссо).

Но, как известно, первая битва за власть не принесла французской буржуазии окончательной победы: после Наполеона наступила Реставрация. Пришлось вновь готовиться к захвату власти, в том числе и идеологически. На этот раз дело не ограничилось выдвижением антифеодальных просветительских идей, в защиту идеализированного царства буржуазии была выдвинута аргументированная историческая концепция. Ее создателями выступили историки О. Тьерри, Ф. П. Г. Гизо, Ф.-О. М. Минье и др. В арсенал исторической науки вошла буржуазная теория классовой борьбы — вершина исторического мышления буржуазии.

Характерно, что уже в эту, лучшую, пору в истории буржуазной идеологии рядом с корифеями буржуазной мысли стояли идейные представители угнетенных классов. В свое время поднял голос глашатай крестьянской революции Жан Мелье. Современниками же этих корифеев были идеологи нарождавшегося пролетариата Мабли, Морелли, позднее Бабеф. Вслед за ними выступила когорта социалистов-утопистов. Они еще бродили в дебрях утопических конструкций, но в исторической перспективе видели гораздо дальше прославленных корифеев буржуазной мысли [1].

Просвещение XVIII в. было следующим и наиболее крупным шагом в развитии исторических идей гуманистов XVI и рациона-

---

[1] Подробнее об этом см.: *Алпатов М. А.* Политические идеи французской буржуазной историографии XIX в. М.; Л., 1949, с. 54—130.

листов XVII в. Эта преемственность охватывала все генеральные проблемы. Подобно своим предшественникам, просветители XVIII в. боролись за *человека*. Человек находился в центре всех их исторических построений. Просветители стремились вырвать его из тисков феодальных корпораций (цех, гильдия, феодальное сословие), рассматривали как индивида, равного всякому другому. Всеобщее *равенство* было необходимо для того, чтобы сломать сословные перегородки, созданные феодализмом и мешавшие буржуазному развитию. Выделение человеческой *личности* в противовес феодальному корпоративизму составляло магистральную идею буржуазного мировоззрения на протяжении веков. Просветители XVIII в. довели это противопоставление до необычной остроты.

Вокруг этой основной идеи воздвигался целый комплекс других, служивших одной и той же цели и являвшихся краеугольными камнями буржуазной исторической концепции. Во-первых, это прежняя *идея примата* человеческого разума. Тогдашние идеологи поднимавшейся буржуазии, расчищая путь историческому прогрессу, стремились светом разума осветить путь человечества, выкурить из всех закоулков истории затхлую провиденциалистскую атмосферу; вырвать историю из рук божественного произвола, доказать, что исторический процесс не нуждается в божьем руководстве, а церковь является лишь тормозом в развитии истории. Во-вторых, *идея естественного права*. Равенство людей по рождению представлялось естественным основанием равенства политического. История человечества, согласно просветителям, начиналась как история свободных и равных по своему происхождению людей. В-третьих, *теория общественного договора*: равные люди могли основать общество и государство только путем взаимной договоренности, пусть молчаливой и неписанной — идея не новая, но зазвучавшая теперь на боевой, революционный лад. Буржуазия как класс восходящий имела все основания оптимистически смотреть на исторический процесс.

Вместе с этим прогрессивным вкладом в историческую науку идеи буржуазных просветителей несли на себе печать исторической ограниченности класса, выдвинувшего их. Блестящие умы буржуазии даже в лучшую ее пору относились с величайшим презрением к народным массам. Народ, с точки зрения просветителей, невежественная, инертная масса, неспособная к самостоятельному развитию. Ее удел — пребывать в послушании и невежестве, служить орудием в руках просвещенной буржуазии против феодализма, и притом до той черты, которая будет обозначена самой буржуазией. Все благодеяния, которые может дать народу исторический прогресс, должны воспоследовать сверху, и чем могущественнее правитель, тем он имеет больше возможностей излить на своих подданных поток благодеяний и свет разума. Такой ход мыслей делает понятным, почему просветительство привлекало и феодальных идеологов, и феодальную монархию. Идея «просвещенного абсолютизма» выросла именно на этой почве. Просвещенный монарх, окруженный философами, — идеал, естественно выраставший из идеологии буржуазного Просвещения.

Указанная ограниченность просветителей сказалась и в понимании ими истории. Будучи концепцией идеалистической, просветительство видело свою задачу в распространении взглядов, согласных с требованиями всемогущего разума. Прогресс, по мнению его поборников, состоял в усвоении этих взглядов возможно большим числом людей. Однако подобная задача приходила в противоречие с установками самих же просветителей: ведь носителем идей просвещения должен являться узкий круг имущих людей и интеллигенции, ведущий за собой остальной народ и освещающий светом разума его путь.

Кроме того, Просвещение в силу самой своей сути представляло исторический процесс в искаженном виде. Объявляя разум единственным судьей истории, просветители сталкивали его не только с отдельными историческими событиями, несогласными с требованиями разума, но и с целыми эпохами в истории человечества. Так, развивая идею гуманистов, они изображали только черной краской эпоху средних веков. Буржуазное Просвещение отбрасывало все многообразие исторического процесса, обедняло его, подходя к нему с единственным мерилом — разумом. Это противоречило тезису о поступательном движении истории, делало идеологию Просвещения антиисторичной. Будучи идеологией прогрессивной, она оставалась ограниченной в своем историческом значении.

М.-Ф. Вольтер

Идеологом буржуазных верхов был М.-Ф. Вольтер (1694—1778). Его «Опыт о нравах и духе народов» вместе с «Веком Людовика XIV» и очерком о времени Людовика XV составляют обзор всемирной истории. При всех пробелах в фактическом материале, при всех недостатках методологии этот исторический обзор внес много нового в историческую науку того времени.

Одна из главных черт исторической концепции Вольтера состояла в том, что ею значительно раздвигались рамки исторического исследования. Правда, всемирно-историческая точка зрения была свойственна и средневековой историографии, исходившей из тезиса «единый мир единого бога», но ареал применения этой теории, сложившейся под влиянием библии, ограничивался фактически лишь «библейскими» странами, т. е. странами Ближнего Востока, вошедшими в европейскую историографию под названием классического Древнего Востока. Этот раздел истории служил своего рода введением к античной истории, за которой следовала история средневековой Европы. Другими словами, европейская историография не переставала быть «европоцентристской» от того, что в поле своего обозрения она включала «библейские» страны. Вольтер решительно порывал с этим «каноном»: его всемирно-историческая схема охватывала историю арабов, Индию и Китай, т. е. весь тогдашний мир, история которого в той или иной степени была известна в Европе. Со времен Вольтера включение этих стран европейскими учеными во всемирно-исторический процесс считалось прогрессивным

явлением. Когда столетие спустя Т. Н. Грановский в России ввел в свой учебник всеобщей истории разделы об Индии и Китае, это служило верным признаком прогрессивности позиций ученого. Кроме того, Вольтер развивал идею рационалистов XVII в. о первобытном периоде в истории человечества, хотя не во всем был с ними согласен. Первобытное состояние представлялось Вольтеру длительным стовековым периодом, в котором цивилизованное состояние человечества образует лишь небольшую по времени часть.

Что касается истории Европы, которую Вольтер знал лучше других и которой больше всего занимался, то ее он рассматривал как составную часть всемирно-исторического процесса. Европа заимствовала много ценного у народов других частей планеты, она должна это делать и впредь, но, естественно, Европа прошла свой, самобытный исторический путь. Вольтер устанавливал его четкую периодизацию: он принимал то сложившееся к его времени членение истории, которое было намечено гуманистами и введено в историческую науку Христофором Целларием, — на древнюю, средневековую и новую. В этой триаде средневековье занимало неравноправное положение, считаясь наиболее глухой порой европейской истории, временем общественного застоя и религиозного мракобесия.

Резко отрицательное отношение Вольтера к этому периоду объясняется его позицией ярого врага церкви, поскольку в средние века господствовала церковная идеология. Вопрос о боге и церкви занимал большое место в исторической концепции Вольтера. Бог, по Вольтеру, — творец всего сущего, но он не является назойливым опекуном, который бесцеремонно вмешивается в историю как только начинает замечать, что дела пошли не сообразно с его предначертаниями; сотворив мир, бог навсегда почил от дел и больше не считает нужным в них вмешиваться. Бог у Вольтера не исчез, он присутствует, но лишь затем, чтобы быть вместилищем страха для невежественного народа; этот бог не связывает руки буржуазии, которая получает полную свободу для перестройки истории в соответствии со своими надобностями.

Поскольку церковь с ее провиденциализмом отстаивала тезис о вмешательстве бога в деяния людей, церковные воззрения вступали в противоречие с концепцией Вольтера. Борьба с церковью переносилась и на область истории. Вольтер сделал мишенью своих язвительных нападок саму библейскую традицию в историографии. Библейская история — это непрерывная цепь глупостей и жестокостей, она проповедует теократию — форму самого беспощадного деспотизма, уродует разум, сковывает духовное развитие человека. Такую же оценку получает христианский Рим, но больше всего достается средневековой церкви: нет такого невежества и преступления, которого она не совершила бы. Это та гадина, тот беспощадный удав, который оплел человечество; если его не раздавить, человечество задохнется в его объятиях. В этом отношении Вольтер делал крупный шаг вперед по сравнению с идеологами Английской революции. Как известно, Английская буржуазная революция XVII в.

проходила еще в религиозной форме, а религия играла существенную роль как идеологическая форма борьбы. У Вольтера роль церкви — чисто негативная, хотя сам он далек от атеизма.

Изгнав бога и церковь из исторического процесса, Вольтер в то же время стремился расширить поле зрения историка. Его внимание привлекалось к исследованию новых, чрезвычайно важных сторон исторического процесса. В противовес предшествующей историографии, которая интересовалась главным образом бесконечными религиозными распрями, в лучшем случае политической историей, рассматриваемой с чисто внешней стороны, Вольтер обратился к изучению экономического состояния общества. В частности, он придавал большое значение усовершенствованию орудий труда, подчеркивал важность внутреннего строя государства, отводил большое место духовному развитию народа.

Стремясь подчеркнуть значение этих сторон исторического процесса, он использовал новую манеру изложения: в отличие от ранее распространенной и сводившейся к нагромождению анекдотических подробностей, излагавшихся в строго хронологической последовательности, что являлось данью летописной традиции изложения событий по годам, Вольтер прибег к «сквозному», проблемному изложению материала, не соблюдая хронологической очередности и не смущаясь тем, что ему приходилось в своем изложении забегать вперед или возвращаться назад. Вольтер еще не умел устанавливать взаимосвязь между разными сторонами исторической действительности, но само выделение магистральных проблем исторического процесса было крупным вкладом в историческую науку.

Новый методологический подход к проблемам истории породил и новое отношение к историческому источнику. Именно во Франции эрудитами XVII в. была накоплена огромная масса источников и разработана техника источниковедения. Рационалистический взгляд крупнейшего французского просветителя произвел решительную переоценку этих ценностей, накапливавшихся в значительной мере под влиянием церкви с целью доказательства «промысла божия» и ради религиозной полемики. Теперь ценность исторического документа определялась теми требованиями, которые предъявляли истории каноны Просвещения.

Это привело также и к переоценке исторических писателей. Вольтер выработал два критерия для оценки историков. Во-первых, не могли иметь ценности в его глазах творения церковных историков и всех, кто признавал действия божьего промысла в истории. Во-вторых, при оценке творчества авторов все решает их гражданская позиция, их политические и культурные идеалы. Такой подход Вольтера оказал большое влияние на всю последующую прогрессивную историографию.

Вольтер фактически отверг всякую достоверность первых веков римской истории, поскольку представления о них основаны на легендарном материале. Лишь начиная с III—II вв. до н. э., римская история перестает быть легендарной. Все римские историки потеряли у Вольтера значение непререкаемых авторитетов, они стали выгля-

деть лишь представителями своих партий, весьма пристрастно оценивавшими римскую историю. В этом Вольтер резко разошелся с гуманистами, которые придавали римской истории и самим римским писателям «ходульный» характер. Сходные с вольтеровскими взгляды встречались у его современника — итальянца Вико, а свою научную разработку эта идея получила позже у Нибура. Оценивая последующую европейскую историографию, Вольтер ниспроверг ее авторитеты, в том числе и Боссюэ, считавшегося крупнейшим среди них в XVII в. По мнению Вольтера, историография послеримской Европы, заслуживающая внимания, начинается с поздних итальянских гуманистов.

Что касается гражданских позиций самого Вольтера, то они определяются совершенно четко. Вольтер обладал чертой, которая была свойственна буржуазным идеологам той поры, когда класс буржуазии был на подъеме: он мог позволить себе откровенно формулировать свою позицию. (Этим, кстати сказать, отличались и историки периода Реставрации.) В построении своей исторической концепции Вольтер исходил из буржуазного развития Англии: ее социальный и политический строй представлялся ему идеальным. В известном смысле к этому идеалу приближалась и Голландия. Другими словами, речь шла о странах, уже освободившихся от засилья феодализма; за ними, по Вольтеру, должна следовать Франция. Однако Вольтер не собирался рекомендовать избранные этими странами средства. Англия и Голландия достигли свободы путем революции; рычагом же достижения этой цели Францией для Вольтера служил «просвещенный абсолютизм», опирающийся на аристократию духа, а фактически — аристократию денежного мешка.

Ш.-Л. Монтескье

Другой крупный деятель французского Просвещения — Ш.-Л. Монтескье (1689—1755) вошел в историю исторической науки как один из родоначальников юридического подхода к истории. Эта юридическая точка зрения оказала сильное влияние на всю последующую дворянскую и буржуазную историографию Европы. Даже представители русской исторической школы (М. М. Ковалевский, Н. И. Кареев, И. В. Лучицкий, П. Г. Виноградов), занимавшиеся по преимуществу социально-экономическими проблемами, находились в плену юридического взгляда на исторические явления.

Мысль Монтескье билась над созданием проектов такого государства, которое было бы идеальной формой воплощения политического компромисса между двумя имущими и просвещенными классами — буржуазией и дворянством. В поисках такой формы Монтескье анализирует республику в ее демократической и аристократической разновидностях и монархию. Общее между республикой и монархией состоит в том, что в них правят законы, однако наилучшей формой, по мысли Монтескье, является ограниченная монархия: она соединяет в себе демократические и аристократические

элементы и имеет своего рода арбитра между ними в лице монарха. Кроме них, существует деспотия, в которой законы безмолвствуют и которую Монтескье поэтому отвергает. В отличие от феодального произвола и деспотии, ограниченная монархия должна в самом политическом строе иметь гарантию законности и свободы. Монтескье находит эту гарантию в разделении законодательной, исполнительной и судебной властей и в их равновесии. Свою идеальную конституцию автор конструирует из материала, который собирает, изучая политическое устройство ряда государств на протяжении всей мировой истории, но главным образом из английской конституции. Монтескье был поклонником английской политической системы.

Какие причины влияют на складывание того или иного политического строя? Исходная точка рассуждения Монтескье на этот счет — тезис о взаимодействии природы и общества. Жизнь общества, его законы определяются прежде всего природными условиями. Жаркий климат, равнинный характер местности и плодородие почвы юга порождают деспотию: это характерный для юга политический строй. Его установлению благоприятствуют также леность, страсть к роскоши, отсутствие храбрости и склонность к рабскому повиновению у граждан южных государств. Напротив, скудость почвы и холодный климат севера способствуют предприимчивости и храбрости людей, а следовательно, в этих государствах развиваются промышленность, свободные учреждения и любовь к независимости.

Эти факторы обычно выступают в сочетании с другими, притом самыми разнообразными. К ним, в частности, принадлежат территориальные размеры государств. Небольшой размер страны способствует появлению республики, в среднего масштаба странах устанавливается монархия, в обширных — деспотия. К таким факторам относится также уровень экономического развития государств: высокий уровень хозяйственной жизни содействует развитию свободы, низкий — деспотии. Большое влияние на характер законов оказывают нравы данного народа. Здесь, по Монтескье, можно говорить о взаимодействии: складываясь под влиянием нравов, законы, в свою очередь, могут влиять на нравы, способствовать искоренению их дурных черт. Наконец, к факторам, влияющим на законы, а значит, на политическое устройство страны, Монтескье относит религию. Мусульманство и католицизм способствуют возникновению деспотии, протестантизм — ограниченной монархии и республики.

Однако Монтескье не только сконструировал идеальную, с его точки зрения, конституцию, но и применял свои принципы к пониманию мирового исторического процесса. Подобно Вольтеру, он включал в свою концепцию страны Востока, но на первом плане у него, как и у всех французских просветителей, была история Западной Европы, и прежде всего Франции. В его «Духе законов» (1748) мы встречаем не только аргументацию и исторические экскурсы, используемые для выработки идеальных законов, но и целостную историческую концепцию. Составной частью исторических построений Монтескье являются его «Размышления о причинах величия

и падения римлян». Своим величием Рим был обязан хорошим законам, политическому устройству своей республики. Монтескье был одним из тех, кто создал в европейской историографии ставшее традиционным представление о формально-юридическом складе мышления римлян, об их суровых нравах, подчиненных идее государства, о доведенном до крайности формализме, на котором зиждилось само римское государство. Эти принципы противопоставлялись созерцательности древних греков, склонных к отвлеченному мышлению и к искусству, подаривших миру свою непревзойденную культуру. В эпоху Империи приходят в упадок и нравы, и законы, а затем гибнет и сам великий Рим. Тезис о порче нравов римлян, изнеженных роскошью и утерявших свои гражданские доблести, что привело к установлению деспотии, оказал большое влияние на всю европейскую буржуазно-дворянскую историографию.

В раннем средневековье, пришедшем на смену Римской империи, Монтескье интересуется прежде всего происхождением Франции. Он принял участие в дискуссии между Буленвилье и Дюбо, пытаясь занять в ней самостоятельную позицию. Вместе с Буленвилье Монтескье признавал французское завоевание Галлии, вместе с ним он признавал и тот факт, что французское дворянство вышло из этого завоевания. Такая позиция делала его концепцию германистической. Однако, в отличие от Буленвилье, он вносил сюда ряд ограничений. Во-первых, франкское завоевание Галлии было только началом формирования дворянских привилегий, вся же система этих привилегий сложилась на протяжении весьма длинного ряда веков. Во-вторых, Монтескье весьма далек от идеализации французских дворян ранней поры; он показывает, что это были грубые, невежественные люди, совершенно не способные создать справедливый общественный строй. И наконец, в-третьих, Монтескье вовсе не отрицал значения римских элементов в формировании общественного и политического строя Франции. Это сближало его взгляды с воззрением Дюбо.

Г.-Б. Мабли

Аббат Мабли (1709—1785) был автором многотомных «Наблюдений над историей Франции», а также обобщающей работы «О способе писать историю». В последнем произведении изложен его общий взгляд как на исторический процесс, так и на задачи историка. В истории, по мнению Мабли, действуют два ряда явлений. Один из них служит проявлением естественных законов. Все, что им соответствует, образует положительный опыт истории. Другой ряд — явления, порожденные страстями, они уродуют течение истории, отдаляют его от естественного идеала.

Задача историка — изучать оба эти ряда, чтобы обнаружить события, соответствующие естественной природе человека, и показать пагубность страстей. Этим историк помогает воспитывать гражданина, способного служить общественному благу, воспитывать

патриота, человека высокой морали, способного бороться со страстями. Следовательно, наука истории имеет благородную цель — быть наставницей людей, учить их на опыте прошлого высоким идеалам гражданственности. При этом естественное течение истории исключает всякий провиденциализм. Мабли решительно не допускал вмешательства бога в дела истории. Задача учить высшей морали и давать нравственную оценку историческим событиям обусловила назидательный тон сочинений Мабли, в частности его манеру вводить в свое изложение речи исторических деятелей.

«Наблюдения. . .» являлись приложением его идей к изучению мирового исторического процесса. История человечества начинается с естественного, *первобытного* состояния. Первобытному периоду Мабли придавал совсем иное значение, чем идеологи Английской революции. Это был, по его убеждению, *коммунистический* строй. Как строй всеобщего равенства, как система, где не было угнетения, первобытный период представлял собой золотой век человечества. С тех пор оно прошло длинный путь, но это было движение не вперед, а назад. Появление частной собственности явилось прямым нарушением естественной природы человека, так как вместе с собственностью породило неравенство и угнетение. Вместе с ними пришло государство. Народ ставил над собою власть, чтобы она заботилась о его лучшей доле, но на деле государство сделалось его недругом. Народ — источник власти и ее верховный судья. Лишь то правительство достойно своего народа, которое выполняет его волю. Если же оно оказалось неспособным на это, естественное право народа — его свергнуть.

Чем дальше двигалась история, тем больше росли собственность, роскошь, развивалась торговля, государство все больше противостояло народу в качестве враждебной силы. Это означает, что природа неуклонно отступала перед страстями, нравы падали, и теперь человечество оказалось в бедственном положении. Несмотря на многие оговорки, вся концепция Мабли служила историческим обоснованием естественных прав народа на свержение своего правительства и на переустройство общества. Идеал Мабли в этом переустройстве — всеобщее равенство и отсутствие угнетения — был в тогдашних условиях утопичен.

Эту же точку зрения Мабли прилагает и к конкретной истории Франции. Он — убежденный германист. Франкское *завоевание* Галлии для него не подлежит сомнению. Именно оно освободило галло-римлян от гнета Римской империи, а первобытные порядки, принесенные из германских лесов, установили в древней Франции свободный общественный строй. Тогда во Франции царил суверенитет народа, выходившего из первобытного состояния.

Однако уже при Меровингах народ стал терять этот суверенитет. Расселившиеся по всей Галлии и поглощенные захваченным при завоевании добром, франки теряют связь между собой, погрязают в стяжательстве, становятся рабами частной собственности. Общественная жизнь глохнет. Создается благоприятная обстановка для роста светской и духовной знати. В ее руках сосредоточиваются огромные

земельные богатства. Суверенитет народа узурпируется королем. Король, дворянство и духовенство образуют союз узурпаторов, поработивших народ. Остатки народовластия еще продолжают сохраняться при Карле Великом, но при его преемниках французский народ окончательно распадается на два непримиримых лагеря. С тех пор он ведет борьбу за утерянные равенство и суверенитет. Борьба городов с феодальными владыками за независимость и свободу и борьба в Генеральных Штатах были выражением этого. Перестав созывать Штаты, Карл V установил режим диктатуры.

В концепции французской истории Мабли мы находим — пусть лишь в теоретической постановке — проблески идеи классовой борьбы. Как мы уже видели, согласно Мабли, она идет между дворянством — потомками древних победителей-франков, — с одной стороны, и народом, или третьим сословием, — потомками побежденных галло-римлян, — с другой. Однако в отличие от буржуазных идеологов эпохи Просвещения, которые сумели разглядеть только борьбу между дворянством и третьим сословием, Мабли заметил ее и внутри третьего сословия. «Надо очень верить в силу своего красноречия и в свое искусство маневрировать софизмами, чтобы надеяться убедить рабочего, для которого единственным источником существования является его мастерство и который трудится в поте лица, что это есть наилучшее для него состояние; что хорошо, что существуют крупные собственники, захватившие все, живущие наслаждаясь, в изобилии и в удовольствии. Кто может убедить земледельца, что одинаково хорошо быть арендатором земли или ее собственником?.. Одним словом... как возьметесь вы заставить людей, у которых нет ничего, т. е. громадное большинство граждан, поверить, что они, очевидно, живут в таком государственном строе, где они могут найти наибольшую сумму наслаждений и счастья? Доказать, что заблуждение это истина — невозможно» [2].

Эта противоположность рабочего и хозяина, крестьянина и феодала, неимущего и собственника, труженика и праздного характерна не только для Франции, но и для любой другой страны. «Читайте историю всех народов, и вы увидите, что все они страдали из-за этого неравенства имуществ. Граждане, гордые своим богатством, с презрением смотрели на равных им людей, которые были обречены трудиться для того, чтобы существовать, вы видите, как тут же нарождаются несправедливые и тиранические правительства, создаются пристрастные и притеснительные законы, одним словом, вся та масса бедствий, под тяжестью которых народы стонут» [3].

Все это приводило Мабли к выводу о правомерности насильственного свержения власти крупных собственников и угнетателей. Мирным путем нельзя «принудить знатных и богатых согласиться на полное равенство с лицами, которых они презирают» [4]. Восстание становится неизбежным по мере того, как социальные верхи при-

[2] *Мабли Г.* Избранные произведения / Под ред. акад. В. П. Волгина. М.; Л., 1950, с. 198—199.
[3] Там же, с. 174—175.
[4] Там же, с. 116.

бегают к силе, а контраст бедности и богатства непрерывно усиливается. «Если неравенство имущества настолько велико, что богачи... открыто станут стремиться к тирании, вы увидите, что бедные... восстанут в защиту прав человечества»[5]. Мабли презирает народ, покорившийся угнетателям, он на стороне народа, готового бороться. «Народ называют наглым потому, что у него не всегда хватает снисходительности терпеть наглость вельмож. Он непокорен, и его хотят наказать за то, что он отказывается быть вьючным животным»[6]. Безнадежно больную часть организма надо безжалостно отсекать: «когда у меня гангрена руки или ноги, эта ампутация — благо. Итак, гражданская война является благом, когда общество без помощи этой операции подвергается гибели от гангрены и... подвергается риску погибнуть от деспотизма»[7]. Революция — свежий ветер для общества, ибо «народ никогда не бывает более сильным, более уважаемым и более счастливым, чем после потрясений гражданской войны»[8]. Такого рода взгляды существенно отличают Мабли от других идеологов эпохи Просвещения.

Ж.-Ж. Руссо

В богатом литературном наследии Жан-Жака Руссо (1712—1778) есть два крупных сочинения, в которых изложена его историческая концепция. Это «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1755) и «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762). Если исторические теории Вольтера и Монтескье были идеологическим отражением интересов имущих классов, заинтересованных в устранении абсолютизма Бурбонов, если исторические взгляды Мабли воплотили чаяния обездоленных масс Франции, искавших выхода в идеалах утопического коммунизма, то Руссо был идеологом тех широких слоев народа, которые, страдая от социального неравенства и политического гнета, мечтали о сохранении мелкой собственности от посягательств крупной и о политической свободе для мелкого собственника. Этот идеал был столь же фантастичен, как и идеалы Мабли. Личная судьба Руссо как бы символизирует судьбу его идей. Он был встречен враждебно Дидро и, особенно, Вольтером, травившим этого замечательного мыслителя. Что касается феодального общества, то предреволюционные салоны французской знати относились к Руссо с барской снисходительностью, в действительности же знать ненавидела его. Во времена Реставрации озлобленные дворяне уничтожили даже мертвое тело Руссо.

Исходный пункт рассуждений Руссо составлял тезис о том, что в древнейший период истории человечества царило абсолютное равенство. Это был период животного состояния людей, период «дообщественный». Однако уже тогда человек отличался от животного, и отличие это состояло в том, что человек обладал способностью подняться выше инстинкта, избрать наиболее целесообразный

[5] Там же, с. 77.
[6] Там же, с. 260.
[7] Там же, с. 266.
[8] Там же, с. 270.

способ действия. Возраставшие трудности в добывании пищи (в связи с увеличением населения) заставили людей усовершенствовать орудия, начать использовать огонь, строить себе постоянное жилье, создать семью, организоваться в общество, способное к постоянному совершенствованию. Вместе с последним росли и опасности. Появление земледелия повело к присвоению земли, но это было лишь началом неравенства. Развиваясь, неравенство приводит общество к распадению на имущих и неимущих. Между теми и другими вспыхивает борьба.

Как попытка выхода из такого состояния всеобщей войны рождается «общественный договор». Он призван был гарантировать каждому сохранение его собственности и безопасность. На деле «договор» привел к образованию государства, которое оказалось на руку богатым: сделалось средством защиты их собственности и орудием угнетения бедных. Государство выросло в большую силу, враждебную неимущим. Наряду с неравенством социальным родилось неравенство политическое. Куда девались гарантии интересов бедных? Ведь они при возникновении государства неизбежно должны были содержаться в «общественном договоре». Увы, эти гарантии исчезли под натиском силы. Руссо решительно отвергал германистические, идеализированные построения дворянских идеологов о происхождении богатств и привилегий из права завоевания. Насилие, от которого страдают неимущие, — социальное и политическое насилие. Народный суверенитет все больше и больше вытеснялся из сферы управления, власть становилась исключительным достоянием богатых. Наивысшее свое выражение гнет народа нашел в деспотии. Это третья, наряду с аристократией и демократией, наиболее высокая ступень неравенства между людьми. В деспотии как самой свирепой и несправедливой политической форме современники не могли не видеть феодальную Францию Людовика XVI.

Каков выход из этого тупика, в который забрело человечество? Он состоит в установлении справедливого общественного строя, который Руссо рисовал в полном соответствии со своими идеалами. К аристократии и монархии он относился отрицательно: ведь они легко перерастают в деспотию. Демократия, за которую обычно принималось парламентское государство, тоже не устраивала Руссо. Он понимал демократию как непосредственную демократию народа, наподобие Афинской демократии, где народ не выбирает государственные органы, а сам выносит решения и где нет обычного государственного (чиновничьего) аппарата. Такого типа демократия, полагал Руссо, возможна только в маленьких государствах — республиках; они-то и стали его идеалом. Эти республики устанавливаются путем народного восстания — узурпация народного суверенитета богатыми дает народу право на это. В таких республиках нет ни власти богатых, ни господства крупной собственности, однако собственность сама по себе не уничтожается. Ее хранителем является мелкий хозяин, который находит в таком государстве справедливость и защиту. В этой конструкции нашел свое воплощение не только положительный идеал Руссо, но и его призыв к революции, назревавшей в это время во Франции.

Ж.-А. Кондорсе

В отличие от Руссо Ж.-А. Кондорсе (1743—1794), друг Вольтера и Тюрго, сотрудник «Энциклопедии», формулировал исторические взгляды буржуазии, рвавшейся к власти. Почитатель наук о природе, Кондорсе, подхваченный событиями назревавшей, а затем вспыхнувшей революции, обратился к оценке исторического процесса, чтобы определить место, занимаемое в нем Французской революцией. Такой подход был в особенности закономерен для активного участника революции. Хотя сам Кондорсе стремился подчеркнуть самостоятельность своей позиции, в действительности он был типичным жирондистом и погиб в борьбе с якобинцами. В плане теоретическом он также выступал их противником. Если Руссо, чьи идеи во время революции стали теоретическим обоснованием якобинской программы, рисовал исторический процесс в виде неуклонного регресса, то Кондорсе противопоставил этому восходящую линию истории человечества. Это был оптимистический взгляд восходящего класса.

Вынужденный досуг во время самой революции позволил Кондорсе создать труд «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума» (1794), где и дана эта набросанная в общих чертах картина. Основа схемы Кондорсе — человеческая личность, свободная от духовного и политического угнетения, а основа развития самой личности — прогресс просвещения и научных знаний, прежде всего успехи наук о природе. Политический и социальный прогресс выступает у Кондорсе следствием всего этого. Отсюда с неизбежностью вытекает вывод о том, что пружиной всего общественного развития всегда являлась та общественная группа, которая была обладателем интеллектуальных богатств, накопленных человечеством, — просвещенное меньшинство.

Исторический процесс прошел, согласно Кондорсе, десять крупных стадий — от древнейших времен до современной ему французской республики. Критерием выделения этих стадий, или эпох, оказывались крупные прогрессивные перемены в развитии разума. К критериям социального характера автор прибегает, оценивая лишь древнейшие эпохи, для характеристики которых ему не хватало «интеллектуального» материала. Такова самая древняя эпоха, начавшаяся с объединения индивидов в племена, следующая за ней — характерна переходом к земледелию, третья эпоха завершается появлением алфавитной письменности.

Далее у Кондорсе вступает в свои права критерий развития самого разума, поэтому четвертая эпоха имеет своей исходной точкой появление алфавита. Ее содержание составляли возникновение отдельных отраслей науки и борьба между знанием и религией. Хронологически—это период древней Греции. Пятая эпоха — время римской истории, когда борьба между знанием и религией завершается победой религии — христианства. Эта победа ознаменовала резкий упадок некогда высокой античной культуры.

Шестая эпоха — мрачное начало европейского средневековья. Падение античной культуры дополнили варварские завоевания. принесшие беспорядок и деспотизм. В Византии упадок культуры происходил медленнее, но оказался необратимым; что же касается Запада, то после катастрофического падения начался медленный подъем культуры. Элементы этого подъема Кондорсе видит в исчезновении рабства, в появлении культуры арабов, которая развивала античные традиции и перешла по наследству Западной Европе. Ее врагом была религия, как мусульманская, так и христианская, последняя главным образом в лице папства. Несмотря на эти препятствия, приблизительно к X в. науки все же восстанавливаются, катастрофа античной культуры начинает преодолеваться.

С этого ведет начало седьмая эпоха — эпоха нового подъема просвещения и наук. Немалую роль в нем сыграли крестовые походы, познакомившие европейцев с восточной культурой. Завершается эта эпоха изобретением книгопечатания. Это рубеж, который, как мы показали в иной связи, играл большую роль в периодизации всемирной истории, разрабатывавшейся В. Н. Татищевым.

Далее следует восьмая эпоха. Книгопечатание раздвинуло масштабы распространения культуры, а стало быть, и ее воздействия на умы. Благодаря этому просвещение и науки обрели возможность лучше противостоять политическому и духовному деспотизму. Взятие Константинополя турками в 1453 г. послужило причиной того, что целый поток византийских книжников хлынул на Запад. Последовавшие за этим Великие географические открытия явились крупным событием, обогатившим людей знакомством с окружающим их миром. Хотя вторжение европейцев на Американский континент отмечено жестокостями, а Реформация принесла с собой в Западную Европу религиозную резню, эта эпоха составила значительный шаг в развитии наук и просвещения. Вершиной мысли того времени, по мнению Кондорсе, был Декарт.

С него начинается девятая эпоха, эпоха Просвещения. Ее кульминацией были война североамериканских колоний за независимость и образование Соединенных Штатов Америки, а особенно начавшаяся Великая французская революция. То и другое оказалось следствием развития как точных наук, так и распространения идей Просвещения вообще. Особенное значение Кондорсе придает учению физиократов и его теоретику Тюрго.

С учения Тюрго и появления французской республики Кондорсе начинает последнюю, десятую эпоху — эпоху будущего. Теперь возникла возможность для невиданного распространения культуры, а следовательно, и для всякого иного прогресса. По мере распространения наук будет стираться разница в интеллектуальном и социальном положении людей, будут стираться грани и между народами. Нации сольются во всемирную республику граждан, а единственным двигателем прогресса человечества станет ненасытная потребность знания. Во главе прогресса встанут ученые, организованные в Академию, которая превратится в центр развития человечества.

Концепция Кондорсе была вершиной буржуазной исторической мысли той поры. Тогда еще не было видно, что царство буржуазии окажется слишком далеким от идеальной картины, нарисованной философом. Последующее развитие показало резкое несоответствие этого идеализированного царства буржуазии исторической действительности.

Д. Юм. У. Робертсон. Э. Гиббон

Английское Просвещение резко отличалось от Просвещения французского. В Англии, где буржуазная революция была уже позади, просветительские идеи не имели боевого, революционного накала и ограничивались духовной сферой. Требования разума, научное знание противопоставлялись религиозному суеверию при оценке как современности, так и явлений прошлого. Что же касается вопросов, связанных с революцией, то английские историки-просветители XVIII в. или предпочитают совсем не «ворошить» революционного прошлого Англии, или относятся к нему с прямой враждебностью.

Типичным представителем английского Просвещения этих времен является философ **Давид Юм** (1711—1776). В его жизни была некоторая полоса, когда он занимался историей своего отечества, результатом чего стала «История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 г.» (1754—1763). В истории средневековой Англии Юма интересовало происхождение ее общественного строя. Он выводил его из нормандского завоевания 1066 г. Завоеватели определили облик феодального слоя страны; завоевание закрепило за феодалами систему привилегий и власть над широкими массами англичан. Впоследствии О. Тьерри доказывал, что свою теорию завоевания франками Галлии он построил под влиянием тезиса Юма о решающем влиянии нормандского завоевания Англии. Однако к самому Юму эта теория скорее всего пришла из самой Франции, где она служила предметом горячей полемики, начиная со спора Буленвилье—Дюбо. Это тем более вероятно, что Юм не только бывал во Франции, но и состоял в дружбе с деятелями французского Просвещения.

Центральное место в построениях Юма-историка занимает Английская революция XVII в., которую он всячески стремится развенчать. Она, по мнению Юма, была делом религиозного фанатизма, результатом столкновения религиозных страстей; вся история Английской революции есть история религиозной резни и беспорядка. В действительности же, доказывал Юм, в Англии не было серьезных причин для революции. Стюарты, проводившие традиционную политику своих предшественников, вовсе не представляли собой деспотов и тиранов, какими их изображают сторонники революции. Юм относится резко враждебно к тем течениям в революции, которые хоть в малейшей степени покушались на свободу собственности. Реставрация Стюартов была началом умиротворения религиозного фанатизма в Англии, а «Славная революция» 1688 г. —

событием, установившим лучшую в мире конституцию, под сенью которой процветают Англия и англичане. Это было выражением господствующей тенденции в идеологии английской буржуазии и буржуазно-дворянской знати, каковая сводилась к разрыву с революционным прошлым, к доказательству бессмысленности революции. Это было своего рода предупреждением для французской буржуазии, собиравшейся совершить свою революцию.

В еще большей степени соединение идей Просвещения и консервативного взгляда на исторический процесс характерно для **У. Робертсона** (1721—1793) — королевского историографа в Шотландии, автора «Истории Шотландии от королевы Марии до короля Якова VI» (1759), «Истории царствования императора Карла V» (1769) и «Истории Америки» (1777). Для Робертсона исторический процесс тоже есть история разума, но, будучи духовным лицом и отстаивая влияние религии и церкви, он сильно суживал влияние рационализма в сфере истории. В его представлении история европейских народов — это непрерывная череда периодов упадка и подъема. Римская империя объединила народы на огромной территории под единой властью, в этом была ее положительная роль. Однако эта эпоха ничего на дала для развития разума. Благополучие империи покоилось на грабеже, центр страны жил за счет провинций. В области политической жизни царил произвол. В сфере моральной унижалась человеческая личность, следовательно, отсутствовали условия для подъема человеческого духа, для расцвета культуры. Неизбежным следствием были упоение роскошью, утеря воинственности и гражданских доблестей. Слава римского оружия меркнет, государство политически разваливается, наступает его хозяйственный упадок. Некогда богатая и воинственная, империя не смогла противостоять натиску варваров.

Варварское нашествие уничтожило и римское хозяйство, и римскую политическую систему, и римскую культуру. На их руинах рождался новый, феодальный мир. Однако и он таил в себе семена собственного разложения. Феодализм вышел из военной организации варварских народов — военный строй перерос в строй политический, а это повело к распаду государственного организма: устанавливается феодальный беспорядок. В итоге воинственность былых завоевателей Рима и их гражданские добродетели приходят в упадок, то же происходит и с созданной феодализмом культурой. В сущности повторились явления, имевшие место в последние века Римской империи. И здесь разум не нашел своего развития.

Однако и в Европе упадок сменяется новым подъемом. Его исходный рубеж — крестовые походы. С ними было связано развитие европейской торговли, походы эти познакомили европейцев с восточной культурой, способствовали усилению королевской власти в европейских государствах. С того времени начинается развитие городов, которые становятся союзниками королевской власти. Союз торговли, королевской власти и городских коммун выходит победителем в борьбе с феодальной анархией, постепенно устанавливаются буржуазные порядки, поклонником которых был Робертсон. Наиболее со-

вершенной политической формой, которая дает наконец простор для развития разума, является, с точки зрения Робертсона, просвещенный абсолютизм. Таким образом, развитие торговли, городов, буржуазных порядков, увенчанных просвещенным абсолютизмом, объявляются наиболее совершенным вместилищем разума.

Одним из самых прославленных представителей английского Просвещения XVIII в. был Эдуард **Гиббон** (1737—1794), избравший темой своих исторических изысканий падение античного мира. Созданные им труды стали своего рода образцом применения просветительских идей к истории гибели древнего мира. В 1776 г. вышла его многотомная работа «История упадка и разрушения Римской империи от конца II в. до 476 г.». В 1787 г. было написано ее продолжение, охватывающее историю падения Византии (историк считал ее прямым продолжением Римской империи).

В подходе к вопросу о гибели римского и византийского мира Гиббон не был оригинален по сравнению с другими просветителями, в том числе и Вольтером: все тот же упадок просвещения в последние века римской истории, все те же угасания светоча разума, страсть к роскоши, порча нравов, падение прославленных римских военных и гражданских доблестей. Не было ничего новаторского и в утверждении, что первой причиной всего этого являлось губительное влияние христианства. Значение работ Гиббона состояло в том, что антиклерикализм Вольтера он подкрепил огромным историческим материалом, нарисовав широкое полотно, изображающее конкретно-историческую картину последних веков античного мира и Византии. Несмотря на то что эта картина не отличалась глубиной — суждениям Гиббона подчас не хватало фундаментальности и всесторонности, — грандиозность всей панорамы, ее масштабы, равно как и мастерство изложения, сделали труд Гиббона чрезвычайно популярным, создав автору во всем мире славу непревзойденного мастера в изображении последних веков Римской империи.

Г.-Э. Лессинг. Ф. Шиллер. И.-Г. Гердер

Если в Англии буржуазная революция была уже позади и английское Просвещение XVIII в. свидетельствовало об известной успокоенности буржуазной исторической мысли, если Просвещение Франции отразило назревание революционного взрыва, то в отсталой Германии, где еще отсутствовала общественная сила, которая была бы в состоянии совершить революцию, в Просвещении выразилась незрелость политической и исторической мысли немецкой буржуазии, неспособной подняться на борьбу с феодализмом и покончить с национальной раздробленностью своей родины.

Расположенная в центре Европы, Германия XVIII в. не могла остаться в стороне от волны Просвещения, захлестнувшей всю Европу. В то время когда во Франции просветительские идеи достигли своей вершины, Германия переживала полосу «бури и на-

тиска». Это была знаменательная пора в истории немецкой освободительной мысли. Целью борьбы провозглашались уничтожение феодального гнета, достижение национального единства и политической свободы; «буря и натиск» являли собой порыв к широким горизонтам человеческой мысли. Ж.-Ж. Руссо стал кумиром передовых людей Германии. Шиллер и Гете, Лессинг и молодой Гердер в той или иной мере примыкали к этому движению. Однако в конечном счете оно осталось порывом ограниченного круга молодых поэтов и мыслителей, не вышло за рамки абстрактного протеста и сентиментальности; бунтарство сводилось к риторике и не звало к революционному действию. Слово и дело оказались в непримиримом разладе между собой.

Исторические идеи являлись составной частью воззрений немецких просветителей. В Германии было особенно модным соединять литературный талант с ученостью. Левые позиции в тогдашнем немецком Просвещении занимал **Г.-Э. Лессинг** (1729—1781). Однако непосредственно к историческим проблемам он обратился лишь в конце жизни, когда в его творчестве все сильнее проявлялись идеализм и мистика. В последней своей работе «Воспитание человеческого рода» Лессинг рисует исторический процесс в виде смены трех последовательных эпох. Это детство, которому соответствует древняя библейская история; юность, наступившая с утверждением христианства; и мужество, или зрелость, — времена самого Лессинга. Эти три эпохи были ступенями совершенствования человечества, его приближения к божественному идеалу, выраженному в Священном писании.

Такая же эволюция характерна и для **Фридриха Шиллера** (1759—1805). Молодой Шиллер «поры скитаний» выступал глашатаем идей «бури и натиска» (ранние драмы — «Разбойники», «Заговор Фиеско», «Коварство и любовь»). Ненависть к угнетению, любовь к политической и национальной свободе Шиллер проносит через всю жизнь, они не перестают звучать и в его поздней драме «Вильгельм Телль». Однако к концу 80-х годов (времени переселения в Иену) его юношеские идеалы потускнели. Это особенно ярко проявилось в отношении поэта к вспыхнувшей французской революции. Шиллер приветствовал ее начало, но, когда в 1792 г. ему было предложено звание гражданина французской республики, он от него отказался. Революционные идеалы Шиллера не пошли дальше абстрактного гуманизма.

К иенскому периоду относятся занятия Шиллера историей. Он стал профессором истории Иенского университета, написал «Историю отпадения объединенных Нидерландов от испанского владычества в 1576 г.» (1788), «Историю Тридцатилетней войны» (1791—1793). Здесь уже нет ничего бунтарского. Правда, исторические сюжеты, избранные Шиллером, охватывают события, в которых действуют большие людские массы, притом в чрезвычайно острые периоды истории; к тому же один из них посвящен первой в истории буржуазной революции. Однако идеал Шиллера не революционное свержение деспотизма и установление власти народа, а примирение

противоречий под эгидой просвещенной монархии. Сама же она, в его представлении, — носительница социальной справедливости, политической и духовной свободы. Тридцатилетняя война, имевшая тяжелые последствия для Германии, интересует Шиллера не столько с этой стороны, сколько в качестве трагического фона трагических судеб Густава-Адольфа и Валленштейна.

Свои взгляды Шиллер переносил и на историю человечества в целом. Его «Письма об эстетическом воспитании человека» (1795) говорят о том, что революционный пафос и «титанизм» Шиллера растворялись в гуманизме и эстетике гражданина, не дерзавшего покушаться на немецкие порядки революционным путем. Такое же отношение к революции отразилось и в его специально историческом сочинении «Что мы называем всеобщей историей и для какой цели мы ее изучаем», хотя эта примирительная позиция находилась в резком противоречии с революционно-просветительскими тенденциями в творчестве Шиллера, которые прорывались у него до последней поры его жизни.

Исторические сюжеты занимали в творчестве Шиллера большое место. Об этом красноречиво говорят его драмы, трилогия о Валленштейне, «Дон Карлос», «Мария Стюарт», «Орлеанская дева», «Вильгельм Телль» и неоконченная драма «Дмитрий Самозванец». И в них сказывается противоречивость идей Шиллера — его бунтующая мысль пробует прорваться сквозь смирительную оболочку консервативной мысли, порожденной отсталой немецкой действительностью.

Противоречивый характер носит и концепция мировой истории **И.-Г. Гердера** (1744—1803). Священник по профессии, просветитель по убеждению, Гердер пытался соединить идею бога и просветительскую идею о бесконечном прогрессе человечества. Свидетельство тому — его обширный труд «Идеи к философии истории человечества» (1784—1791). Согласно Гердеру, человечество — часть природы и подвластно ее законам, но сама природа подчинена высшим, божественным законам. Однако человечество, будучи тождественным природе по происхождению, является высшей ступенью развития по сравнению с природой, а доказательством такого превосходства служит культура.

История человечества — это путь неуклонного прогресса. Его дорога ведет к торжеству духа, заложенного в самой природе человека. Вместе с тем это путь приближения человечества к божественным целям, определенным в священном писании, — одно слито с другим. Происходя из единого корня — природы, человечество едино в своем существе, но каждый народ проходит особый путь, имеет свой неповторимый национальный характер.

Впоследствии эта идея выродилась в идею «народного духа», ставшую составной частью реакционных концепций.

Двигателем прогресса, по Гердеру, выступает не сам человек, а в конечном счете божественное начало, лежащее в основе всего сущего, поэтому наука и религия не противоречат друг другу, а дополняют одна другую, являясь вместе свидетельством прогресса.

В то же время Гердер выступает врагом всякого догматизма и церковности. Он противник господства церкви, которая, сковывая развитие человеческого духа, является тормозом прогресса. Таким образом, пришедшая от французских просветителей идея прогресса облеклась у Гердера не только в идеалистическое, но и в религиозное одеяние.

Западноевропейское Просвещение и русская общественная мысль XVIII в.

XVIII век, таким образом, был крупным шагом вперед в развитии исторической мысли в Западной Европе. Это было время, когда теоретическая мысль уже не довольствовалась рационализмом; в области естествознания выступил материализм — «первая система натурфилософии и результат... процесс завершения естественных наук»[9]. В общественном развитии XVIII век — это время, когда назревает и совершается французская буржуазная революция, третья из ранних «классических» буржуазных революций (после Нидерландской XVI в. и Английской XVII в.). Если в области естествознания передовое место в XVIII в занял материализм, то в области общественных наук оно остается за рационализмом. Идеологическая подготовка французской революции проходила под знаком рационализма: «...всё должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего... Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам»[10].

Идея примата разума, несомненно, сыграла революционную роль в историографии XVIII в.: из исторического процесса изгнали бога. Мы видели, с какой страстностью это делали французские просветители. Несмотря на то что последовавшая вскоре волна феодальной реакции вновь внесла представление о божественном вмешательстве в западноевропейскую историографию, идея божественного промысла была сильно дискредитирована в глазах передовых людей XIX в. В то же время идея примата разума таила в себе и крупный изъян: весь исторический процесс оказывался освещенным только с одной стороны, свет разума выхватывал из тьмы веков только то, что было достойно его внимания, история теряла многообразие своих красок. Когда же в эпоху Реставрации против Просвещения выступил реакционный романтизм, его сильным оружием — и это отнюдь не было случайностью — оказался историзм, многостороннее и последовательное освещение исторического процесса, обращенное против однобокости просветительского подхода к истории. Приверженцы принципа историзма не преминули использовать открытую брешь в позиции рационалистов.

[9] *Маркс К., Энгельс Ф.,* Соч. 2-е изд., т. 1, с. 599.
[10] Там же, т. 19, с. 189—190.

Однако суд разума не единственное завоевание исторической мысли в XVIII в. На историю теперь начинают смотреть как на взаимосвязанный процесс всемирного масштаба. Родилась «всеобщая история вместо прежних исторических фрагментов, ограниченных местом и временем»[11]. Уже идеологи Английской революции обращаются к историческим концепциям мировой истории, начиная с первобытности. В XVIII в. эта традиция прочно входит в историографический обиход. При этом историки не только опираются на прочно установившуюся периодизацию всемирно-исторического процесса (на первобытную, древнюю, средневековую и новую историю), но эти периоды стали уже приобретать действительно присущие им черты. Правда, они еще только определились и в более отчетливом виде станут проступать в дальнейшем, но это не умаляет заслуги XVIII века: именно тогда началась разработка специфических особенностей главных этапов всемирной истории. Больше того, каждый из них стал играть собственную роль в понимании современности. Первобытность стала своего рода арсеналом, в котором черпали аргументы для обоснования теории естественного права. Каждый понимал это право по-своему, но для всех первобытная стадия была исходной точкой, и от ее понимания зависело все построение той или иной исторической концепции.

Было отмечено и значение античности. «Восемнадцатый век был возрождением античного духа в противовес христианскому; материализм и республика — философия и политика древнего мира — вновь возродились, и французы, представители античного принципа *внутри* христианства, завладели на некоторое время исторической инициативой»[12]. Речь идет о том, что Французская революция рядилась в античные наряды, считала себя наследницей античных гражданских доблестей, и даже свои имена люди считали за честь брать из античного лексикона: имя Гракха Бабефа наиболее яркое тому свидетельство.

Французы завладели «исторической инициативой» и в трактовке средних веков. В них искали историческую мотивировку своих позиций, с одной стороны, дворянство, с другой — третье сословие: борьба германских и романских начал, наметившись в раннее средневековье, проходила через всю эпоху и получала свое наивысшее выражение в революции. Это была своего рода прелюдия к буржуазной теории классовой борьбы, появившейся в годы Реставрации. Это высшее достижение буржуазной исторической мысли было завоевано во Франции и возникло в виде модификации германо-романской проблемы. Буржуазная теория классовой борьбы, появившись во Франции, оказала в XIX в. влияние на историографию многих стран, в том числе и России.

Что касается нового времени, то, несмотря на неопределенность своей начальной даты, этот период считался временем революций, временем завоеванной свободы и демократии, временем, когда

[11] Там же, т. 1, с. 599.
[12] Там же, с. 599—600.

прогресс человечества начинает наконец ломать феодальные и церковные преграды на своем пути и выходит на широкие просторы будущего. Европейская буржуазия была полна исторического оптимизма.

Таковы достижения исторической мысли в Западной Европе XVIII в. Если сопоставить с ними, то что было в это время в России, в глаза бросится, что по своим масштабам и по своей глубине достижения русской исторической мысли чаще всего не могут быть поставлены рядом с уровнем исторической мысли в крупнейших западноевропейских странах. Но разве это является решающим? Русская историческая мысль прошла свой сложный и самобытный путь, который не был повторением задов западной историографии. Более того, черты отсталости русской исторической мысли этого времени — это еще далеко не вся русская историография — отдельные достижения исторической мысли в России XVIII в. стояли рядом или превосходили уровень западноевропейской исторической мысли.

Как известно, такое общеевропейское явление, как Просвещение XVIII в., захватило и Россию. Оно довольно рано сказалось на дворянской исторической мысли. Поскольку дворянская идеология в России была господствующей, она воспринимала идеи Просвещения в наиболее приемлемой для дворянства форме — в немецкой интерпретации. Главным глашатаем передовых теорий в России в силу этого оказался Самуил Пуфендорф, влияние которого во времена Петра в дворянских кругах было очень значительным. Тогда эти теории ограничивались рамками естественного права и в немецкой интерпретации легко могли быть приспособлены к защите крепостного права, что и делали Феофан Прокопович и Василий Татищев.

Вскоре рамки Просвещения значительно раздвинулись, Просвещение стало всеобщей модой среди российского дворянства и при петербургском дворе, и притом уже во французском обличье. Заказ Вольтеру написать историю России, а затем приглашение в Россию Дидро были свидетельствами этого повального увлечения. Однако французское *буржуазное* Просвещение, попав на русскую почву, оказывалось достоянием просвещенного барина, оно становилось дворянским. Восстание Пугачева и грянувшая вскоре французская революция сразу отбили охоту у русского дворянина к французской моде; впоследствии мода стала жупелом не для одного поколения русского дворянства.

Но дворянство не было единственной общественной силой, которой коснулось французское Просвещение. По-иному отнеслась к французским идеям демократическая интеллигенция России[13], которая вместе с выходцами из дворянства составила антикрепостнический лагерь русского Просвещения. Наиболее известны были С. Е. Десницкий, Я. П. Козельский, Д. С. Аничков, А. Я. Поленов, И. А. Третьяков, и особенно Н. И. Новиков. Антикрепостни-

[13] См.: *Штранге М. М.* Демократическая интеллигенция России в XVIII веке. М., 1965.

ческая интеллигенция немало сделала для пропаганды освободительных идей, не последнюю роль в этом играло распространение идей «Энциклопедии» на русском языке. Некоторые ее представители выходили за рамки Просвещения, признавая путь революционной борьбы с крепостничеством и самодержавием. Движение антикрепостнической интеллигенции захватило не только столицы, но и другие города России. Эти люди приветствовали Французскую революцию, хотя не имели возможности выражать это открыто.

Идейное наследие Радищева явилось вершиной русской революционной мысли XVIII в. Если сравнить его с современниками, французскими просветителями, он не только выдерживает это сравнение, но в известной мере превосходит прославленных деятелей Просвещения. Он не только философ-материалист, он создатель революционно-демократической исторической концепции. Если Вольтер, Монтескье или Кондорсе не шли дальше просвещенной монархии и были противниками революции, то Радищев являлся республиканцем, страстно призывавшим к восстанию против самодержавия. По своим историческим воззрениям он ближе всего стоял к Мабли. Но завсегдатай парижских салонов блестящий аббат Мабли был радикален лишь в теории, в решении же практических вопросов политики — это был великий мастер компромисса. Радищев был непримирим к российским царям. Его не сломила и ссылка, он предпочел умереть, но не капитулировал перед самодержавием. Как теоретик и революционер он как бы соединяет в себе и Мабли и Жана Мелье, оставаясь вместе с тем Радищевым.

Следовательно, в конце XVIII столетия по развитию революционной мысли Россия не только догнала, но и перегнала Западную Европу. А в области исторической мысли? К XVIII в. в России, как и на Западе, окончательно складывается понятие всемирной истории в ее окончательном виде, которое и вошло в мировую историческую мысль. Идея единства всемирно-исторического процесса в России, как и на Западе, жила издавна. Ее истоки прослеживаются еще в «Повести временных лет». Теория «Москва — третий Рим» и теория о происхождении московских царей от Августа имели целью доказать роль России в мировой истории. Бытовавшая в России теория четырех монархий, и особенно ее русский вариант — «Монархий фисическое рассуждение», созданный при Петре, имела ту же цель. Но к XVIII в. был сделан новый шаг вперед: стали более отчетливо проступать составные части мирового исторического процесса: первобытный период, древняя история, средневековье и новое время.

Эта периодизация достаточно отчетливо прослеживается уже у Феофана Прокоповича, получает четкую историческую характеристику с позиций дворянской историографии у Татищева. С тех пор как Татищев средствами истории попытался мотивировать естественное право в первобытном периоде, в русской историографии было окончательно сформулировано четырехчленное деление всемирной истории — первобытное общество, древность, средневековье и Новая история. Достаточно отчетливо определилась и

идеологическая роль каждого из этих периодов в российской действительности.

Позже всех была осознана роль первобытного периода. С легкой руки Татищева он стал служить дворянским идеологам для обоснования крепостничества с точки зрения естественного права. Что касается древней истории (Древний Восток и античность), то она, по понятным причинам, была известна во всей Европе, в том числе и на Руси, с давних пор: это библейская и евангельская история, которая начиная с раннего средневековья все более совлекала с себя мистический покров и становилась светской, гражданской историей. В XVIII в. в России выступал уже такой знаток древней, в особенности античной, истории, как Феофан Прокопович. История средневековья играла не меньшую роль в историографии и в политической жизни русского общества. К средневековью западному Руси пришлось обратиться очень поздно, в XVI в., когда была создана легенда об Августе как родоначальнике московских царей. И наконец, четко обозначилась Новая история. Для русских книжников она начиналась с Петра. Именно с этого рубежа для них начался крутой поворот к новому периоду во всех сторонах русской жизни. При этом поворот этот шел в сторону Запада.

Но установившаяся в русской историографии окончательная периодизация мировой истории сочеталась с дворянской интерпретацией истории, далеко не передовой, в европейской историографии. Другой интерпретации русская историческая мысль к этому времени не создала. К тому же концепция мировой истории Татищева еще не опиралась на западноевропейские источники. В этом направлении были сделаны только некоторые шаги.

Другое осмысление истории принадлежит Ломоносову. Его историческая концепция по своему главному замыслу имела целью освещение не частных вопросов, а исторической судьбы огромных народных масс, судьбы всего славянского племени. Решалась эта проблема с прогрессивных позиций, а опирался ученый на огромную массу западных, главным образом античных, источников. Рядом с дворянской исторической наукой народилась русская прогрессивная, демократическая историческая наука, которая и по своей методологии и по источниковой базе стояла выше дворянской. Западная историография в лице Шлецера признала, что благодаря Ломоносову русская историческая наука достигла уровня западноевропейской историографии.

Но вершиной русской исторической мысли в методологическом отношении была историческая концепция революционера А. Н. Радищева. Для него основным содержанием мирового исторического процесса была борьба народа за свободу против его притеснителей. Эта борьба справедлива, ибо речь идет о возвращении отнятого у народа достояния. В первобытном состоянии человек жил в обстановке равенства, свободы и независимости. Но, будучи беспомощным перед природой, люди образовали общество, чтобы умножить свои силы. Однако с ростом земледелия и торговли выросло социальное неравенство и рядом с ним возникло неравен-

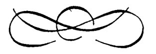
ство политическое: государство, созданное людьми для своего благоденствия, обернулось против них, оно оказалось в руках имущих.

Следующая ступень — античность. Народоправство древней Греции сменилось абсолютизмом Александра Македонского, а народоправство римлян — деспотизмом императоров. В социальной сфере — это время рабства. Тяжесть рабства и политического гнета усугублялась религией — сначала языческой, потом христианской. С падением Рима наступили средние века. Крепостничество, господство дворянства и католицизма — характерные черты этого периода. Историческая задача крестьянства — свержение дворянской власти при помощи восстания и установление народоправства. Поэтому Новая история должна начаться с тех пор, когда народ вернет свои права. Из этого корня вырастал интерес Радищева к событиям, с которыми он связывал осуществление народных чаяний, — к Английской революции, войне североамериканских колоний за независимость и Французской революции. Однако ни одно из этих освободительных движений не принесло народу освобождения. Чаяния Радищева шли гораздо дальше задач, за которые тогда вела борьбу западноевропейская буржуазия.

Такова революционная историческая концепция, до которой поднялась русская историческая мысль XVIII в.

Глава III

ФРАНЦУЗСКИЕ СОВРЕМЕННИКИ О РОССИИ XVIII В.



Допетровская Россия в оценке французских авторов

На протяжении средневековья Франция не играла существенной роли во внешних отношениях Руси. С тех пор как дочь Ярослава Мудрого стала женой французского короля Генриха I, трудно назвать сколько-нибудь значительное событие в жизни Франции, которое оставило бы глубокий след в русской истории феодальной эпохи. Не оставили такого следа и французские авторы, писавшие о тогдашней России.

Известный перелом наступил в XVII в. На роль этого столетия во взаимном знакомстве русских и западноевропейцев уже давно обращалось внимание в историографии [1]. Среди иностранцев, оказавшихся в России в связи с интервенцией начала XVII в., а также среди наемников бывали и французы. Один из них, Жак Маржерет, в 1607 г. написал книгу воспоминаний о России. Книга ценна личными наблюдениями автора [2]. События в России, связанные с крестьянской войной и иностранной военной интервенцией начала XVII в., имели еще один отзвук во Франции: мы находим его в сочинении известного политического деятеля и историка Жака-Огюстена де Ту [3].

Следующим из французских авторов, писавших о России и заслуживающих внимания, надо назвать де ла Невилля с его «Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. . .» (1689). Де ла Невилль — это псевдоним французского агента, посланного Людовиком XIV в Россию для оценки ее внутреннего положения в неспокойное время

---

[1] *Galitzine E. M.* La Russie du XVII siécle dans ses rapports avec l'Europe occidentale. Paris, 1855. О последующем времени см.: *Pengeau L.* Les Français en Russie et les Russes en France. Paris, 1886; *П. П.* Французы в России. — Исторический вестник, 1886, окт., с. 173—208.

[2] Подробнее см.: *Алпатов М. А.* Русская историческая мысль и Западная Европа. XVII—первая четверть XVIII в. М., 1976, с. 28—35.

[3] *Алпатов М. А.* Указ. соч., с. 91—97; *Устрялов Н.* Сказания современников о Димитрии Самозванце. СПб., 1859, ч. 1; О Ж.-О. де Ту имеется специальная работа: *Kinser S.* The Works of Jacques-Auguste de Thou. The Hague, 1966.

правления царевны Софьи, а также для сбора сведений о переговорах России со Швецией и Бранденбургом. Агент (его имя так и осталось неизвестным) находился в Москве в 1689 г., в течение пяти месяцев, под видом польского посла. Об этой миссии он рассказал в посвящении своих записок Людовику XIV [4].

В мемуарах Невилля, как это нередко случалось и в трудах других иностранцев, немало домыслов и небылиц, но в целом его произведение вполне добротный документ для характеристики сложной политической ситуации в России описываемого автором времени. Источники Невилля — это прежде всего его собственные наблюдения; кроме того, он встречался с В. В. Голицыным, со ставшим впоследствии петровским дипломатом А. А. Матвеевым, Е. И. Украинцевым, с генералом Менезиусом, со Спафарием. Невилль близко общался также с польскими послами — их сведения он использовал главным образом для описания походов В. В. Голицына против Крыма. Польские послы заинтересованно следили за судьбой этих предприятий.

Некоторые материалы, собранные Невиллем, имеют прямое отношение к теме «Россия и Запад». К ним в первую очередь относятся наблюдения автора над торговлей. «В предместьях Москвы живет в настоящее время более тысячи купцов английских, голландских, фламандских, гамбургских и итальянских. Они торгуют русскою кожей и кавьяром, или осетровою икрою. . . Товар этот особенно находит себе потребление во время трех постов. . . Англичане и голландцы меняют москвитянам свои сукна и пряности на хлеб, пеньку, смолу, поташ (для краски) и золу. Фламандцы и гамбуржцы покупают у них воск и железо. Корабли этих народов приходят в Архангельск в июле и отплывают оттуда в сентябре; оставаясь долее, они рискуют погибнуть в море. . . Торговля эта очень значительна, хотя в год приходит в Архангельск не более тридцати кораблей. Прежде персиане возили свои товары на Архангельск, но Голицын разрешил им возить их прямым путем на Ригу. . .» [5] Упоминание о Риге очень важно: оно показывает, что в предпетровское время торговля России с Западом начинает прокладывать себе новую дорогу через Прибалтику наряду с трудной и неудобной — через Архангельск; после войн Ивана Грозного стала вырисовываться перспектива неизбежной борьбы за выход в Балтийское море.

Невилль обратил внимание на то, что у России есть удобный выход для торговли не только на Западе, но и на Востоке — через Сибирь. Для Запада это имеет огромное значение. Если сделать сибирский путь проезжим, то он «может нанести значительный вред голландской торговле через мыс Доброй Надежды, Батавию, Малакку и другие места на востоке, которые голландцы отняли у португальцев и англичан». Не подлежит сомнению, что

---

[4] Записки де ла Невилля о Московии 1689 г. — Русская старина, 1891, сент., с. 419—450; нояб., с. 241—281.

[5] Русская старина, 1891, нояб.,с. 275—276.

«удобство и безопасность сообщения по сухому пути, раз навсегда уже установленному, заставит всех иностранных купцов предпочесть именно его, чем видеть себя подверженными ежедневно бурям, неудобствам, болезням и всякого рода случайностям морского пути — не говоря уже о годах, которые нужно употребить на такое путешествие» [6].

Данные, сообщаемые Невиллем, позволяют сделать вывод, что политика Петра, направленная на сближение России с Западом, родилась впоследствии отнюдь не на пустом месте: прямым предшественником Петра в этом отношении был В. В. Голицын, выступавший представителем крупного общественного движения — формирования западнического течения внутри самого боярства. Наиболее типичным явлением в этом плане автор признает самого В. В. Голицына. Он «бесспорно, один из искуснейших людей, какие когда-либо были в Московии, которую он хотел поднять до уровня остальных держав. Он хорошо говорит по-латыни и весьма любит беседу с иностранцами. . . Не уважая знатных людей по причине их невежества, он чтит только достоинства. . .» [7] Это сказалось на политике Голицына. Он опирается не на знатных, а на деловых людей — независимо от их происхождения. Бояре, находившиеся в управлении, «были заменены людьми простыми, так как князь Голицын желал иметь подчиненных, а не товарищей» [8].

Голицын был не один. Андрей Артамонович Матвеев — человек «молодой, но весьма умен, говорит хорошо по-латыни, любит читать, слушает с удовольствием рассказы об Европе и питает особое расположение к иностранцам» [9]. Племянник князя Я. Ф. Долгорукого отправлен во Францию учиться французскому языку [10]. Двоюродный брат В. В. Голицына, М. А. Голицын, воевода белгородский, «так любил иностранцев, что когда отправился во вверенную ему область, то взял многих с собой, и между прочим француза, который обучал его французскому языку» [11].

Существен здесь не тот факт, что имелись отдельные западники, важны попытки использовать опыт Запада в интересах России. Больше всех в этом отношении делал все тот же В. В. Голицын. Он «построил огромное прекрасное каменное здание для коллегиума, вызвал из Греции 20 ученых и выписал много книг; он убеждал дворян отдавать детей своих учиться в это заведение, разрешил им посылать детей в латинские училища в Польшу, другим же советовал нанимать для детей польских гувернеров; иностранцам он разрешил свободный въезд и выезд из Московии, что до него не было в обычае. Он желал также, чтобы дворяне путешествовали за границу для изучения военного искусства в иностранных государствах. . . Он думал также содержать постоянные посольства при главнейших

---

[6] Там же, с. 279—280.
[7] Там же, сент., с. 441.
[8] Там же, с. 442.
[9] Там же, с. 435.
[10] Там же, с. 443.
[11] Там же, с. 445.

европейских дворах и дать полную свободу вероисповеданиям в Московии»[12].

Завершая свой рассказ о В. В. Голицыне, Невилль пишет, что планы этого государственного деятеля России простирались вплоть до реформы крепостного права, касавшегося государственных крестьян. «Намерением Голицына было поставить Московию на одну ступень с другими государствами. Он собрал точные сведения о состоянии европейских держав и их управлений и хотел начать с освобождения крестьян, предоставив им земли, которые они в настоящее время обрабатывают в пользу царя, с тем чтобы они платили ежегодный налог. По его вычислению, налог этот увеличил бы ежегодную доходность земель этих государей более чем вдвое. . .» Словом, он пытается сделать русский народ «трудолюбивым и промышленным»[13].

Невиллю оставалось только пожалеть, что деятельность Голицына не будет иметь продолжения, ибо он был уверен, что пришедший к власти Петр «не отличается никакими достоинствами, кроме жестокости»[14]. Автор, как видим, глубоко ошибся в оценке царя — и как раз в том, за что он больше всего ценил русских деятелей.

Мемуары Моро де Бразье

При Петре I приток французов в Россию заметно возрастает. Можно говорить о целом потоке гугенотов, хлынувшем сюда после отмены Нантского эдикта Людовиком XIV (1685 г.). Во Франции начались тогда новые преследования гугенотов, а это вызвало очередную волну их эмиграции в другие страны. Особенно много гугенотов поселилось в Голландии, где существовала свобода вероисповедания, но гонимые уезжали и в Англию, и в Германию, и в Польшу, и в Россию. В некоторых странах гугенотские колонии сохранились до нашего времени. Была такая колония и на Волге, но она довольно скоро растворилась в русском населении. Французы появились также в Петербурге, о чем свидетельствует французская церковь в тогдашней русской столице.

Многие гугеноты, связанные с ремеслом и торговлей, в России учредили мануфактуры. В связи со вторым путешествием Петра за границу в Россию усилился приток мастеровых людей и офицеров. Сохранились имена инженеров: де Коланж, Кулон, Лепино, Ламбер. Последний известен более других; он участвовал в Северной войне — был участником осады Нотебурга, командовал осадой Ниеншанца, помогал Петру выбирать место для Петербурга, составил план Петропавловской крепости, вербовал для России военных инженеров. Среди преподавателей Морского корпуса был Сент-Илер; французы имелись и во флоте. Вольтер в своей «Истории Российской империи при Петре Великом», ссылаясь на свидетельство

[12] Там же, нояб. с. 265—266.
[13] Там же, с. 276.
[14] Там же, с. 265.

Лефорта, утверждает, что несколько тысяч гугенотов служило в русской армии. В летописях петровских походов встречаются имена военачальников-французов: де Бразье, Вильнёв-Тротт, Кайо. Архитектор Леблон был строителем Петергофа.

Полковник, затем получивший от Петра чин бригадира, Моро де Бразье (в другой транскрипции Бразе, Brasey), участник Прутского похода, наряду с прочими своими произведениями оставил «Memoires de la guerre du Turc et du Russe» (1713). Записками Бразье заинтересовался А. С. Пушкин: он опубликовал в «Современнике» [15] перевод той части записок, которая касается Прутского похода, снабдив публикацию собственным предисловием и примечаниями. Поэт выступил в данном случае взыскательным историком. Записки Бразье — произведение военного человека о военном походе, но некоторые сообщения автора имеют отношение и к занимающему нас сюжету. Все повествование Бразье выдержано в тонах резкой неприязни к русской части командного состава армии, а отчасти и к самому Петру. Вот как рисует автор одно очень важное заседание высших чинов в Прутском походе: «Совет, собранный его величеством на берегу Днепра... составляли: великий канцлер граф Головкин, барон Шафиров и господин Савва (Рагузинский)... генерал Рене, князь Репнин, Адам Вейде, князь Долгорукий и Брюс... Они составляли партию русских. Партию немцев составляли генералы: барон Галларт и барон Денсберг и лейтенант-генералы барон Остен и Беркгольц. Это разделение на две партии в России признано всеми» [16]. Между ними то и дело происходили столкновения [17]; симпатии автора неизменно не на стороне русской партии, которую возглавлял сам царь и главнокомандующий Б. П. Шереметев и за которую выступали также многие иностранцы. Пушкин сделал по этому поводу следующее ироническое примечание: «Благодарим нашего автора за драгоценное показание. Нам приятно видеть удостоверение даже от иностранца, что Петр Великий и фельдмаршал Шереметев принадлежали партии Русской» [18]. Такое примечание появилось не случайно. Во времена Пушкина находились в разгаре споры об оценке Петра, начавшиеся еще в конце XVIII в. Консервативные авторы (М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин, а позже славянофилы) пытались доказывать, что Петр перегнул палку в сторону иностранщины, в ущерб русским интересам. Тезис о том, что Петр I принадлежал к *русской* партии, Пушкин явно обращал против подобной концепции.

Несмотря на свои антирусские настроения, Бразье не раз признает, что русские войска дрались храбро — примером тому был сам Петр. «Могу засвидетельствовать, что царь не более себя берег, как и храбрейший из его воинов. Он переносился повсюду, говорил с генералами, офицерами и рядовыми нежно и дружелюбно...

---

[15] Записки бригадира Моро де Бразе. — Современник, 1837, № 2, с. 218—300 (том вышел уже после гибели Пушкина).
[16] Там же, с. 237.
[17] Там же, с. 271, 277.
[18] Там же, с. 248.

часто их расспрашивая о том, что происходило на их постах»[19]. Заслуживает внимания рассказ Бразье о том, что в русской армии сражались венгры из армии Ракоци (после поражения в войне с Габсбургами). В одном из боев во время Прутского похода тринадцать таких храбрецов врезались в гущу неприятеля и все погибли[20].

Бразье не упускал из виду европейский аспект Прутского похода. От исхода этой кампании зависела судьба Северной войны. Во время похода, 27 июня, в русской армии отмечали вторую годовщину Полтавской виктории; «придворный священник целых полтора часа говорил проповедь, им сочиненную на случай этого счастливого дня». Бразье не называет имени этого «придворного священника» — им был Феофан Прокопович. Француз отдает себе отчет в значении Полтавы для Карла XII: «Вся Европа видела конец несчастного похода и падение короля, дотоле непобедимого. . . Это удивительное поражение изменило все его дела не только в Польше, но и в собственном его государстве»[21]. Карл XII был тут же, рядом, он следил за судьбой Прутского похода. Едва только был заключен мир и русская армия отошла, шведский король, переправившись через Прут на челноке, сделанном из выдолбленного пня, прискакал в лагерь великого визиря и между прочим сказал ему, что «если один из его генералов вздумал бы только заключить такой мир, то он отрубил бы ему голову, и что ему, визирю, должно того же самого ожидать от султана»[22]. Пророчество Карла XII оправдалось — Баталджи-паше пришлось расстаться с головой.

При Бироне началось засилье немцев, главным образом прибалтийских. Из известных в России французов того времени следует указать на братьев Делиль. Луи Делиль был на русской морской службе; Жозеф-Николай Делиль — известный астроном, был приглашен в период создания Петербургской Академии наук на должность директора обсерватории и занимал эту должность в течение 22 лет. В русской астрономической науке своего времени Ж.-Н. Делиль оставил заметный след, он сыграл большую роль в развитии картографии, был одним из составителей российского географического атласа (1745 г.). Известен и другой француз — католический священник Жюбе де ла Кур, пользовавшийся покровительством русской католички Ирины Долгоруковой. Он пытался мирить русскую церковь с папским престолом, за что и был выслан из России.

При Елизавете Петровне французы начинают оказывать влияние на государственную политику страны. Большую роль в этом сыграл врач Иоганн-Герман Лесток — внук гугенота-эмигранта. При Екатерине I он становится лейб-медиком; при Анне Леопольдовне примыкает к кругам, которые ставят своей целью возвести на престол Елизавету Петровну. Сторонником Елизаветы был и французский посол в Петербурге Шетарди.

[19] Там же, с. 277.
[20] Там же, с. 257.
[21] Там же, с. 228.
[22] Там же, с. 292.

Маркиз де ла Шетарди и его донесения из Петербурга

Во времена Анны Иоанновны отношения между Россией и Францией были весьма напряженными. Тянулась полоса русско-турецких конфликтов. Австрия была союзницей России, Франция — Турции. Кроме того, Франция поддерживала против России Швецию и Польшу; в Швеции, после победы над ней Петра I, мечтали о реванше, а в Польше в противовес России Франция делала ставку на Станислава Лещинского — зятя Людовика XV. О характере отношений между Россией и Францией говорит уже тот факт, что между ними в это время не было регулярных дипломатических отношений.

Вместе с тем, однако, действовали и факторы, благоприятствовавшие сближению обеих стран. Россия нуждалась во Франции как посреднике в поисках мира с Турцией, Франция заинтересована была в том, чтобы иметь Россию на своей стороне как крупную европейскую силу: в интересы Франции не входило, чтобы крепли русско-английские связи. В конце царствования Анны Иоанновны (1739 г.) державы склонились к примирению: в Париж выехал русский посол Антиох Кантемир, в Петербург — сначала Бонак д'Алион, а вслед за ним маркиз де ла Шетарди.

Донесениям Шетарди очень повезло: их обнаружил в архиве французского министерства иностранных дел А. И. Тургенев (брат декабриста Н. И. Тургенева), который издал этот материал в своей коллекции иностранных источников о России — «Historiae Russiae Monumenta. . .» Отсюда их извлек П. Пекарский и издал на русском языке под названием «Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов» (1862 г.). Это не было простое переиздание: тем донесениям Шетарди, в которых есть неточные сведения или по сюжетам которых существуют разные точки зрения, Пекарский присовокупил параллельные тексты из других сочинений об этом времени, что позволяет лучше судить об исторических показаниях французского дипломата.

Задачи Шетарди как посла Франции были четко определены при его выезде в Россию. Ключом к решению всех проблем французской политики считалось возведение на престол дочери Петра I Елизаветы. Чего ждала Франция от этого события? Во-первых, Елизавета, ставленница «русской партии», покончит с засильем немцев, а следовательно, с влиянием Австрии — врага Франции. Во-вторых, французы исходили из убеждения, что Елизавета — приверженец старины; можно было ожидать, что дело пойдет к отмене петровских преобразований, Россия возвратится к своим «истинным началам», что ослабит ее и облегчит Франции задачу влиять на русскую политику. Мысль о возможности возврата России к старине типична для Западной Европы как в петровское, так и в послепетровское время. Мысль эта основывалась на том, что среди русской знати было достаточно людей, которые — так думал сам Шетарди — «только и мечтают о Москве и считают себя как бы

иностранцами в Петербурге». В-третьих, во Франции рассчитывали, что Елизавета согласится вернуть Швеции, французскому союзнику, территории, добытые Россией в Великой Северной войне, в обмен на шведскую помощь в борьбе за престол. Возможность воцарения Елизаветы считалась вполне вероятной, так как было известно, что большая часть русской гвардии стояла за дочь Петра. Ожидалось, что после смерти Анны Иоанновны в России вновь начнутся дворцовые перевороты.

Таковы были задачи, ставившиеся французской дипломатией. А как рисовалось, по ее данным, положение в самой России в годы бироновщины? Ранее во французском министерстве иностранных дел полагали, что «последующие три царствования употребили все усилия, чтобы уничтожить даже следы основанных Петром учреждений: морские силы совершенно уничтожены, мануфактуры в упадке, искусства и науки в небрежении, кредит потрясенный, казна истощенная. . . Правда, Россия всегда вела войны со времен Петра I, но не война истощила государство, так как деньги, которыми снабжает царица армию, опять скоро к ней возвращаются. . . через кабаки — государство истощено роскошью, введенною при дворе, дурным управлением министерств, переводом за границу сумм, которые делали и делают иностранцы и даже высшее дворянство, наконец, бесплодная распущенность, тщеславие и суетность разоряют государство» [23]. Словом, от уровня, на который ее поднял Петр, Россия двигалась вспять.

Было удивительно, что великий народ «допускает управлять собою первому встречному. Немцы (если можно так назвать сборище датчан, пруссаков, вестфальцев, голштинцев, ливонцев и курляндцев) были этими первыми встречными» [24] Россия стала обетованной землей для иноземной военщины, на русскую службу стекались немецкие офицеры, знатоки прусского военного артикула. Когда Шетарди ближе познакомился со страной, он прибавил к этому и собственное наблюдение: в России назревает «тайное волнение, возбужденное всеобщим и справедливым недовольством народа против настоящего владычества иноземцев» [25].

Страна стонет под гнетом крепостного права. «Так как вся прибыль от труда московского крестьянина целиком принадлежит его господину, который оставляет ему только то, что он кое-как может просуществовать с семейством, то неудивительно поэтому, что в этом народе так мало развита промышленность и он так терпеливо сносит нищету. Все это неизбежно влияет на могущество России, которая менее всех европейских держав имеет собственных средств» [26]. Страна пустеет. «Деньги чрезвычайно редки в России. Большая часть полей остается наобработанными по 5

[23] Маркиз де ла Шетарди в России 1740—1742 годов. Перевод рукописных депеш французского посольства в Петербурге / Изд. с примеч. и доп. П. Пекарский. СПб., 1862, с. 24.
[24] Там же, с. 15.
[25] Там же, с. 94.
[26] Там же, с. 79—80.

и 6 лет. Жители пограничных областей спасаются к соседям; в особенности Украина ныне почти совершенно пуста»[27]. От этого и сами дворяне терпели убытки, а из-за прусской муштры даже они не хотели служить в армии[28].

Таковы, по выкладкам Шетарди, слабости России. Однако его интересовало и другое: чем же она сильна? Во-первых, «армия очень многочисленная, содержится хорошо и стоит гораздо дешевле, чем всякой иной державе; она снабжена прекрасной артиллерией, хорошо устроенною; треть офицеров из иноземцев»[29]. Во-вторых, у России есть богатые людские резервы: «огромное протяжение страны. . . доставляло до сих пор людей, способных носить оружие, и они найдутся всегда». В-третьих, если Россия не может выставить много больших кораблей, то «она может многого ожидать от хорошего состояния своих галер. . . чтобы беспокоить неприятеля. . . и распространять смятение и ужас по берегам и даже по прилегающим к ним территориям». При этом если в других странах гребцами на галерах ставят каторжников, то Петр I сделал службу гребца на галере почетной в русском флоте. Даже гвардейцы, когда их воинскую часть перевозят на галере, не считают для себя зазорным садиться на весла. А галера высаживает на берег до 500 человек[30]. И наконец, была еще одна причина силы России, очень важная, по мнению Шетарди: несмотря на дворцовые перевороты, центральная власть в стране остается прочной; люди меняются, деспотизм остается, «следовательно, с этой стороны, если не хочешь увлекаться химерами, нет никакой надежды».

Что же касается событий внешнеполитических, то из них приходилось учитывать одно: Швеция готовилась объявить войну России; она собиралась это сделать под прикрытием фальшивой заботы о борьбе с немецким засильем в русском государстве. В действительности же имелось в виду возвратить территории, потерянные в Северной войне. Шетарди решал этот вопрос для себя совершенно четко: «Россия не имеет и не может иметь честолюбивых замыслов касательно Швеции»[31]. Первыми в драку полезут шведы, а в их победу он решительно не верил. Россия сейчас сильнее Швеции; к тому же война русским обойдется и легче и дешевле.

Такова была ориентация Шетарди в обстановке, куда он попал, став французским послом в Петербурге. Он начинает внимательно анализировать события. Это был последний год бироновщины, дело шло к смерти Анны Иоанновны, вновь возникал вопрос, кто встанет у власти после нее, снова замаячила возможность дворцового переворота. Шетарди хорошо понимал, что предстояла новая схватка немецкой и русской партий. Русские полагали, что Бирон «унизил их государыню в глазах целой Европы и что он покрывает ее

[27] Там же, с. 53.
[28] Там же, с. 30.
[29] Там же, с. 95.
[30] Там же, с. 95—96.
[31] Там же, с. 98.

вечным стыдом, который она уносит с собой в могилу». Они попытаются теперь взять реванш, но немцы решительно отбивают эти попытки. «Меня уверили, что. . . учредили совет регентства, составленный исключительно из русских; но царица, чтобы не ограничивать милости, оказанной ею герцогу курляндскому, предоставила ему право и свободу созывать совет только тогда, когда ему будет угодно» [32].

Анна Иоанновна умерла 17 октября 1740 г. Из схватки, последовавшей за этим, победителем вышел Бирон: он стал регентом при царе-младенце Иване Антоновиче. Казалось, наступила кульминация бироновской эпопеи. Бирон стал бесконтрольным правителем России, полновластным распорядителем ее казны, его личные доходы намного превышали доходы родителей царя, Анны Леопольдовны и Антона Ульриха Брауншвейгского, и принцессы Елизаветы (вместе взятых). Однако в стране сразу же создалось напряженное положение. Народ начал собираться толпами, против него пустили в ход войска. «Кабаки, закрытые в продолжение многих дней, открыты. Шпионы, которых там держат, хватают и уводят в темницу всех, кто, забывшись или в опьянении, осмелится произнести хоть малейший намек». Драгуны «совершают по ночам постоянные разъезды; прочие же войска, пришедшие и ожидаемые, назначены к занятию постов по разным частям города в близком расстоянии друг от друга, чтобы можно было оказать при случае взаимную помощь» [33]. В церквах молились сразу за четырех — за царя, его мать Анну, принцессу Елизавету и Бирона. В самой гвардии зрели заговоры против Бирона.

Становилось ясным, что это какое-то промежуточное состояние, из которого возможны два выхода: или Бирон станет царем и подавит недовольство вооруженной рукой, или его свергнут. Какая перспектива наиболее вероятна? И тут Шетарди серьезно ошибся в своих первоначальных расчетах. Он был убежден, что Бирон «в продолжение года сумеет удержаться на занимаемом им ныне месте; я, не колеблясь, думаю, что его увидят вступившим на русский престол и утвердившим на нем свое потомство» [34].

Шетарди не понял весьма существенного: Бирон был слишком одиозной, скомпрометированной фигурой, на которую не делала теперь ставку даже немецкая партия. Он держался только «по инерции», его регентство длилось немногим больше двадцати дней, и весь вопрос состоял в том, кто его свергнет — русские или сами немцы?

В данный момент более организованной была немецкая партия. У нее оказался решительный вождь — фельдмаршал Миних, в руках которого находилась гвардия — орудие дворцовых переворотов. В ночь на 9 ноября 1740 г. Миних сверг Бирона, и Шетарди, предавшись было сперва глубокомысленным рассуждениям о возможности воцарения Бирона в России, должен был теперь подробно описывать

---

[32] Там же, с. 117.
[33] Там же, с. 148—149.
[34] Там же, с. 138.

свержение принца курляндского. Регентство при Иване Антоновиче перешло, как известно, к его матери Анне Леопольдовне. Произошла смена регентов, но у власти продолжала оставаться все та же немецкая партия. Шетарди не заблуждался на этот счет. Также не заблуждайтесь и вы, писал он своему министерству, «правительница, принц брауншвейгский, равно как и граф Остерман, чувствуют, что они здесь иноземцы...» [35]. Регентша — правительница России не стеснялась ругать придворных не из немцев «русскими каналиями» [36].

Наступило недолгое правление Анны Леопольдовны: все понимали, что оно может оказаться всего лишь коротким антрактом перед очередным дворцовым переворотом. Был известен и очередной претендент — Елизавета. Главная задача, поставленная Францией перед Шетарди, приобрела характер непосредственной реальности. Французский посол развил бурную деятельность, установил тесные контакты с Елизаветой: переговоры с ней велись им самим, но главным образом ее лейб-лекарем французом Лестоком. Начались дни, полные тревог и опасений. Лесток постоянно «выказывал беспокойство, которым он был объят; каждый предмет усугублял его ужасы; при малейшем шуме на улице он кидался к окну и считал себя уже погибшим. Достаточно было ему прийти к Нолькену (шведский посол), чтобы быть арестованным по входе от него; по дошедшим до него слухам, и принцесса (Елизавета) никогда не была так вынуждена к чрезвычайной осторожности, потому что должна опасаться ни более ни менее как яда или какого-нибудь насилия против ее особы» [37].

Шетарди старался убедить Елизавету, что только помощь Франции и ее союзницы Швеции может обеспечить ей успех. Что касается Франции, то Шетарди не скупился на обещания денежной помощи для нужд переворота; в отношении же Швеции речь шла о войне, которую шведы, по уверению французского дипломата, начнут во имя того, чтобы водворить Елизавету на русский престол. Развивая эти идеи, Шетарди изо всех сил старался добиться от Елизаветы письменных обязательств в пользу Швеции. Заготовленный документ об этом шведский посол Нолькен постоянно держал в кармане и пытался подсунуть его Елизавете для подписи. Вскоре шведы, как известно, начали такую войну.

Елизавета вела себя крайне осторожно. Она не верила никаким обещаниям шведов. Шетарди было объявлено, что шведскому послу «не следовало бы наобещать столько моим приверженцам... лучше сдержать то, что им обещал» [38]. Еще более Елизавета дала это почувствовать во фразе, оброненной в этой же беседе с Шетарди: «Некоторые думают, что Швеция прикрывает моими свои собственные интересы» [39]. Через Лестока Елизавета старалась урезонить

[35] Там же, с. 243.
[36] Там же, с. 291.
[37] Там же, с. 253—254.
[38] Там же, с. 332.
[39] Там же, с. 333.

Шетарди, говоря, что она, «как дочь Петра I, вынуждена к величайшей осторожности относительно завоеваний — трудов ее отца, столько ему стоивших»[40]. В ответ посол, «ничтоже сумняшеся», стал доказывать, что все свои завоевания в Северной войне Петр I и сам... собирался возвратить шведам. Как известно, планы шведов простирались вплоть до присоединения всей Прибалтики и всех территорий к северо-востоку, включая Петербург, Кронштадт и Шлиссельбург. России по этому замыслу, запрещалось иметь суда на Балтийском море. Под разными предлогами Елизавета не подписывала никаких обязательств.

Не прекращая переговоров с Шетарди и Нолькеном, она рассчитывала добыть престол без содействия иноземцев. К тому были все основания: на ее стороне была сила, при помощи которой совершались дворцовые перевороты, — гвардия. Хорошо знавший обстановку фельдмаршал Миних оставил существенные показания на этот счет. «Елизавета Петровна воспитывалась всегда окруженная офицерами и гвардейскими солдатами, и в правление Бирона, а потом принцессы Анны, она ужасно заботилась обо всем, что имело отношение к гвардии. Не проходило почти ни одного дня, чтобы она не крестила ребенка... и не угощала изобильно отцов и матерей или же не оказывала бы какой-нибудь милости гвардейским солдатам, которые и не называли ее иначе как матушкой. Таким-то образом составилась у нее в гвардии значительная партия, и нетрудно было воспользоваться ею, чтобы достигнуть трона, тем более что недалеко от преображенских казарм находился дом Елизаветы — «Смольный», где она иногда проводила целые ночи среди гвардейцев»[41].

Свидетельство Миниха стало хрестоматийным. Несколько неожиданно его утверждение, что правительница Анна знала об этом, но считала все пустяками, не стоящими внимания. На это показание Миниха едва ли можно целиком полагаться. Верно, что Анна Леопольдовна отличалась беспечностью, но известно и другое: за Елизаветой следила вся немецкая партия. Уже в начале царствования Анны Иоанновны за ней была установлена строжайшая слежка, а поручено это было не кому иному, как самому же Миниху. При Анне Леопольдовне слежка ничуть не стала меньшей. Переговоры Елизаветы с представителями Франции и Швеции вовсе не были тайной для двора. Подумывали и об отправке Елизаветы в монастырь, об аресте Лестока и т. д.

Отдавала себе правительница полный отчет и в значении гвардии. Анна Леопольдовна чрезвычайно хлопотала, чтобы обеспечить свой трон от претендентов: она приняла к тому немало мер. Ее в первую очередь беспокоил вопрос о том, в чьих руках будет гвардия. Руководивший свержением Бирона Миних вскоре сам получил отставку: Анна Леопольдовна опасалась, что при помощи гвардии

---

[40] Там же, с. 244.
[41] Записки фельдмаршала графа Миниха/ Под ред. С. Н. Шубинского. — В кн.: Записки иностранцев о России в XVIII столетии. СПб., 1874, т. 2, с. 81—82.

он с таким же успехом сможет возвести на престол Елизавету, если ему это станет нужным.

Тесная связь Елизаветы с гвардией не могла не тревожить двор, тем более что там было известно все, что происходило в гвардейских казармах, где шла лихорадочная подготовка к перевороту. И Шетарди и Нолькен были в курсе дела и информировали свои правительства. При этом и французы и шведы не торопились с переворотом, они ждали, когда шведские войска подойдут к Петербургу, чтобы можно было объявить переворот делом шведской помощи. Однако гвардия стала торопить Елизавету, долгая затяжка могла поставить зревшие там замыслы под удар. Шетарди сообщал в Париж: «Человек, который служит Нолькену. . . приходил сказать ему, что гвардейские офицеры выходят из терпения, не слыша ничего, и возложили на него выразить принцессе Елизавете, что ее молчание тем более удивляет их, что ей следует разъяснить им, как могут они хорошо служить ей» [42—43]. Гвардейцы были встревожены слухами о замужестве Елизаветы и настаивали, чтобы она не выходила замуж по указке двора.

Тревога сторонников Елизаветы стала возрастать: при русском дворе усилилась роль фаворита Анны Леопольдовны иностранца Линара. Это почувствовала сама Елизавета, которая «горько жаловалась. . . на высокомерный тон, который уже принял Линар, и на непристойные поступки с ней» [44]. Напряженность нарастала, но о победном продвижении шведских войск к Петербургу не было слышно. Над французской и шведской дипломатией нависла угроза, что переворот произойдет без ее участия, а это лишало переворот того смысла, который ею в него вкладывался. Чтобы создать хотя бы видимость собственного участия в перевороте, Шетарди и его шведские союзники стали хлопотать о том, чтобы перевести на русский язык и в нужный момент пустить в ход шведский манифест о войне против России якобы во имя ее освобождения от чужеземного ига. Задача шведского короля состоит в том, говорилось в манифесте, чтобы «избавить достохвальную русскую нацию, для ее же собственной безопасности, от тяжелого чужеземного притеснения и бесчеловечной тирании и предоставить свободное избрание законного и справедливого правительства, под управлением которого русская нация могла бы безопасно пользоваться жизнию и имуществом, а со шведами сохранять доброе соседство. Этого достигнуть будет невозможно до тех пор, пока чужеземцы по своему произволу и из собственных видов будут свободно и жестоко господствовать над верными русскими подданными и их соседями союзниками» [45]. При помощи этого документа французы и шведы спешили связать руки Елизавете. В действительности же все обошлось без «союзников».

[42—43] Маркиз де ла Шетарди в России., с. 260—261.
[44] Там же, с. 306.
[45] Там же, с. 386.

Первым в наступление перешел двор, он решил нанести заговорщикам решающий удар. Позвав Елизавету в кулуары, Анна Леопольдовна «с пылающим пламенем сердца своего» в присутствии «знатных генералитетов» выложила ей то, что было известно о заговоре. Елизавета все отрицала и демонстративно отбыла в свой дворец. Через три дня, 25 ноября 1741 г., правительница отдала приказ гвардии выступить на фронт. Расчет двора состоял в том, чтобы вывести гвардию из столицы и лишить Елизавету ее главной опоры, но этот расчет обернулся просчетом: во дворце, видимо, считали, что приказом о выводе гвардии вся проблема была решена: иначе, чем же можно объяснить тот факт, что, когда развернулись последующие события, царский двор мирно спал?

События заставили Елизавету действовать. В ночь на 26 ноября силами гвардии все было сделано; с удивительной легкостью в России совершился очередной дворцовый переворот. Событие это известно в подробностях, нас интересует его внешнеполитический аспект. Шетарди был застигнут врасплох. Когда его разбудили и сообщили о восшествии на престол Елизаветы, ему оставалось только изобразить на своем лице радость.

Начались перемены. Свергнутый младенец-царь со своими родителями и ближайшими родичами на первых порах оказался в Риге. Сорок приверженцев свергнутого режима, в том числе и высшие сановники во главе с Остерманом, были сосланы в разные места, последовала смена высокопоставленных чиновников, в том числе и русских послов, иностранцев по происхождению, — их заменяли русскими. Когда иноземные послы в Петербурге обратились к Елизавете с жалобой, что канцлер князь Черкасский не знает ни одного иностранного языка и поэтому с ним трудно иметь дело, Елизавета оставила жалобу без внимания. Шла настойчивая борьба с иностранным засильем, началась реабилитация памяти Петра I, забытого в 30-е годы. «Живейшая нежность, высказываемая царицей к памяти Петра I, побуждает ее заботливо и с удовольствием собирать все портреты этого государя, которые по предрассудкам или прежней ненависти были как бы погребены во прахе или забвении» [46], — доносил Шетарди своему двору. Французский двор с явным одобрением относился к мерам Елизаветы против немецкого засилья. Не могла быть отрицательной и позиция шведов.

Однако камнем преткновения оказались внешнеполитические претензии Швеции к России, а за спиной Швеции стояла Франция. Елизавета и до восшествия на престол не строила иллюзий насчет намерений шведов, выступавших под видом ее благодетелей. Теперь, после переворота, военные действия были приостановлены с обеих сторон, шведы добивались отмены условий Ништадтского мира, но эти требования, естественно, были невыполнимы, тем более что сам переворот произошел без всякой помощи шведов. Шведской стороной был утерян последний аргумент для обоснования ее претензий.

---

[46] Там же, с. 464.

Донесения Шетарди рисуют позицию новой царицы чрезвычайно ярко. Во французское министерство иностранных дел было подробно доложено, что она готова обсуждать с французами и шведами любые вопросы, «лишь бы только это не касалось уступок, которые одинаково противны и славе и чести ее... что скажет народ, увидя, что иностранная принцесса (имеется в виду Анна Леопольдовна. — *М. А.*), мало заботившаяся о пользе России и сделавшаяся случайно правительницей, предпочла, однако, войну стыду уступить что-нибудь, а дочь Петра I для прекращения той же самой войны соглашается на условия, противоречащие как благу России, так и славе ее отца и всему, что было куплено ценою крови ее подданных» [47].

Когда Шетарди попытался действовать через русское министерство иностранных дел, то вице-канцлер Бестужев-Рюмин сказал, что он «заслуживал бы потерять голову на плахе, если бы стал советовать уступить хотя бы один вершок земли» [48]: шведы вынудят Россию воевать.

Несколько позже Шетарди снова поставил перед Елизаветой вопрос о территориальных уступках шведам, но встретил нескрываемое раздражение: если шведы мне друзья, говорила царица, то почему же они не идут на мир. Вместо этого они, грозя войной, требуют от России невозможного; «...все мои министры при иностранных дворах единогласно доносили, что меня проводят и что тем самым шведы льстят себя надеждою вертеть мною, как им будет угодно, я не могла более не понимать подобного образа действия, не выставив себя на вечный позор и упреки всех своих подданных» [49]. Со шведами придется воевать, и в этом они будут сами виноваты.

Хорошо знавший положение в Петербурге, Шетарди понимал, что русская сторона не пойдет ни на какие уступки, что своими ультиматумами шведы и их покровитель — французское министерство иностранных дел — будут лишь ставить его, Шетарди, в нелепое положение. Он принялся доказывать это своему министерству. Война с Россией, полагал посол, бесперспективна во всех отношениях. Укажем хотя бы на два главных его соображения. Во-первых, русская казна пополнилась: «Россия далеко теперь не та, какой была неделю тому назад. Ее силы удвоились от переворота; вместо истощенных финансов царица нашла в огромных богатствах... и еще найдет в конфискации имуществ арестованных лиц, чем продолжать стойко войну, не обременяя народа ни одной податью» [50]. Во-вторых, русские не отдадут приобретения Петра, когда его дочь сидит на русском престоле. Напрасно генерал Левенгаупт (шведский главнокомандующий) усвоил столь воинственный тон: «Никто более меня не убежден в достоинстве и храбрости

[47] Там же, с. 515.
[48] Там же, с. 517.
[49] Там же, с. 576.
[50] Там же, с. 449.

шведских войск, однако я с сожалением ручаюсь ему за такую вражду русских, что он не приведет с собой назад в Швецию ни одного человека»[51].

Эти выводы Шетарди подкреплялись его знакомством с низкой боеспособностью шведской армии. Сохранилось письмо шведского полковника Лагеркранца, адресованное Шетарди, в котором освещалось подлинное состояние шведской армии. Она была численно слаба, недостаточно обеспечена артиллерией, шведский флот действовал неудачно. Среди шведов свирепствовала эпидемия, была «неслыханная» смертность. Русская армия превосходила шведскую во всем. Время года — тоже на стороне неприятеля: «Зима, которая в такой усеянной препятствиями стране... делает все проходы одолимыми, доставляет ему наилучший на свете способ воспользоваться своим огромным превосходством; потому он в состоянии пройти всюду; окружать со всех сторон; нападать на нас спереди и с тылу, сжигая и разоряя страну при помощи казаков и гусар; он может уморить нас с голоду без всякого сопротивления, не приступая к военным действиям. Этим самым он принудит нас принять какие угодно условия... без возможности чем-либо противодействовать им»[52].

Шведские ультиматумы исходили прежде всего от Левенгаупта: своей целью он ставил закончить войну как можно скорее наиболее выгодным образом, чтобы повысить собственные шансы на предстоявших в Швеции выборах короля. Начиная войну походом на Выборг, Левенгаупт соглашался разговаривать с русскими, если те предварительно отдадут ему Выборг, Кексгольм и все, что имеют на Балтийском море. Авантюризм этой затеи был очевиден. По данным Лагеркранца, вся армия Левенгаупта, брошенная на Выборг, была «слишком ничтожна, так как не превышала 5800 пехотинцев, из которых часть страдала от эпидемии; кавалерии же он имел только 450 драгун. Конницы, артиллерии, запасов и множества других предметов, необходимых для вторжения в неприятельскую землю, у нас решительно не было; болезни и слишком позднее время года при суровом климате были препятствиями, почти непреоборимыми для предпринятия чего-либо важного. Надобно быть хвастуном, безумцем или совершенным новичком в военном ремесле, чтобы предполагать, что с такой незначительной горстью людей есть возможность проникнуть в страну, прикрытую довольно хорошо укрепленным городом с гарнизоном из 9 тысяч человек, достаточно снабженных всеми предметами»[53].

Кроме того, Шетарди понимал стратегическое значение Выборга для России и исходил из того, что русские не отдадут крепость. Это ему старались объяснить при дворе и в министерстве иностранных дел, особенно Бестужев-Рюмин. Русский посол во Франции князь Антиох Кантемир на все запросы французского министерства

---

[51] Там же.
[52] Там же, с. 572.
[53] Там же, с. 570—571.

иностранных дел, «не колеблясь, отвечал, что он видит мало надежды, чтобы его государыня имела намерение уступить каким-нибудь образом Выборг, который по своему положению и свойству самой местности есть, по его мнению, ключ Московии» [54]. Отдать Выборг — все равно, что отдать Петербург. То же самое сообщал своему министерству и Шетарди. «Что касается до ответа вам, милостивейший государь, кн. Кантемира о Выборге, то он сказал вам совершенную правду, и всякий военный человек ответит то же, если только лично знает местность» [55].

Однако попытка Шетарди урезонить шведов, которые постоянно ставили французского посла в затруднительное положение, вызвала у французского министерства иностранных дел противоположную реакцию: на Шетарди посыпались гневные нотации. Ему начали с раздражением разъяснять, что если французский король желал в России переворота в пользу Елизаветы, то «только как средства облегчить шведам исполнение их намерений, а если этот переворот произвел противное действие, то должно жалеть о всех трудах, которые предпринимались для ускорения его». Шведы должны вести войну до тех пор, «пока не получат в обеспечение тех мест, которые требовал Левенгаупт, и только после этого можно будет хлопотать о мире» [56].

Шетарди вменялось в обязанность отказаться от взглядов, идущих вразрез с концепцией министерства: иначе шведы будут «справедливо думать, что их старались обмануть. Скажу вам более, что если война продолжится, то шведы не останутся без союзников, и тогда царица, может быть, поздно узнает, что она уж слишком презирала своих неприятелей» [57].

Как видим, Франция даже переходила к угрозам. Ее посол почтительно выслушивал эти выговоры, но пытался защищаться. Он лучше, чем в Париже, знал положение на месте и был убежден, что поддерживать требования шведов — значит погубить все дело: «Я. . . успею только раздражить умы, вывести наружу настоящие виды шведов, нанести вред моему влиянию и уменьшить вследствие этого значение представительства его величества» [58]. К тому же время для нажима на Россию было выбрано слишком неудачно: здесь только что покончили с иностранным засильем и не допустят нового. «Мало знают Россию, если станут заблуждаться насчет значения иностранного вмешательства» [59].

Исход дискуссии между Шетарди и его министерством был определен самой действительностью. Со времени переворота Елизаветы военные действия приостановились, а теперь оказалось, что французское министерство, не скупясь на окрики в адрес Шетарди за его уступчивость России, на деле стало хлопотать не о возоб-

[54] Там же, с. 563—564.
[55] Там же, с. 586.
[56] Там же, с. 486.
[57] Там же, с. 487.
[58] Там же, с. 492—493.
[59] Там же, с. 494.

новлении войны против нее, а о продлении перемирия; больше того, Париж обязывал своего посла в Петербурге выяснить, на каких условиях Россия могла бы пойти на мир со Швецией.

Причины столь непоследовательной позиции Франции были ясны. Во-первых, Франция являлась союзницей Швеции и не хотела ее терять. С другой стороны, она вовсе не хотела терять и Россию: нельзя было допустить, чтобы в Петербурге усилилось влияние Англии или Австрии (тем более что Бестужев-Рюмин был известен как англоман и противник Франции). Шетарди тоже не сомневался, что если Франция из-за шведов перестанет поддерживать дружбу с Россией, то Россия может перенести свою дружбу на Англию [60]. Любопытно при этом отметить, что среди факторов, мешавших англо-русской дружбе, все еще были воспоминания об английской революции. Шетарди рассказывает такой случай. В Лондоне происходила смена русских послов — вместо Щербатова прибывал Нарышкин, англичане старались сохранить Щербатова, подговаривали его сопротивляться, а если это навлекло бы на него гнев Елизаветы, предлагали ему убежище. На это Елизавета сказала: «Нет ничего удивительного, что народ, у которого в обычае убивать своего короля, старается оказывать защиту тем, которые отличались своей неверностью к их законным государям» [61]. Шетарди все это старательно использовал против Англии.

Во-вторых, защищая шведов, при французском дворе не могли не понимать, что существует единственная альтернатива, о которой писал из Петербурга Шетарди: нужно, чтобы шведы «или принудили Россию силой к условиям, которые они хотят ей навязать, или, если они этого не в состоянии сделать, пусть они выскажутся искренне возвращающимися к Ништадтскому миру. . . По этой причине, милостивый государь, все мои старания, повторяю, несмотря на все желание угодить его величеству, никогда не заставят русских преклониться на то, что называется уступкою. Я не исполнил бы своего назначения и изменил бы Швеции, когда бы стал скрывать от вас истину, в которой в настоящее время совершенно убежден» [62].

Какой из этих исходов наиболее вероятен? Может ли Швеция победить? Все говорило против этого. Тезис, из которого исходил шведский генерал Лагеркранц, гласил: «Неприятель, в десять раз нас сильнейший, для ведения кампании не имеет недостатка ни в чем необходимом» [63]. Не отличались оптимизмом и выкладки Шетарди. Пусть шведы сильнее на море, рассуждал он, но что отсюда следует? «Шведы, сохраняя на море превосходство. . . успеют нанести вред только частным лицам; русское же правительство, если все порты Балтийского моря будут в блокаде, может потерять от того только таможенный доход. . . При таком незначительном преимуществе шведам предстоит на суше биться со значительными силами в Финляндии и рисковать увидеть, особенно ныне, свою армию

[60] Там же, с. 519.
[61] Там же, с. 587.
[62] Там же, с. 596.
[63] Там же, с. 572.

лишенною необходимых подкреплений и уничтоженною под тяжестью численности в случае начатия неприязненных действий. Эта причина побудила меня отдалить войну, чтобы дать шведам время отдохнуть и прийти в себя»[64]. Больше того, Шетарди был убежден, что ему приходится хлопотать всего лишь «для спасения шведской армии от погибели. Слабость шведов делает ее неизбежной»[65]. С подлинным положением дел никак не согласовались ультиматумы Левенгаупта, которые он обрушил на Петербург.

На этом обрываются донесения Шетарди — чрезвычайно важные свидетельства современника. Что касается войны шведов с Россией, то положение, сложившееся к тому времени, о котором идет речь у Шетарди, не могло продолжаться без конца. Русская армия вынуждена была перейти к боевым действиям, которые начались рейдом казачьих отрядов по шведским тылам. Война, как известно, завершилась полным разгромом шведских войск. Главнокомандующий Левенгаупт за позорный проигрыш войны был казнен.

Разгром шведов отразился на положении Шетарди в Петербурге — и не в лучшую сторону. Трудность его положения определялась уже тем, что он представлял страну, которая была союзницей Швеции, воевавшей с Россией. Однако его задача состояла в том, чтобы приобрести влияние на русскую политику к выгоде Франции в войне за австрийское наследство. Тут Шетарди все больше встречал отпор со стороны канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, возглавлявшего сторонников союза с Австрией и Англией. Между французским послом и канцлером началась упорная борьба, завершившаяся победой канцлера. Ему удалось перехватить дипломатические документы, раскрывавшие замыслы французской дипломатии и аттестовавшие Елизавету в неприглядном виде. Шетарди был выслан из России, а Лесток оказался в ссылке, откуда его выручил уже Петр III (1762 г.)[66]. После дела Шетарди—Лестока (1744 г.) дипломатические отношения между Россией и Францией были разорваны.

«Путешествие» графа Мессельера

Влияние французской дипломатии при дворе Елизаветы Петровны вовсе не закончилось с победой Бестужева. Врачом императрицы в 1758—1760 гг. состоял Пьер Пуассонье — крупный французский медик того времени; при дворе был принят художник Токе, занимавшийся, кстати сказать, не только живописным, но и дипломатическим искусством. Немало шуму наделал агент Людовика XV, прославившийся провокационной деятельностью, д'Эон де Бомон. Был он послан для восстановления дипломатических отношений с Россией и для сбора сведений относительно международных планов двора Елизаветы. При этом было решено д'Эона, имевшего жен-

[64] Там же, с. 557—558.
[65] Там же, с. 568.
[66] *Семевский М.* Лесток. — Чтения общества истории и древностей российских, 1884, № 3, с. 1—18.

ственную внешность, одеть женщиной, чтобы облегчить ему доступ к императрице; ему дали имя Лии де Бомон.

Из Петербурга д'Эон привез секретное письмо Елизаветы с согласием на установление дипломатических отношений, разорванных, как мы уже видели, в момент высылки Шетарди из России. В ответ французский двор отправил к Елизавете посольство, в котором секретарем был тот же д'Эон, объявленный родным братом Лии де Бомон. На этот раз посланец привез из Петербурга подписанный Елизаветой договор об участии России в войне против Пруссии (Семилетняя война) и даже план кампании. Кроме того, он якобы привез с собой копию «Завещания» Петра Великого, добытую, как говорили, в секретнейших русских архивах. Содержание этой фальшивки было чрезвычайно характерным для подобного рода «документов». Речь шла не больше не меньше, как о детально разработанном плане установления всемирного господства России.

Цель этой провокации стала обнаруживаться, как только «документ» пустили в ход. «Завещание» Петра Великого было потом опубликовано по распоряжению Наполеона, начинавшего с Россией войну 1812 г. Публикация эта была предпринята в форме пересказа «Завещания» в книге Лезюра «Des progrès de la puissance russe, depuis son origine jusq'au commencemente du siècle» (1812). Второй раз это «произведение» увидело свет во Франции уже в виде документа в книге Гайярде «Memoire du chevalier d'Eon. . .» (1836), т. е. в публикации записок самого д'Эона. В новом издании этих мемуаров (1870 г.), Гайярде вновь поместил текст «Завещания», но теперь автору хватило мужества признаться, что это фальшивка. «Документ» этот не раз использовался зарубежной дипломатией против России. Так было не только во времена Наполеона, но и в годы Крымской войны, в период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и первой мировой войны. Так же впоследствии поступала и фашистская Германия.

Впрочем, история с «Завещанием» Петра Великого — это сюжет особый [67], а теперь вернемся к временам Елизаветы Петровны. Между версальским и петербургским дворами установились дружеские отношения, Россия и Франция были союзниками в Семилет-

[67] См.: *Berkholz G.* Napoléon I, auteur du testament de Pierre le Grand. Bruxell, 1863; *Idem.* Das Testament Peters des Grossen — eine Erfindung Napoleons I. St. Peterburg, 1877. Беркгольц считал автором фальшивки самого Наполеона. Это мнение не разделяется другими исследователями, полагающими, что автором «Завещания» следует считать самого д'Эона: См.: *Шубинский С. Н.* Мнимое завещание Петра Великого. — Древняя и Новая Россия. СПб., 1877, т. 1, с. 97—106; *Он же.* Исторические очерки и рассказы. 4-е изд. СПб., 1903, с. 548—564.

Эта тема освещалась и в советской научной литературе. См.: *Яковлев Н.* О так называемом «Завещании» Петра Великого. — Исторический журнал, 1941, № 12, с. 128—133; *Данилова Е. Н.* «Завещание» Петра Великого. — Труды Историко-архивного института, 1946, т. 2, с. 205—270; *Павленко Н. И.* Три так называемых завещания Петра I. — Вопр. истории, 1979, № 2, с. 128—144.

О самом д'Эоне см.: *Зотов В.* Кавалер д'Эон и его пребывание в Петербурге. — Русская старина, 1874, авг., с. 956—959; *Vandal A.* Luis XV et Elisabeth de Russie. Paris, 1882; *Карнович Е. П.* Шевалье д'Эон при дворе императрицы Елизаветы Петровны. — Древняя и Новая Россия. СПб., 1875, т. 2, с. 243—266; *Он же.* Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. СПб., 1884, с. 66—108.

ней войне. В Россию прибыло французское посольство во главе с маркизом Лопиталем. Членом посольства был граф Мессельер, оставивший записки о своем пребывании в России с мая 1757 по март 1759 г. — «Voyage à St. Pétersbourg, ou nouveaux mémoires sur la Russie».

«Путешествие» Мессельера — книга дипломата. Автора интересует только дипломатический аспект событий. Она была написана уже в начале XIX в. (1803 г.), долгое время спустя после событий, и немудрено, что в ней много путаницы и искажений.

В частности, автор весьма односторонне объясняет падение Бестужева-Рюмина, видя причину ссылки всесильного канцлера (февраль 1758 г.) только в том, что он ориентировался на Англию, тогда как Елизавета — на Францию. В действительности к этим разногласиям прибавилось еще одно существенное обстоятельство: в 1758 г. Елизавета тяжело заболела; на случай ее смерти Бестужев готовился провести свой план возведения на престол малолетнего Павла Петровича под регентством Екатерины с целью лишить престола будущего Петра III. Выполнение плана началось с вызова главнокомандующего Апраксина с театра военных действий (шла Семилетняя война) в столицу. Однако Елизавета выздоровела, и тяжелая кара обрушилась на голову и Бестужева, и Апраксина.

К сожалению, историку приходится довольствоваться лишь немногими, разрозненными, попутно брошенными оценками современных Мессельеру событий. Собираясь вести войну против Пруссии и Англии в союзе, в частности, с Россией, Франция старалась внимательно оценить боеспособность русской армии, и французское посольство имело возможность это сделать: по дороге в Россию французы встретили русские войска, с которыми был фельдмаршал Апраксин. Французские дипломаты высоко оценили русскую артиллерию, только что принятую на вооружение (1757 г.). «Эти орудия выпускают по девяти выстрелов в минуту, и на 600 шагов расстояния каждое из них осыпает пулями фронт целого батальона. До этого мы думали, что никакая артиллерия не может сравниться с французской» [68].

Пристальнее же всего французы присматривались к русскому солдату. Они взвешивали его боеспособность, принимая во внимание многие, иногда неожиданные, качества. Их привело в восхищение, что русский солдат — «очень хороший плотник, будучи с детства приучен владеть топором, который он носит всегда за поясом. . . Русского солдата также очень легко прокормить: он несет с собою запас муки на десять дней в жестяном ящике. . . а если он найдет немного чесноку, то ест его с мукой, разведенной в воде. Он переносит голод легче, нежели всякий другой человек, и если ему дают мясо, то он смотрит на такую щедрость как на награду. Он любит, чтобы начальники с ним говорили, чтобы они оказывали доверие к его храбрости, чтобы не действовали ему в ущерб. . . действуя таким образом, его можно повести штурмовать самый ад» [69].

[68] Записки Мессельера. — Русский архив, 1874, кн. 1, тетрадь четвертая, стб. 964.
[69] Там же, стб. 965—966.

Зато за своих соотечественников французскому посольству пришлось испытывать конфуз; обнаружилось, что в Петербург набилась масса авантюристов из Франции. «Нас осадила тьма французов всевозможных оттенков, которые по большей части, побывавши в переделках у парижской полиции, явились заражать собой страны Севера. Мы были удивлены и огорчены, найдя, что у многих знатных господ живут беглецы, банкроты, развратники и немало женщин такого же рода, которые, по здешнему пристрастию к французам, занимались воспитанием детей значительных лиц; должно быть, эти отверженцы нашего отечества расселились вплоть до Китая; я находил их везде» [70].

Само французское посольство предложило русскому дипломатическому ведомству провести проверку этой публики, а «безнравственных отправить морем по принадлежности». Эффект был соответствующий — авантюристы хлынули из Петербурга. Русское министерство иностранных дел осталось очень довольно демаршем французского посла. «Русская нация, кажется, приняла с благодарностью этот поступок, согласный со справедливостью и честью нашего отечества. Императрица узнала о нем с удовольствием и смеялась над теми, которые были обмануты этими негодяями» [71].

При Елизавете Петровне французы все более проникают в экономику, в том числе в торговлю России: появляются фирмы Панье, Ленобль, Рембер. Проникают они и в область культуры. Французы участвуют в создании русской Академии художеств — архитектор Роллен де ла Мотт, скульптор Жилле, живописцы Лоррен и Лагрене. Из живописцев больше других известен Лепренс. Он приехал в Россию, где уже жили два его брата и сестра. 1757—1762 гг. Лепренс провел в путешествиях по России — был в Прибалтике, в Москве, в Сибири. Множество зарисовок, сделанных им во время путешествия, послужили материалом для серии картин из русской жизни. С Лепренса «русские сюжеты» начинают завоевывать себе место во французской живописи. Из России Лепренс выезжает уже при Екатерине II; он принимал участие в росписи Зимнего дворца. В Петербурге появляется французский театр, посещение которого для придворных объявляется обязательным.

В русской армии при Елизавете встречается немало офицеров с французскими фамилиями — Аллар, Дюфор, Вилльмен; Фуа-Гральи был адъютантом К. Г. Разумовского; граф Мину из штаба П. С. Салтыкова погиб в сражении при Куннерсдорфе (1759 г.) во время Семилетней войны. Инженер Шардон укреплял русскую западную границу.

Наконец, нельзя не упомянуть об одном крупном явлении этой поры, имеющем непосредственное отношение к нашей теме. По распоряжению Елизаветы И. И. Шувалов начинает переговоры с Вольтером, предлагая ему написать историю Петра I и обязуясь доставить для этого необходимые источники. Вольтер написал первый том этого труда, не дожидаясь документов. Второй том вышел в 1763 г., уже при Екатерине II. Нельзя, однако, признать этот опыт удачным.

---

[70] Там же, стб. 973.
[71] Там же.

Записки графа Л.-Ф. де Сегюра

Граф Людовик-Филипп де Сегюр (1753—1830) был типичным дворянином века Просвещения. По происхождению он аристократ, выходец из сановной семьи; его отец был перед революцией военным министром, а самому Сегюру, после его возвращения из России, Людовик XVI предлагал пост министра иностранных дел. Как дипломат он верно служил феодальной Франции, защищал ее интересы на международной арене. Перед его глазами прошли Великая революция, Наполеон, Реставрация. Сегюр умер после революции 1830 г., но до самой старости, когда он писал свои сочинения, в том числе и «Записки» (1825—1826), ему вспоминались дореволюционная Франция и аристократические традиции, которые он противопоставлял буржуазному укладу жизни.

Молодой граф Л.-Ф. де Сегюр отправляется в Америку, чтобы принять участие в войне североамериканских колоний против Англии. Объясняется это весьма легко: Франция, находившаяся в неприязненных отношениях с Англией, была на стороне восставших, и немало аристократической молодежи, особенно той, которую захватили просветительские идеи, отправилось за океан. За участие в боевых действиях Сегюр был награжден орденом. Из Америки он слал во французское министерство иностранных дел сообщения о ходе событий. Они в значительной мере помогали французской дипломатической службе ориентироваться в американских делах и настолько понравились тогдашнему министру иностранных дел Верженню, что, когда Сегюр вернулся из Америки, тот предложил ему крупный дипломатический пост посла Франции в Петербурге.

Первые впечатления Л.-Ф. де Сегюра по приезде в Россию были связаны с русской столицей: «Под серым небом, несмотря на стужу. . . повсюду можно было видеть следы силы и власти и памятники гения Петра Великого. Счастливо и отважно победив природу, преобразил он эти холодные страны в богатые области и над этими вечными льдами распространил лучи просвещения. Я был приятно поражен, когда в местах, где некогда были одни лишь обширные, бесплодные и смрадные болота, увидел красивые здания города, основанного Петром и сделавшегося меньше чем за сто лет одним из богатейших, замечательнейших городов в Европе»[72]. В царствование Екатерины II «Россия стала державою европейскою. Петербург занял видное место между столицами образованного мира, и царский престол возвысился до ранга престолов самых могущественных и значительных»[73].

Наблюдения Сегюра, впрочем, вовсе не ограничивались двором и петербургскими верхами. Его взгляд простирался гораздо дальше. Он сразу же обратил внимание на социальные контрасты в стране, куда его забросила судьба. Эти контрасты бросались в глаза уже в самой столице: «Петербург представляет уму двойственное зре-

---

[72] Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II. СПб., 1865, с. 11.
[73] Там же, с. 25.

лище. . . С одной стороны, модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой — купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами, а иногда с топорами, заткнутыми за ременными поясами». При виде простого люда Сегюру приходят на ум народы средневековья, которые закладывали основания современной Европы. «Кажется, слышишь тот же язык, те же крики, которые раздавались в Балканских и Альпийских горах и перед которыми обращались вспять полчища римских и византийских цезарей. Но когда эти люди на барках или на возах поют свои мелодические, хотя и однообразно грустные песни, то вспомнишь, что это уже не древние, независимые скифы, а москвитяне, потерявшие свою гордость под гнетом татар и русских бояр, которые, однако, не истребили их прежнюю мощь и врожденную отвагу» [74].

Эти строки свидетельствуют о том, что Сегюр был достаточно знаком с русской историей. В данном случае он пытается нащупать причины отсталости России по сравнению с Западной Европой. В качестве таких причин называются татарское иго и феодальная аристократия в России. На эту попытку стоит обратить внимание. Разве не эти причины называл, скажем, П. Я. Чаадаев, говоря о причинах отсталости России? К этому он, как известно, прибавил еще господство церкви.

Социальные контрасты, наблюдаемые в Петербурге, были для Сегюра неотъемлемой частью общей панорамы тогдашней России. И здесь автор не всегда последователен. Сегюр любуется, например, случаем, когда жители одной деревни, узнав, что их барин намеревается продать деревню, вскладчину собрали деньги, чтобы уплатить его долги: они не хотели от барина «хорошего» попасть под власть барина плохого. Помещик «после некоторого сопротивления принял дар, с удовольствием сознавая, что его хорошее обращение с крестьянами вознаградилось таким приятным образом» [75]. Этот случай нетипичен, но заслуживает упоминания, потому что такого рода взгляды были характерны для феодальной аристократии, проникнутой антибуржуазными настроениями, особенно во Франции, где в то время капитализм шел в наступление на старый феодальный порядок. Сегюр, по-видимому, не был чужд таким настроениям.

Однако, находясь в России, нельзя было не заметить крепостного права во всей его наготе. Оно бросалось в глаза повсюду, ибо простому люду «нет никакой опоры в законах». Произволу помещика были подвержены даже иностранцы, «свободные, но неизвестные, по несчастным обстоятельствам принужденные служить в стране, где господствует рабство». Чаще всего крепостничество оборачивалось к Сегюру именно этой своей стороной, потому что обиженные французы обращались к нему, французскому послу, за защитой. Сегюр

[74] Там же, с. 30.
[75] Там же, с. 35.

приводит не один факт подобного рода. Характерен случай с фельдмаршалом М. Ф. Каменским. У него служил француз, который «не мог нахвалиться его обхождением, покуда они были в Петербурге». Но вот фельдмаршал увез его в свою деревню. «Вдали от столицы образованный русский превратился в дикаря, он обходился с людьми своими как с невольниками, беспрестанно ругался, не платил жалованья и бил за малейший проступок, иногда и тех, кто не был виноват»[76]. Француз убежал и явился к Сегюру за покровительством. К этому следует прибавить лишь то, чего не мог знать Сегюр: в 1809 г. Каменский был убит в своей деревне возмутившимися крестьянами.

Сегюр останавливается прежде всего на том, что было больше всего доступно его наблюдениям: это, конечно, придворная среда. Из его разрозненных впечатлений можно составить довольно отчетливые характеристики некоторых русских деятелей того времени, особенно Екатерины II и Потемкина.

Сегюр, подобно многим его современникам, близко знавшим Екатерину, видел слабые стороны ее личности. У нас нет оснований не верить автору, что Екатерина в узком кругу друзей из иностранных послов сама об этом говорила в минуту откровенности и выслушивала замечания собеседников. По словам Сегюра, Екатерина была малообразованным человеком. Как-то она выразила недовольство учеными, которые на поставленные ею вопросы вынуждены были отвечать незнанием. Но вот Екатерина сама заговорила о сюжетах, требовавших эрудиции, она стала распространяться о законодательстве в древнем мире. И Сегюр пишет: «Я заметил ей, что она после этого, кажется, потеряла право смеяться над учеными по старой своей привычке. Другой собеседник прибавил, что после всего услышанного „мы, по совести говоря, принуждены включить вас в число ученых, на которых вы так нападаете“. В ответ последовала, казалось бы, неожиданная для амбициозной императрицы сентенция: „Да, я знаю. . . вы хвалите меня целиком, но разбирая меня поподробнее, осуждаете во мне многое. Я беспрестанно делаю ошибки против языка и правописания. Сегюр знает, что у меня иногда претупая голова, потому что ему не удалось заставить меня сочинить шесть стихов. Без шуток, я думаю, несмотря на ваши похвалы, что если бы я была частною женщиной во Франции, то ваши милые парижские дамы не нашли бы меня достаточно любезной для того, чтобы отужинать с ними“. Екатерина увлеклась этим разговором: „Как вы полагаете, кем я была бы, если бы родилась мужчиною и частным человеком?“ — Все наперебой стали доказывать, что и в этом случае ее ждало бы великое будущее. — „На этот раз вы ошибаетесь, — заявила она, — я знаю свою горячую голову; я бы отважилась на все для славы, и в чине поручика в первую кампанию не снесла бы головы“»[77]. Свою смелость Екатерина всегда подчеркивала.

Подобное поношение собственной персоны могло бы быть сочтено неправдоподобным, если бы не было и других свидетельств. Известно,

[76] Там же, с. 158.
[77] Там же, с. 187—188.

что Екатерина с трудом, допуская грубые ошибки, изъяснялась по-русски. На это намекал и Н. И. Новиков в своей известной полемике с некоей высокопоставленной дамой, в которой все угадывали Екатерину (как оно и было на самом деле). Обращает на себя, однако, внимание другое: Екатерина делала ошибки и во французском правописании, а ведь этот язык был для нее обиходным с детских лет, она вела на нем свою переписку. Общеизвестно, что Екатерина не делала секрета из своих погрешностей во французском языке. Она говорила, что ей нужна «прачка», которая бы «стирала» написанное императрицей. Вся ее переписка проходила через руки какой-либо «прачки». В обычных случаях это были ее секретари; возможно, что в случаях более важных не последнюю роль играл А. П. Шувалов. Черновики своих писем к Вольтеру она предварительно посылала в Париж русскому посланнику Д. А. Голицыну; тот, отредактировав присланное, отсылал это обратно Екатерине, и только тогда письмо Вольтеру переписывалось набело.

Однако Сегюра интересовали не слабые стороны личности Екатерины: на первом плане у него — восхищение недюжинным государственным умом Екатерины, ее победоносными войнами, ее способностью управлять такой огромной страной, как Россия, которая при ней закрепила первостепенное место на международной арене. В «Записках» Сегюра мы не найдем никаких указаний на то, какую цену заплатил за все это народ страны. Автор рассказывает о крепостном праве, но ни слова не говорит о том, что народ при Екатерине был отдан на поток и разграбление помещикам; о том, что крепостное право распространилось и на те области, где его раньше не было; и т. д. Сегюра, как дипломата, интересует прежде всего мощь России среди других европейских государств. Два периода в русской истории XVIII в. занимают французского посла: Россия при Петре I и Россия при Екатерине II.

В «Записках» встречается немало мест, где автор подчеркивает возросшее влияние России в Европе. Свидетельства тому он наблюдал и в самой России. Когда в 1787 г. Екатерина ехала по Днепру в Крым, по дороге в Каневе ее встретил польский король Станислав, а севернее Херсона — австрийский император Иосиф II, который и сопровождал русскую императрицу в путешествии по Крыму. Одновременно французский посол не мог не замечать и враждебного отношения к России на Западе. Он рассказывает, какое раздражение эта неприязнь вызывала у самой Екатерины. Иностранка по происхождению, она должна была защищать перед иноземцами свое новое отечество. Сегюр старается показать, что всякий выпад против России Екатерина воспринимала как личное оскорбление. Так, «ее самолюбие беспрестанно уязвлялось остротами Фридриха II, который часто со злой иронией говорил о финансах Екатерины, о ее политике, о дурной тактике ее войск, о рабстве ее подданных и о непрочности ее власти» [78].

В своих «Записках» Сегюр упоминает аббата Шаппа. С этим именем связана нашумевшая тогда история. Аббат Жан Шапп д'Отрош

[78] Там же, с. 143—144.

(1722—1769) был астрономом. По поручению Парижской Академии наук он отправился в Тобольск, чтобы наблюдать прохождение Венеры по диску солнца. В 1768 г. в Париже Шапп выпустил книгу «Voyage en Sibérie fait en 1768», где изобразил Россию в резко отрицательных тонах. Выпады Шаппа против России не остались без ответа. В 1771 г. в Амстердаме появилось сочинение, которое брало под защиту Россию и показывало слишком слабую осведомленность Шаппа в русских делах и в русской истории. Оно называлось «Antidote ou examen du mauvais livre supérbement imprimé, intitulé: Voyage del'abbé Chappe». Кому принадлежит это сочинение, неизвестно. Традиция приписывает авторство Екатерине. «Антидот» (противоядие) неизменно значится в исторических сочинениях Екатерины II, но вопрос здесь более сложный. Екатерина не могла обладать теми знаниями, о наличии которых свидетельствует «Антидот», — тут явно не обошлось без «прачки». Кто же был той «прачкой», на которую пала главная тяжесть работы над сочинением, остается не вполне ясным.

Сегюр пишет об отношении Екатерины не только к аббату Шаппу. Круг знакомства императрицы с французскими авторами был гораздо шире. Больше всего Сегюр заинтересовался историей с Мерсье де ла Ривьером. Это был видный физиократ, известный тогда главным образом своей книгой «L'ordre naturel des sociétés politiques» (P., 1767). Когда Екатерина занималась своим «Уложением», то в числе прочих французских авторов, с которыми она намерена была консультироваться, оказался и Ривьер. Его порекомендовал Екатерине уже упоминавшийся нами русский посланник в Париже Д. А. Голицын; обратиться к нему советовал и Дидро. Для императрицы Ривьер представлял двойной интерес: он являлся не только ученым французом, которые в век Просвещения были в большой моде, но и ярым сторонником абсолютизма. В 1767 г. Ривьер прибыл в Петербург, но в это время Екатерина уехала в Москву, где шло заседание комиссии по составлению «Уложения». Рассказ Сегюра о миссии Ривьера в Россию — наиболее обстоятельный, к тому же Сегюр знал об этом со слов самой Екатерины. Любопытны некоторые подробности, о которых она рассказала.

Мерсье де ла Ривьер «по приезде своем немедленно нанял три смежных дома, тотчас же переделал их совершенно, и из парадных покоев поделал приемные залы, а из прочих — комнаты для присутствия. Философ вообразил себе, что я призвала его в помощь мне для управления империей и для того, чтобы он сообщил нам свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими комнатами прибил надписи пребольшими буквами: департамент внутренних дел, департамент торговли, департамент юстиции, департамент финансов, отделение для сбора податей и пр. Вместе с тем он приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему представили как людей сведущих, явиться к нему для занятия различных должностей соответственно их способностям. Все это наделало много шуму в Москве, и так как все знали, что он приехал

по моей воле, то нашлись доверчивые люди, которые уже заранее старались к нему подделаться»[79].

Екатерина рассказывала об этом с возмущением: «Я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из заблуждения. Несколько раз поговорила я с ним о его сочинении, и рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был неглуп, но только честолюбие немного помутило его разум. Я как следует заплатила за все его издержки, и мы расстались довольные друг другом. Он оставил намерение быть первым министром и уехал довольный как писатель, но несколько пристыженный как философ, которого честолюбие завело слишком далеко»[80].

Более откровенно Екатерина высказалась о проектах гостя из Франции в письме к Вольтеру, которое также приводит Сегюр. «Г. де ла Ривьер приехал к нам законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и был так любезен, что потрудился приехать из Мартиники[81], чтобы учить нас ходить на двух ногах»[82].

«Записки» Сегюра дают возможность видеть характер отношений Екатерины со знаменитыми французскими просветителями. Свидетельства Сегюра ценны тем, что все рассказываемое им он слышал из уст самой Екатерины. Как известно, она состояла в оживленной переписке с просветителями, особенно с Вольтером и Дидро. Сегюр не без удовольствия говорит: «Все были поражены, когда гордая монархиня, преклоняясь перед философией, вздумала пригласить в Россию д'Аламбера, чтобы поручить ему образование наследника престола». Однако «философ отказался от случая распространить свои идеи влиянием своим на такого питомца»[83]. Русская императрица щедрой рукой черпала для своего «Уложения» идеи просветителей. «Уложение», первоначально написанное Екатериной по-французски, было вполне доступно любопытному французскому послу, державшему эту книгу в своих руках: «Мне показывали ее в петербургской библиотеке, и мне приятно было увидеть, что это было довольно полное извлечение из бессмертного Монтескье»[84].

Наиболее красноречив у Сегюра рассказ об отношениях Екатерины с Дидро. В отличие от д'Аламбера, Дидро приехал в Петербург. «Екатерине понравилась в нем живость ума, своеобразность способностей и слога и его живое, быстрое красноречие». По свидетельству Сегюра, речь Дидро «поражала, потому что она была блестяща и картинна; это был гений на парадоксы и проповедник материализма». И все это, разумеется, было пущено в ход перед Екатериной. Общеизвестно и то, что Екатерина относилась к Дидро подчеркнуто благосклонно. Как выразился Сегюр, Дидро был «более обязан России, чем Франции». В этом случае имеется в виду, что во Франции Дидро был посажен в тюрьму, в то время как Екатерина всячески старалась ему помогать. Она купила за 50 тысяч франков его библиотеку, отдав

---

[79] Там же, с. 148.
[80] Там же, с. 148—149.
[81] Перед этим Ривьер был губернатором о. Мартиники.
[82] Записки графа Сегюра. . .,с. 149.
[83] Там же, с. 24.
[84] Там же, с. 22.

ее Дидро в пожизненное пользование. Кроме того, она купила для него дом в Париже. Однако Сегюр рассказывает о практическом результате пламенных речей Дидро перед Екатериной. «Я долго с ним беседовала, — говорила мне Екатерина, — но более из любопытства, чем с пользой. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами. Однако так как я больше слушала, чем говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, а я скромной его ученицей. Он, кажется, сам уверился в этом, потому, заметив наконец, что в государстве не приступают к преобразованиям по его советам, он с чувством обиженной гордости выразил мне свое удивление. Тогда я ему откровенно сказала: „Господин Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушал ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит; она гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему; между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы". Я уверена, что после этого я ему показалась жалка, а ум мой узким и обыкновенным. Он стал говорить со мной только о литературе, и политика была изгнана из наших бесед»[85].

В этих словах со всей откровенностью выражено отношение Екатерины к идеям французского Просвещения. Идеи эти нужны были ей вовсе не для того, чтобы им следовать, а лишь для того, чтобы приспособить их для укрепления русского абсолютизма. Так Екатерина в данном случае говорила, так она во всех случаях и поступала.

Сегюр одно время был дружен с Потемкиным и оставил его характеристику, не лишенную интереса. Это результат личных и довольно длительных наблюдений. Потемкин выступает перед нами человеком крайне противоречивым. «Если представить очерк этой личности, — пишет Сегюр, — то можно быть уверенным, что никто не смешает его с кем-нибудь другим. Никогда еще ни при дворе, ни на поприще гражданском или военном не бывало царедворца более великолепного и дикого, министра более предприимчивого и менее трудолюбивого, полководца более храброго и вместе нерешительного. Он представлял собою самую своеобразную личность, потому что в нем непостижимо смешаны были величие и мелочность, лень и деятельность, храбрость и робость, честолюбие и беззаботность»[86]. Он мог хвататься за самые неожиданные, даже самые несбыточные проекты: «воображал себя то курляндским герцогом, то королем польским, то задумывал основать духовный орден или просто сделаться монахом. То, чем он обладал, ему надоедало; чего он достичь не мог — возбуждало его желания. Ненасытный и пресыщенный, он был вполне любимец счастья, и так же подвижен, непостоянен и прихотлив, как само счастье»[87].

---

[85] Там же, с. 149—150.
[86] Там же, с. 44.
[87] Там же, с. 46.

Сегюр говорит и о других сановниках времени Екатерины, таких, как А. Воронцов, А. А. Безбородко, но высказывания его настолько отрывочны и кратки, что не дают возможности составить сколько-нибудь связное представление об этих людях. Несколько больше он уделил внимания А. В. Суворову, с которым ему довелось встречаться. «В бытность мою в России Суворов еще не достиг высших военных чинов. Мы видели в нем славного воина, генерала, отважного в армии и весьма странного при дворе» [88].

Большое внимание автор уделил вопросу о чудачествах Суворова, упоминания о которых потом стали непременной принадлежностью его биографии. Сегюр не склонен видеть в них простые странности характера, он пытается найти им объяснение, видя в них совершенно сознательный и притом вынужденный прием Суворова. «Своей отчаянной храбростью, ловкостью и усердием, которое он возбуждал в солдатах, он умел отличиться и выслужиться, хотя был не богат, не знатного рода и не имел связей. Он брал чины саблей. Где предстояло опасное дело, трудный или отважный подвиг, начальники посылали Суворова. Но так как с первых шагов на пути славы он встретил соперников, завистливых и сильных настолько, что они могли загородить ему дорогу, то и решился прикрыть свои дарования под личиной странности. Его подвиги были блистательны, мысли глубоки, действия быстры. Но в частной жизни, в обществе, в своих движениях, обращении и разговоре он являлся таким чудаком, даже, можно сказать, сумасбродом, что честолюбцы перестали бояться его, видели в нем полезное орудие для исполнения своих замыслов и не считали его способным вредить и мешать им пользоваться почестями, весом и могуществом» [89].

Положение Сегюра как дипломата при его появлении в Петербурге было довольно трудным. Россия находилась в напряженных отношениях с Турцией, а Франция поддерживала Турцию против России. Не налаживались русско-французские отношения и в самой Европе. Россия старалась укрепить связи с Австрией и Англией, которые были в натянутых отношениях с Пруссией, а это сталкивало с Пруссией и Россию, но на стороне Пруссии была Франция. Положение Сегюра в Петербурге всегда осложнялось этой отчужденностью между Францией и Россией, однако он умел блестяще справляться с трудностями: вошел в число друзей Екатерины, а одно время, как уже говорилось, был дружен с Потемкиным, что, кстати сказать, удивляло дипломатический корпус: там терялись в догадках, уж не назревает ли новая расстановка сил в Европе, не готовится ли союз России, Австрии и Франции против Пруссии?

Немалые трудности Сегюру пришлось преодолевать и в сфере русско-французской торговли. С давних пор в русской торговле царили англичане. В русские порты ежегодно прибывало до двух тысяч английских судов, в то время как французских можно было насчитать не более двух десятков. В Петербурге имелась целая английская колония, британские купцы были тут организованы в мощную корпорацию и существовал всего лишь один французский торговый

[88] Там же, с. 161.
[89] Там же, с. 159—160.

дом Рембера, упоминаемый Сегюром. Англичане предоставляли русским купцам кредит и рынок для сбыта их товаров. Французы же этого не могли сделать. Вывод Сегюра гласил: «Русские считали торг с англичанами необходимым для сбыта своих произведений и находили мало выгод в торговых сношениях с французами, которые покупали у них мало, а продавали много и дорого» [90].

Французский посол все же пытался и в столь безнадежной ситуации начать борьбу с англичанами. Именно в этих целях он сблизился с Потемкиным. Ведь «светлейший князь» — властелин юга России, собиравшийся «населить, просветить, обогатить и подчинить правильному устройству» этот край, — носился с мыслью развивать торговлю между Херсоном и Марселем. Потемкин пустил в ход все свое красноречие, чтобы убедить французского посла в выгодах торговли через южные моря. Однако из затеи Потемкина ничего выйти не могло. Французы не видели выгод от торговли с малонаселенной Новороссией, их внимание было устремлено на русский север, на борьбу с англичанами. К тому же екатерининские министры, прежде всего А. Р. Воронцов и А. А. Безбородко, не любившие Потемкина и опасавшиеся его усиления, чинили ему всяческие препятствия.

Переговоры о заключении русско-французского торгового договора затянулись на 19 месяцев, но тем не менее завершились успешно. Перед самым началом путешествия Екатерины в Крым договор в январе 1787 г. был подписан.

В августе 1787 г. Турция объявила войну России. Сегюр внимательно следил за ее ходом, однако многое, видимо, оставалось ему неизвестным, так как его сведения о войне отрывочны. В частности, он ничего не говорит о действиях Суворова, а они тогда были весьма значительны, и о том, что князь Потемкин своими распоряжениями только мешал Суворову; правда, надо иметь в виду, что Сегюр был невысокого мнения о Потемкине как полководце. Французский посол хлопотал о примирении России и Турции. Фактически это была попытка спасти Турцию от поражения, но французской дипломатии уже начинала мешать революция, начавшаяся в самой Франции.

Перед путешествием в Крым Сегюр получил первые вести о надвигавшейся революции. «Я был чрезвычайно озабочен письмами, полученными мной из Франции. Волшебная повязка, которую повязал нам на глаза министр Каллонь, спала; все предвещало Франции великий переворот, а смелый и легкомысленный министр только ускорил его крутыми мерами, которыми думал его предупредить» [91]. В эту оценку — «все предвещало Франции великий переворот» — нужно внести существенную поправку. Ведь Сегюр писал свои «Записки» уже много времени спустя после революции. В начале же ее еще никто не предполагал масштабов событий, которым предстояло развернуться. В этом признается и сам Сегюр [92].

[90] Там же, с. 64.
[91] Там же, с. 137.
[92] Там же, с. 168.

Екатерина тоже не придавала поначалу большого значения тому, что происходило во Франции. Русский двор, отправившийся в поездку в Крым, находился в Киеве, когда Сегюр получил из своего министерства иностранных дел известие о решении короля созвать Генеральные штаты. Когда французский посол довел это до сведения Екатерины, «императрица», — пишет он, — выразила мне свое удовольствие и с увлечением восхваляла эту меру; она видела в ней несомненный залог будущего восстановления наших финансов и учреждения общественного порядка. . . Все иностранцы, находившиеся в Киеве, какой бы нации они ни были, поздравляли меня по этому случаю» [93].

На протяжении того времени, о котором он пишет в своих «Записках», Сегюр различает два главных периода революции. Первый — когда речь шла о реформах в рамках старого порядка, или, по терминологии автора, о «разумной свободе»; второй — когда «стремление к равенству взяло верх и частные интересы пришли в столкновение» [94]. Год 1789-й начался во Франции «так, что ни один из министров не ожидал страшного удара». Правда, уже несколько месяцев перед тем «загорались молнии, предвещавшие грозу, но никто не предвидел ее. Думали, что полезные преобразования устранят затруднения, тревожившие правительство. Это была эпоха заблуждения» [95].

Так проходит первая половина 1789 г. Но вот Сегюра вызывают к русскому вице-канцлеру. «Он объявил мне, что все население Парижа восстало и взяло Бастилию, что короля заставили войти в городскую ратушу и надеть революционную кокарду, что беспорядок дошел донельзя: везде нарушают законы, надругаются над дворянами грабят,замки» [96]. Характерно, что известие о падении Бастилии Сегюр получил от русского правительства; французское министерство иностранных дел, боясь огласки, ничего не сообщило своему послу: «Мне ничего не написали, — жалуется Сегюр, — и я не мог дать дельного ответа и отличить в этих известиях правду от прикрас. Слухи эти скоро разнеслись. . . При дворе тревога была сильная, неудовольствие общее» [97].

Это событие уже не было похоже ни на что предыдущее: восстал народ. Победой революции над аристократией во Франции Сегюр считает 4 августа, когда дворянство «принесло в жертву народу свои старинные права и преимущества. . . дворянство произнесло немногие, но торжественные слова, откликнувшиеся во всем мире: „феодальные права уничтожены“. На происшествия 14 июля можно было смотреть как на временное восстание, но в 4 августа высказалась целая революция. Новый общественный порядок устраивался на развалинах старого. . . Все эти мысли сильно и мятежно волновали мою душу. Воображение мое и надежды возбуждались рвением к свободе, той свободе, которую я полюбил на примерах и уроках древности, которую я так давно видел с завистью в Англии и за которую

---

[93] Там же, с. 169.
[94] Там же, с. 365.
[95] Там же, с. 339.
[96] Там же, с. 371.
[97] Там же.

дрался в Америке»[98]. «Но с другой стороны, — восклицает Сегюр, — сколько грустных мыслей примешивалось к этим приятным заблуждениям!» Тут начинались сожаления французского посла, просвещенного аристократа, по поводу тех бед, которые несла ему революция.

На этом заканчиваются «Записки» Сегюра, связанные с Россией. Он уехал из России в октябре 1789 г. Прощаясь с ним, Екатерина сказала: «Грустно мне расставаться с вами. Лучше бы вы остались со мной, чем подвергаться опасностям, которые примут, может быть, размеры, каких вы и не ожидаете. Ваше расположение к новой философии и к свободе заставит вас держать сторону народа; мне это будет досадно, потому что я останусь аристократкой, это уж мой долг. Подумайте-ка — вы найдете Францию больную, в лихорадке»[99]. Предсказания Екатерины сбылись, но лишь отчасти. Сегюр действительно принял участие во Французской революции, однако на самом правом ее фланге, а затем нашел свое место во Франции реставрированных Бурбонов. На закате дней своих он все же еще раз мог убедиться, что возврата к прошлому ожидать не приходится: ведь ему довелось увидеть революцию 1830 г.

---

[98] Там же, с. 382.
[99] Там же, с. 384.

Глава IV

ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIII В. И ЕЕ ОТЗВУКИ В РОССИИ



Дневник А. В. Храповицкого

Александр Васильевич Храповицкий (1749—1801) занял своеобразное место в мемуарной литературе конца XVIII в. Значение его дневника состоит в том, что статс-секретарь Екатерины II, вводя своего читателя в царский дворец, в самые покои русской императрицы, позволяет потомку самому послушать, что говорила Екатерина в то напряженное время европейской истории (1782—1793 гг.) о событиях и людях той поры, говорила, находясь в домашней обстановке, «без порфиры и венца», не опасаясь свидетелей. В этом отношении дневник Храповицкого — источник уникальный: без него наши знания об этом десятилетии были бы куда беднее.

В первые годы своей службы во дворце (1782—1786) автор заносил в дневник как бы только заметки для памяти, сводя до минимума количество слов. Например, на долю 1783 г. пришлось всего две фразы. Автор дневника сокращал слова, подчас обрывая то или иное слово на гласной букве. Можно подумать, что он прибег к этой своеобразной стенографии для того, чтобы потом по этим памятным словесным знакам написать более подробные мемуары. На самом деле все объяснялось гораздо проще: Храповицкий признавался, что вести дневник ему мешают служебные обязанности.

Потом его записи становятся более пространными, но под конец вновь лаконичными, встречается даже большой хронологический пропуск (с 24 ноября по 13 декабря 1792 г.). Совершенно очевидно, что далеко не все, о чем знал Храповицкий, попало в его дневник — что-то, может быть даже многое, он не успел записать, кое о чем счел за благо промолчать, но и то, что до нас дошло, пусть отрывочно и скупо, все же дает связную картину этого важного десятилетия. Русский текст в дневнике перемежается с французским — обычное в те годы явление.

Собирался ли автор публиковать свои записки? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Храповицкий находился на слишком близком хронологическом расстоянии от описываемых событий, когда многие интимные подробности, относящиеся к царствующей особе, еще не могли быть обнародованы. Да и сам дневник представляет собой сырые и не обработанные литературно записи. Лишь в не-

многих случаях (например, в записях от 16 октября 1791 г. и 14 июля 1793 г.) можно предположить, что при переписке дневника набело автор задним числом внес некоторые, и притом незначительные, добавления к тексту. Никакого заглавия дневнику дано не было.

Дневник впервые увидел свет через двадцать лет после смерти автора. На протяжении 1821—1828 гг. он публиковался отдельными частями по подлиннику в «Отечественных записках» под заглавием «Памятные записки». Публикация вышла с большими сокращениями; в ней были опущены многие подробности, касающиеся частной жизни Екатерины, и прежде всего ее фаворитов.

Второе издание дневника было предпринято известным библиографом Г. Н. Геннади в «Чтениях в Обществе истории и древностей Российских» в 1862 г. по двум копиям с рукописи Храповицкого. С этого начинается весьма громкая история, относящаяся к изданию дневника. С резкой критикой нового издания выступил археолог, историк и большой знаток библиографии Д. В. Поленов — ученый, в то время весьма авторитетный [1]. Он обвинил Геннади во многих публикаторских погрешностях.

Более благоприятная ситуация, казалось бы, сложилась для третьего публикатора дневника Храповицкого — Н. П. Барсукова, известного в науке своим фундаментальным исследованием «Жизнь и труды М. П. Погодина». К нему попал подлинник рукописи Храповицкого, который ранее хранился у племянника Храповицкого — М. В. Сушкова. В 1837 г., когда наследник русского престола, впоследствии Александр II, проезжал через поместье Сушкова в Симбирской губернии, хозяин преподнес высокому гостю рукопись своего дяди. Тот передал ее В. А. Жуковскому, а он, в свою очередь, подарил ее П. А. Вяземскому, работавшему тогда над своим исследованием о Фонвизине. В 1872 г. Вяземский, будучи председателем Русского исторического общества, попросил Н. П. Барсукова, члена Археографической комиссии, описать ту часть бумаг, которая им самим еще не была разобрана. При выполнении этого поручения Барсуков и обнаружил рукопись Храповицкого. Решено было ее издать.

Судя по всему, Барсуков учитывал горький опыт издания, предпринятого Геннади. Чтобы обезопасить себя, он пригласил в консультанты критика геннадиевского издания Д. В. Поленова. В 1874 г. труд Храповицкого увидел свет в третий раз — теперь под названием «Дневник». Над текстом была проделана кропотливая археографическая работа. Барсуков решил проявить больше заботы о читателе: он составил к «Дневнику» указатель имен, поскольку в упоминаемом множестве имен современному читателю ориентироваться было довольно трудно. Однако издание Барсукова, как и предыдущие, подверглось жесточайшей критике. В журнале «Russische Revue» (1874, № 8, 9), издававшемся в Юрьеве, профессор А. Брикнер выступил со статьей «Zur Charakteristik der Kaiserin Katharina II», где высказывал сомнения относительно научных достоинств барсуковского издания. Наконец, в 1901 г., после смерти Брикнера, редактор «Русского архива» П. И. Бартенев выпустил четвертое издание дневника

[1] *Поленов Д. В.* Об издании памятных записок А. В. Храповицкого. — Русский архив, 1867, № 5/6, стб. 921—952.

Храповицкого, которое воспроизводит издание Н. П. Барсукова 1874 г., включая старое предисловие.

Нам предстоит пользоваться текстом дневника Храповицкого, изданным в 1901 г. Это — последнее его издание.

* * *

Каким выступает перед нами автор дневника? Это — типичный екатерининский царедворец, сын века Просвещения и верноподданный. Он убежден, что просвещение — есть панацея от всех социальных бед. Едва успев приступить к ведению дневника, он записывает: «В 60 лет все расколы исчезнут; сколь скоро заведутся и утвердятся народные школы, то невежество истребится само собою; тут насилия не надобно» [2]. Вскоре он снова возвращается к этой мысли. «Заведением народных школ разнообразные в России обычаи приведутся в согласие и исправятся нравы» [3].

Однако наш автор проявляет явный интерес и к борьбе крепостных. Во время путешествия Екатерины в Крым участвовавший в нем Храповицкий записал: «Искал на карте деревню Сорокину и село Храпово; рассказывано о непослушании тех крестьян. . . они принадлежали гр. Апраксину и усмирял их Мансуров с воинскою командою»[4]. Автор считает нужным отметить в дневнике и такое событие: «Посылан был в Ямбург по случаю неспокойства работников на суконной фабрике» [5]. Не прошел он и мимо того факта, что Петербургская городская дума «искупила 33 человека, отданных за долги в работу, заплатя 2175 рублей. Может быть, и в других городах подействует сей пример» [6]. Все это свидетельствует, что социальный гнет продолжал напоминать о себе поклонникам Просвещения, веровавшим во всемогущество последнего.

Достоинством Храповицкого как автора является достоверность сообщаемых им сведений. Он находился довольно близко к Екатерине и долгое время пользовался полным ее доверием, чему способствовала сама должность секретаря. Храповицкий был одним из тех, кто исправлял грамматические ошибки Екатерины [7].

И все-таки ему пришлось покинуть дворец. Барсуков в предисловии к своей публикации «Дневника» дает тому объяснение: Екатерина прознала о дневнике своего секретаря и не могла терпеть соглядатая рядом с собой. Такое мнение вполне верно. Подтверждение ему, хотя и косвенное, мы имеем в самом дневнике. Во время крымского путешествия Храповицкий, обязанностью которого было вести официальный журнал поездки, делает следующую запись в своем дневнике: «Спрашивано, не пишу ли я журнала для себя? Не знаю, к чему относится»[8]. Словом, Екатерину очень беспокоило, не явля-

---

[2] Дневник А. В. Храповицкого. По подлинной его рукописи, с биографическою статьею и объяснительным указателем Николая Барсукова. М., 1901, с. 1. (Далее: Дневник).

[3] Там же, с. 2.

[4] Там же, с. 13. П. Д. Мансуров — генерал-поручик, сенатор.

[5] Там же, с. 3.

[6] Там же, с. 25.

[7] Там же, с. 120, 148.

[8] Там же, с. 19.

ется ли она предметом наблюдений своего секретаря, с которым так откровенна. Едва ли ей хотелось предстать перед потомками «без порфиры и венца»!

Однако, хотя объяснение Барсукова вполне правильно, оно все же неполно. Видимо, была и другая причина, не менее, а скорее, более важная, указание на которую мы находим в том же дневнике. Храповицкий явно потерял покой, когда московский главнокомандующий Прозоровский начал разгром масонов в подведомственном ему городе [9]. В июне 1793 г. он записывает: «Попов [10] мне божился, что по делу Новикова я только в одном реестре прежних масонов упомянут» [11]. И следом же: «Державин мне сказывал, что при нем меня и Ал. Ив. Васильева. . .[12] назвала мартинистами и что Новиков сочтен умным и опасным человеком» [13]. Автор дневника пытался оправдаться перед Екатериной, доказать, что масонство «старое» и масонство «новое» — не одно и то же. В августе 1793 г. «нашел я случай изъясниться о старом масонстве, что был в ложе Александра Ильича Бибикова [14] и что я же перевел „Société anti-absurde" сочинения ее величества. Кажется, что выслушан хорошо и некоторыми отзывами отделен от нынешних мартинистов» [15]. Однако эти объяснения не помогли автору дневника. Дальше уже идут записи о почетной отставке. «Я пожалован в тайные советники и сенаторы, окончa тем службу при дворе» [16]. Совершенно очевидно, что обвинение Храповицкого в масонстве и уход его из дворца — факты, совпадение которых было далеко не случайным.

Как уже говорилось, характерная черта дневника Храповицкого — обилие имен. Но главным его героем всегда оставалась сама Екатерина II. Вокруг нее группируются все события и люди, о которых повествует Храповицкий. Столь подробная и в столь неофициальной обстановке данная характеристика Екатерины в значительной мере помогает воссоздать подлинный облик «просвещенной» русской императрицы. В исторической литературе не раз ставился вопрос о причинах появления просвещенного абсолютизма и о том, в какой мере следует принимать всерьез увлечение Екатерины II, Иосифа II и Фридриха II идеями французского Просвещения. Портрет Екатерины, нарисованный Храповицким, что называется, «с натуры», позволяет решить этот вопрос с полной определенностью.

По материалам Храповицкого, Екатерина с самого начала предстает перед нами носительницей идей всесилия абсолютного монарха. По мнению автора дневника, это обстоятельство определялось уже

---

[9] Князь А. А. Прозоровский — генерал-аншеф и сенатор. Назначение его в Москву на должность главнокомандующего имело целью искоренение масонства.

[10] В. С. Попов — генерал-майор, управлял делами Потемкина, статс-секретарь Екатерины II.

[11] Дневник, с. 251.

[12] А. И. Васильев — видный чиновник Сената, потом сенатор, при Александре I — министр финансов.

[13] Дневник, с. 251.

[14] А. И. Бибиков, генерал-аншеф, участник подавления восстания Пугачева, был в милости у Екатерины II.

[15] Дневник, с. 255.

[16] Там же, с. 256.

самими размерами огромной России. Такого рода убеждение еще более окрепло, когда грянула Французская революция. В записи, относящейся к марту 1792 г., Храповицкий рассказывает, что у них зашла речь о том, каким должен быть государь, и Екатерина, сделав повелительный жест, сказала: «Одно движение мое дает дирекцию, куда чему итти должно» [17].

Патологическая страсть Екатерины к самовластию была тем центральным фактором, который оказывал влияние на все, что делала русская императрица. Это создало особую атмосферу в самой ее семье. Неприязнь матери к сыну Павлу объяснялась прежде всего тем, что он имел больше прав на русский престол, чем Екатерина, завладевшая троном путем переворота. Неудавшийся проект Н. И. Панина остался неопровержимым доказательством того, что Екатерина не допускала никакого ограничения своего самодержавия. Она решила оставаться у власти до конца дней своих и была озабочена лишь тем, сколько этих дней ей отпустила судьба. Императрица не раз признавалась в этом. «Я уверена, что, имея 60 лет, проживу еще 20 с несколькими годами», — говорила она в январе 1789 г.[18] В сентябре этого же года Храповицкий записал: «Поздравлял с праздником, желая, чтобы царствовали 60 лет. — „Нет, буду без ума и без памяти, проживу еще лет 20“» [19], — ответила Екатерина. Прожить до восьмидесяти с лишним лет ей, как известно, не удалось.

Екатерина не любила своих внучек. Когда родилась ее пятая внучка Ольга и по этому поводу стали палить из пушек, недовольная бабушка проворчала: «Стоит ли делать столько шуму из-за жалкой девицы» [20]. Причина подобного равнодушия к внучкам была проста. Недолюбливая Павла, представлявшего для нее прямую угрозу, Екатерина связывала судьбу трона с третьим поколением своего потомства, которое должно было ей наследовать. С этой точки зрения женский пол не представлял для нее интереса. Зато, как известно, всю свою любовь Екатерина сосредоточила на внуках — Александре и Константине. В Александре она видела будущего императора России, а Константин был ей нужен для внешнеполитических комбинаций.

Бесконтрольно распоряжаясь государственной казной, императрица была весьма расчетливым человеком; она экономила на многом, даже на придворном театре. Бывали случаи, когда актеры не получали жалованья по девять месяцев, смета на содержание театра урезывалась, «с повелением сделать разбор и чтоб всех лишних отпустить» [21]. Однако на то, что служило упрочению ее власти, Екатерина отпускала деньги с поистине царской щедростью. Стремление обезопасить свою власть выходило далеко за рамки семьи, принимало общегосударственные масштабы. Этому не могло не способствовать одно обстоятельство: царствованию Екатерины в России

[17] Там же, с. 229.
[18] Там же, с. 143.
[19] Там же, с. 180.
[20] Там же, с. 236.
[21] Там же, с. 150.

предшествовал период частых государственных переворотов, в цепи которых ее собственный приход к власти был последним звеном. Перед нею не могла не маячить опасность нового переворота, тем более что имелся постоянный претендент на трон в лице Павла. Екатерина не могла не знать, а знала она это даже по собственному опыту, что такие перевороты — дело рук придворной знати.

Поэтому вполне естественно, что ее щедрые милости распространялись прежде всего на ее придворное окружение. Тысячи крепостных, тысячи десятин земли, сотни тысяч рублей, ордена, чины и награды были буквально «обрушены» на сановников, высших военачальников, гвардейскую знать. Особую категорию среди них составили фавориты императрицы. Однако дело не ограничилось только верхами, не были забыты и широкие круги дворянства. Крестьянство России было отдано на поток и разграбление его феодальным владетелям. «Жалованная грамота дворянству» стала своего рода «Великой хартией вольности» русского дворянства. Екатерина II не упускала даже мелкого случая, чтобы не проявить внимания к дворянству. Стоило только костромским дворянам прислать плотников для строительства в адмиралтействе, как в дневнике Храповицкого появляется запись об «объявленном благоволении костромским дворянам за дачу плотников». «Это мое заигрывание с костромским дворянством»,— сказала императрица, прибавив, что если такие отношения будут налаживаться, то «мы можем считать себя счастливыми» [22].

Что в этом был прямой расчет Екатерины, от которого она ждала себе выгоды, показывает более поздняя запись, касавшаяся все того же костромского дворянства. Костромичи-дворяне «изъяснили благодарность на благоволение монаршее за высылку в адмиралтейство плотников». И снова — ответная реакция Екатерины, которую Храповицкий изложил в своей обычной манере: «Тут изъяснились, что все учреждения и установления, на пользу подданных ее величеством сделанные, приносят свои плоды. Доказательством тому добровольное представление рекрут от разных губерний. Может быть, в будущем году не сделаю рекрутского набора, и это хорошо, что среди войны набора не будет» [23]. Словом, за милости Екатерины дворянство щедро платило ей своей поддержкой.

В то же время императрица была сурова к тем, кто вспоминал о традициях боярского сепаратизма. Храповицкий записал: «Тут говорено о боярском несогласии, выводящем из терпения. Я сказал: „каждый о своем думает, а вы обо всем беспристрастно“» [24]. Что Екатерина не терпела никакого проявления дворянского сепаратизма, показало и обсуждение ее «Уложения». Она была скупа на чины и ордена для тех, кто служил недостаточно усердно. В связи с этим обращает на себя внимание вопрос об иностранцах. В екатерининской администрации и армии было, как известно, немало иностранцев. Отношение к ним у Екатерины было настороженным. Во

---

[22] Там же, с. 100.
[23] Там же, с. 110—111. Шла война с Турцией и Швецией.
[24] Там же, с. 142.

время войны со шведами полковник Роберти, комендант Балтийского порта, имея перевес в силах, постыдно сдал свой порт противнику. Это вызвало гневную реакцию императрицы: «Что же он спас? — хочу знать. Себя только. Русский этого не сделал бы»[25].

Можно ли из данного общего ряда фактов, характеризующих направление политики Екатерины, вырывать ее отношение к французскому Просвещению? Конечно, нет. Щедрое цитирование и даже сплошное переписывание сочинений французских просветителей в «Уложении» вполне согласовалось у Екатерины с защитой крепостнических интересов дворянства и политических прерогатив русского престола. Дружба с французскими просветителями не заставила ее поступиться ни единым принципом крепостничества и абсолютизма. Такой же она предстает перед нами и в дневнике Храповицкого.

Даже во время путешествия в Крым (1787 г.) Екатерина все еще справлялась о мнении «Энциклопедии» по тому или иному вопросу. Даже слово «дуэль» потребовало такой справки. Автору «Дневника», выполняя поручение Екатерины, пришлось предпринять целое изыскание по этому вопросу[26]. Императрица желала, чтобы ее манифест о дуэлях не был в противоречии с «Энциклопедией». В том же году, однако, встречается и другая запись: «Приказано написать в Москву, чтоб запретить продажу всех книг, до святости касающихся, кои не в синодальной типографии печатаны»[27]. В данном случае, как видно, справки из «Энциклопедии» уже не требовалось.

Но ничто так не обнажало всю глубину фальши отношения русской императрицы к французскому Просвещению, как сама Французская революция. В дневнике Храповицкого это событие заняло особое место.

Первая запись о событиях во Франции встречается 26 апреля 1787 г., во время путешествия в Крым. Во Франции созывается собрание нотаблей. Как и на многих современников в России, это известие не произвело на окружение Екатерины сколько-нибудь серьезного впечатления. «Не всякому сие удается, — записал Храповицкий, — мы могли сделать собрание депутатов»[28]. Ясно, что при петербургском дворе еще не видели разницы между собранием депутатов для обсуждения екатерининского «Уложения» и тем, что начиналось в Париже.

О гораздо большем впечатлении говорит запись от 12 сентября того же года: «Позвав, с удивлением прочли для меня из немецких газет известие» о перемещениях во французском правительстве. Но еще более сильная тревога прозвучала в словах Екатерины, сказанных дальше: «Еще прежде писали о народе, метавшем грязью в карету королевы, когда ехала в оперу и принуждена была воротиться». Заканчивается эта запись коротко, но выразительно: «Плакали»[29].

---

[25] Там же, с. 191.
[26] Там же, с. 14.
[27] Там же, с. 25.
[28] Там же, с. 19.
[29] Там же, с. 29.

Поругание королевского достоинства заставило Екатерину расплакаться.

Вести из Франции становились все более тревожными: король дал обещание созвать Генеральные штаты. Этот шаг Екатерина считала опасным. В чем усматривала императрица выход из положения, показывает запись Храповицкого от 9 января 1788 г. «Разговор об обстоятельствах Франции и что ей должно войти в войну, дабы избегнуть сделанного королем обещания о собрании чинов государственных» [30]. В августе же 1788 г. курьер привез из Парижа известие, что в мае 1789 г. состоится созыв Генеральных штатов [31]. Однако настоящую беду Екатерине принес июль 1789 г. «Во Франции перемена министров, Неккера и бунт. . . народ взволновался, взяли подозрение на королеву, разбили Бастилию. . . Король приходил в собрание депутатов. . . тут и утвердили свою милицию, над коей начальник Лафайетт. . . Разговор ее величества о происшествии в Париже. Кому нужен такой король. Он всякий вечер пьян, и им управляет кто хочет. . . уговорили его итти в собрание депутатов. Все знатные и принцы крови выезжают из Франции, многие уже в Брюсселе» [32], — спешит записывать Храповицкий. За всем этим чувствуется раздражение Екатерины никчемностью Людовика XVI.

Теперь императрицу уже трудно было удивить каким-либо известием из Франции. Особенно ее ужасало надругательство над королевской властью: «Сказывали, что по случаю рассуждения в Государственном собрании по поводу королевского вето хотели короля и дофина взять в Лувр, а королеву посадить в Сен-Сир, но все успокоил Лафайетт. Я: это настоящая анархия. Да, они способны повесить своего короля на фонарном столбе. Это ужасно» [33].

Судя по всему, в Петербурге ломали голову над вопросами, каков для Франции выход из положения, что должен сделать король. Об этом говорили все, с кем доводилось встречаться Храповицкому. «О короле французском: я бы лучше желала, чтобы его выгнали из Версаля и заточили в Меце. Тут бы дворянство к нему пристало». Таково мнение самой Екатерины. «Вчера я сказала Сегюру, что Генрих IV называл себя первым дворянином, а Людовик XIV в тяжелые моменты говорил, что станет во главе дворянства. Он отвечал вздохом». Такова реакция французского посла. К этому автор дневника прибавил реплику, которая выражала всеобщее мнение дворянских кругов: «И как можно сапожникам править делами. Сапожник умеет только делать башмаки» [34].

Особое впечатление на Екатерину произвело выступление парижских женщин, когда голодные массы перевели «короля-хлебопека» из Версаля в Париж. В нем она усмотрела особую неистовость и бескомпромиссность революции. «Изволила мне сказать, — записал Храповицкий, — что 5 октября нового стиля рыбачки, которых теперь зовут

---

[30] Там же, с. 35.
[31] Там же, с. 78.
[32] Там же, с. 174.
[33] Там же, с. 180.
[34] Там же, с. 181.

госпожами рынка, забунтовали и короля с фамилией на другой день перевезли на житье в Тюльери. Его ждет судьба Карла I» [35].

Теперь Екатерина поняла, что события во Франции уже необратимы. Подтверждение своей мысли она находит в литературе: «Ее величество заметила нынешнее время эпохою в рассуждении бунтов: не терпят поголовной подати. Слово Кромвелево в мемуарах кардинала Ретца, что во время бунта нельзя иметь плана, но само собою выльется. Приказали подать сию книгу» [36]. Во Франции уничтожили феодальные титулы, не приключится ли чего с самим королем? Сегюр уже уехал из Петербурга, но из его письма к Женеру, новому французскому послу в России, знали, что парижские власти опасаются, «чтоб не сделалось чего с королевскою фамилиею в праздник на Марсо́вом поле» [37].

Стали поступать сведения, что русские в Париже заражаются идеями революции, и надо было преградить доступ этим идеям в Россию. И. М. Симолин, русский посол в Париже, получает строжайшее повеление, «чтоб в Париже всем русским объявил приказание о скорейшем возвращении в отечество. Там сын графа Александра Сергеевича Строганова с учителем своим вошли в члены клуба жакобинов и пропаганде свободы» [38]. Нужно было тем более торопиться с отъездом русских из Парижа, что королевская власть во Франции уже и не помышляла овладеть положением. О Людовике XVI долетали самые разноречивые сведения, но наконец выяснилось, что он бежал из Парижа «переодетый, под чужим именем, и на пути опознал их почтмейстер в Сен-Менегуле, а на соседней станции в Варенне муниципалитет и национальная гвардия их поворотили в Париж». Скоро пришло подтверждение: «Король французский действительно пойман. У королевы найден паспорт мадам Корф, урожденной Штегельман» [39].

События вступили в новую фазу: встал вопрос об оказании прямой помощи Бурбонам в виде интервенции или в какой-либо иной форме. Как известно, при петербургском дворе были сторонники участия России в интервенции, к ним принадлежал последний фаворит Екатерины — Платон Зубов. Дневник Храповицкого рассказывает лишь о том, что делала сама Екатерина. «Барон Бомбель привез письма от братьев короля французского и от принца Нассау. По словам Бомбеля, ее величество сказывала мне, что в Пруссии все готовы к возмущению и хотят подражать Франции». Ответом на такой визит была финансовая помощь. «Взято секретно на 500 тыс. рублей векселей на предъявителя для употребления по делам французским. . . Ввел я поутру барона Бомбеля в китайскую комнату (в царскосельском дворце. — *М. А.*). Тут он принял от государыни письма и векселя к принцам французским» [40].

[35] Там же, с. 183.
[36] Там же, с. 186.
[37] Там же, с. 199—200.
[38] Там же, с. 202.
[39] Там же, с. 214.
[40] Там же, с. 217. Барон Бомбель — бывший посол Людовика XVI в Венеции, в то время представитель Бурбонов в Петербурге. Принц Нассау-Зиген — вице-адмирал русской службы, представитель Екатерины при братьях Людовика XVI.

Однако этим дело не ограничилось, встала проблема интервенции. Инициаторами последней выступили император австрийский и король прусский. «Было у сих государей и свидание с графом д'Артуа, и дано обещание о вспоможении по французским делам, чему принц Нассау был свидетель. Обнадеживание в помощи ее величества; но с тем, чтобы принцы и король с фамилией были согласны, имели основательные правила и в деле не плошали. Спрошен: каково письмо? Сильно? Им надобно вложить душу в брюхо». Речь идет о письме Екатерины к графу д'Артуа (брат Людовика XVI, впоследствии Карл X). Об этом письме Храповицкий пишет более подробно: «Списывал еще копию с письма к графу д'Артуа; тоже подтверждение о согласии и единодушии; нужно геройство, пример — Генрих IV, который меньше имел выгод, но он добился того, что смирил Францию по праву победы и по праву рождения. Ее величество сказать мне изволила, что это письмо достойно того, чтобы его напечатать» [41].

Цитированные записи Храповицкого указывают со всей ясностью, что Екатерина взяла на себя роль вдохновительницы интервенции. Больше того, она торопила с интервенцией. «Еще письмо к Циммерману нарочно по почте отправлено, чтобы прусский король вошел войсками во Францию. Он может, если захочет. Я таким же образом подучила и короля шведского» [42]. Правда, поведение самого Людовика XVI портило настроение Екатерины. «Вчера приехал курьер из Парижа, что король, вошед в Собрание Национальное, подписал публичную конституцию. . . Приметная досада. Можно ли помогать такому королю, который сам своей пользы не понимает» [43]. Тем временем подготовка интервенции шла своим чередом, и это вдохновляло Екатерину. «Вчера к вечеру приехал Бомбель с депешами от принцев французских и Нассау-Зигена. Мне сказано поутру, что честным правилам моим все отдают справедливость; я из политики исключила обманы» [44], — записал Храповицкий 8 октября 1791 г.

Ответ Екатерины не заставил себя ждать. «Списал я копию с письма к королевским братьям и с другого к Нассау. Общее оных содержание: 1-е. Дали 500 тыс. рублей и еще дадут столько же для употребления на восстановление французской монархии и возвращение королевской власти. 2-е. Совет принцам, чтобы действовать единодушно, полагаясь более на собственные силы, нежели на союзные. 3-е. Замечание принцу Нассау: не трудно ли брать Страсбург врасплох? Если вы это предпримете, то не промахнитесь, ибо первая удача утвердит кредит принцев, а неудача обратится во вред их делам» [45]. Русская императрица щедро раздавала советы, судила и рядила о поступках других повелителей Европы. «Заставили переписывать 13 страниц в четверку французского собственноручного письма королю шведскому со многими изъяснениями, относящимися к делам

---

[41] Дневник, с. 219.
[42] Там же. Циммерман — лейб-медик ганноверского двора, просветитель, состоял в переписке с Екатериной II и Фридрихом II.
[43] Там же.
[44] Там же, с. 220.
[45] Там же, с. 223.

французским. Тут советовано: 1. Отозваться на прием конституции как король гишпанский (т. е. враждебно. — *М. А.*). 2. Под видом отпуска отозвать министров из Парижа (речь идет о послах. — *М. А.*). 3. Ничего не начинать до весны, ожидая, что покажут обстоятельства и на что решатся другие державы» [46]. Стоило только замешкаться австрийскому императору, как последовала реплика Екатерины, что ей «непонятен поступок императора». Она уверена, что в окружении императора появился человек, который «подкуплен французскими бунтовщиками» [47].

Однако сама Екатерина, как показали события, вовсе не собиралась ввязываться в интервенцию. Она этого и не скрывала перед своим секретарем. В записи от 14 декабря 1791 г. читаем: «Бьюсь лбом, чтобы подвинуть венский и берлинский дворы в дела французские. Я: они не очень активны. Нет, прусский бы пошел, но останавливается венский. . . Они меня не понимают. Виновата ли я? Есть причины, о которых не говорят; мне хочется ввести их в дела, чтобы самой иметь свободные руки. У меня много предприятий не оконченных, и надобно, чтоб они были заняты и мне не мешали» [48].

Иностранцам, замешанным в революционных событиях, въезд в Россию был теперь наглухо закрыт, браки с ними категорически запрещены. Исключений не бывало. Стоило только Екатерине узнать, что «жившая долгое время в Париже княгиня Варвара Шаховская выдала дочь свою за принца Аренберга и они едут сюда», как последовало указание, чтобы Аренберга «в Россию не впускать как участника в двух бунтах — французском и брабантском. Но обе княгини возвратиться могут. Мне сказано: ,,Хочу на этот раз действовать решительно“». Не стало дело и за своего рода «теоретическим обоснованием»: «Здравая политика запрещает, чтобы иноверцы владели крестьянами, господствующую веру исповедующими. При браках дворянских дочерей с иностранными надлежит наблюдать, дабы по закону, при Петре I изданному, дети крещены были в нашу веру, а иначе родится со временем разномыслие между владетелями и подданными. Принцу Аренбергу не владеть никогда крестьянами княгини Шаховской; их до 13 тыс. душ в Перми; по его развратности, от чего, боже сохрани, может выйти беда» [49].

От французов можно было ждать теперь любого лиха. Много переполоху наделал секретный указ «здешнему губернатору, чтоб искать француза, проехавшего через Кенигсберг. . . со злым умыслом на здравие ее величества; взяты предосторожности на границе и в городе» [50].

За этим последовали события еще более важные: оказалось, что не только французы, но и вся Французская революция повели себя крайне вызывающе. «Прискакал граф Эстергази с известием,

---

[46] Там же.
[47] Там же, с. 224.
[48] Там же, с. 226.
[49] Там же, с. 228—229. Брак между княгиней Шаховской и принцем Аренбергом был расторгнут.
[50] Там же, с. 231.

что французы объявили войну австрийцам; подтверждение о том же на эстафете из Берлина. Довольны»[51]. Последнее слово в этой записи весьма красноречиво. Оно недвусмысленно указывает, что Екатерина была удовлетворена таким оборотом событий: Франция сама полезла в войну, а следовательно, настает время военного разгрома революции силами интервентов. Что императрица не сомневалась в разгроме французов, показывают последующие записи ее секретаря. «Принц Нассау готовится ехать в Кобленц по делам французским»[52], — записывает он 10 мая 1792 г. «Спрошен для того только, чтоб достать складную карту Франции. Тут мне сказано: „Я хочу видеть, как союзные войска станут входить“»[53], — читаем мы в записи от 24 июля.

Однако вместо ожидаемых победных реляций пришло ошеломляющее известие о «новом в Париже смятении, случившемся 30 июля (10 августа). Король свергнут. В Тюльери было кровопролитие, и король с фамилией пришли и остались в Народном собрании. Еще не назначено, где будут содержать короля. Ее величество, говоря о том со мной, сказала: „Это ужасно!“»[54] В Париже стали разрушать памятники королям; «статуя Людовика XIV поставлена 10 августа 1692, а низвержена и разрушена 10 августа 1792 н. с.». В этом Храповицкий видит нечто символическое. «Не уцелела статуя и доброго Генриха IV; в тот же день и ее разрушили. Нынешнего короля с его фамилией, пока кончат его процесс, содержат в Тампле, в башне несостоятельных должников»[55].

Дальше последовали события одно тревожнее другого. «Читали мне готовое письмо к принцу де Линю с сожалением о смерти сына его, в сражении французами убитого. Тут довольно круто писано о худых успехах прусской и австрийской армий и сколько сострадают несчастью французских принцев. Хотят, чтоб сие письмо видел император. Послали к Зубову на низ; там присоветовали, чтоб пустить и через Берлин. . . дабы и в Берлине могли перелюстровать»[56]. Иначе говоря, Екатерина непрочь была поиздеваться над союзниками за их поражения. В письме, между прочим, в таком же издевательском тоне было сказано, что плохая погода вовсе не мешает побеждать. Знали при петербургском дворе и то, что «прусский король и император искренне согласны продолжать войну против Франции, но кабинеты их тому противны. Мы хотим втянуть в войну Англию, но сие несбыточно. Питт нам недоброжелатель, что самое сказал государыне при подписании бумаг»[57].

В последний день января 1793 г. пришла весть, которой больше всего боялись. «Поутру дошло до ее величества известие, что несча-

---

[51] Там же. Эстергази был послан графом д'Артуа к Екатерине за помощью, но навсегда остался в России.
[52] Там же, с. 232.
[53] Там же, с. 237.
[54] Там же, с. 238.
[55] Там же.
[56] Там же, с. 242. Принц де Линь — австрийский фельдмаршал. Участник путешествия Екатерины в Крым. Был при Потемкине во время осады Очакова.
[57] Там же, с. 243.

стный Людовик XVI обезглавлен 10 (21) января 1793. Наложен траур на шесть недель»[58]. Реакция Екатерины на это событие была самая острая. «С получения известия о злодейском умерщвлении короля французского ее величество слегла в постель и больна и печальна. Благодаря бога, сегодня лучше, — пишет он 2 февраля 1793 г. — Ее величество говорила со мной о варварстве французов и о явной несправедливости в утайке голосов при осуждении. Это — вопиющая несправедливость даже по отношению к частному лицу. Когда узнали сие в Лондоне во время спектакля. . . то все зрители не велели играть и разошлись. Англия расположена разорить Францию. Надо непременно уничтожить самое имя французов»[59]. 8 февраля Храповицкий записал: «Подписан указ Сенату о разрыве политической связи с Францией и о высылке из России всех тех обоего пола французов, которые не сделают присяги по изданному при указе образцу»[60].

Стало известно, что «короля Людовика XVI брат граф д'Артуа уже в дороге и скоро сюда будет. Недовольны сим посещением»[61]. На первый взгляд кажется неожиданным, что при таком сочувствии делу Бурбонов Екатерина была недовольна приездом графа д'Артуа. Однако причина такого недовольства коренилась в изменившейся обстановке. Приезд этот был некстати по двум причинам: предполагалось, что Бурбоны будут просить новых субсидий, а кроме того, вовлекать Россию в интервенцию, участие в которой не входило в планы Екатерины. Гость скоро появился, был принят с почетом, ему подарили шпагу в 10 тыс. рублей; митрополит отслужил над ней молебен, окропил ее святой водой, но не было обещано ни субсидий, ни участия России в интервенции. Ничего не изменил и факт, нашумевший во время пребывания д'Артуа в Петербурге: прибыл курьер с известием, что маршал Дюмурье «передался австрийцам 22 марта (2 апреля). Было у него и прежде секретное о том условие. Теперь с 20 тысячами идет он для восстановления короля в Париж, а австрийцы за ним пойдут. Граф д'Артуа сим происшествием уже и недоволен, думая, что правление попадет в руки королевы»[62]. Потом выяснилось, что Дюмурье «не предуспел склонить французскую армию на свою сторону и принужден был сам с малым числом передаться австрийцам. . . Ее величество сказать мне изволила, что и прежде то думала»[63]. Это свидетельствует, что ход событий убедил Екатерину в том, что Бурбоны не справятся с революцией.

В середине апреля 1793 г. граф д'Артуа ни с чем выехал из Петербурга в Англию, но оказалось, что в Лондон его совсем не пустили; «выслали ему навстречу пакетбот, прикрывая отказ тем, что по долгам может он встретить неприятности от своих заимодавцев в Лондоне, где правительство, по законам английским, его освободить от

58 Там же, с. 245—246.
59 Там же, с. 246.
60 Там же, с. 247.
61 Там же.
62 Там же, с. 248—249.
63 Там же, с. 251.

того не может. . . Сим поступком очень недовольны здесь» [64]. Англия не спешила с интервенцией. Не собиралась принимать участие в ней и Россия, хотя в Петербург уже стали стекаться французские эмигранты. В числе последних записей в дневнике Храповицкого есть и такая: «Представлен и хорошо принят князь Шуазель-Гуфье, бывший короля французского министр в Цареграде и оттуда приехавший прямо к нам. Ему дают пенсию. . .» [65] Это был тот самый Шуазель-Гуфье, который потом стал директором Публичной библиотеки, а в 1802 г. вернулся во Францию.

На этом кончаются сведения «Дневника Храповицкого», касающиеся Французской революции. Вполне возможно, что он знал о событиях во Франции больше, чем занес в свой дневник. Несомненно и другое: в то время, когда он писал дневник, ему доводилось слышать далеко не все. Об этом можно судить по самому дневнику. «Явился принц Нассау, и по делам французским разные изъяснения с ним продолжаются» [66], — пишет он в одном месте. «Сего утра с Симолиным, из Парижа приехавшим, разговаривали больше часа» [67]. Такие беседы проходили без участия секретаря. Но и те сведения, которые попали в «Дневник Храповицкого», представляют собой большую ценность.

Французская буржуазная революция, как известно, оказала влияние не только на события последнего десятилетия XVIII в., но и на весь XIX век. Не была здесь исключением и Россия, тем более екатерининская, современная Французской революции и к тому же незадолго до того пережившая восстание Пугачева. Интересующий нас дневник в полной мере отразил реакцию своего главного героя — Екатерины II на положение в самой России в связи с революцией во Франции.

В августе 1789 г. Храповицкий сделал запись, которая, несмотря на обычную лаконичность, обнажает позицию Екатерины в этом вопросе. «Разговор о Франции. Со вступления на престол я всегда думала, что ферментации там быть должно» — так начинается эта запись. Причину «ферментации» русская императрица видит в неправильной политике французского абсолютизма: «Не умели пользоваться расположением умов» — таков вывод Екатерины. И она стала говорить о том, что сделала бы сама, будь она на месте французского короля. Просветителей — а это честолюбцы — она «взяла бы к себе и сделала своими защитниками! Заметь, что делала (я) здесь с восшествия?» Так со всей откровенностью Екатерина объяснила смысл своего заигрывания с просветителями. В этой политике она была весьма последовательна: когда издание «Энциклопедии» оказалось во Франции под угрозой, она предложила ее создателям перенести осуществление их замысла в Россию. Теперь все это уже было позади, Екатерину тревожило другое: спокойно ли будет в самой России во время Французской революции? «Может (ли) у нас

---

64 Там же.
65 Там же.
66 Там же, с. 227.
67 Там же, с. 231.

в черни произвесть ферментацию рекрутский набор не с 500 одного, но с 500 пяти, и ныне должны к тому приступить»[68].

В феврале 1793 г., когда состоялась казнь Людовика XVI, Храповицкий, передавая разговор с Екатериной об этом событии, пишет: «Был оборот к собственному ее правлению, с вопросом у меня о соблюдении прав каждого». Снова все тот же вопрос: «Не будет ли худа в России?». Храповицкий знал, что отвечать. Ему было прекрасно известно, что Екатерина делала ставку на поддержку дворянства. «Я отвечал, что не токмо ни у кого ничего не отнято при новых установлениях, для пользы государства нужных, но и права и привилегии нам пожалованы и утверждены ее величеством»[69].

Не только Французская революция, но даже такое событие, как война за независимость английских колоний в Америке, казалось Екатерине страшной крамолой. В 1782 г. Храповицкий записал слова императрицы: «Я его не люблю — портрет Франклина»[70]. А вот запись 1786 г.: «За туалетом спрашивали у Рожерсона, смеются ли тому в Англии, что 15-ти провинций лишились. Он отвечал, что, кажется, позабыли». На что последовала реплика вопрошавшей: «Сего никак забыть не можно»[71].

Эта постоянная тревога — спокойно ли будет в России — делает понятной неистовость, с которой Екатерина, рекламировавшая свою приверженность к Просвещению, обрушивалась на любое инакомыслие в собственной стране. В масонстве она видела уже страшную опасность для трона. Само назначение князя А. А. Прозоровского главнокомандующим в Москву было рассчитано на то, что этот реакционер искоренит в старой столице свободомыслие. Масонство было превращено в жупел, при назначении на должность решали, не мартинист ли. На деле под видом борьбы с мартинизмом велась борьба с демократическим, антиабсолютистским движением. Особое место в ней заняло беспощадное преследование Н. И. Новикова. В дневнике Храповицкого это прослеживается весьма отчетливо.

«Новикову не отдавать университетской типографии. Это — фанатик»[72], — записал автор дневника 15 октября 1788 г. Это значило, что еще до начала революции во Франции терпение Екатерины по отношению к Новикову было на пределе. Когда разразилась революция, с Новиковым решено было покончить. В начале мая 1792 г. в дневнике появляется: «С московской почтой получено секретное донесение кн. Прозоровского о взятии Николая Новикова и его деревни; он уже допрашиван и содержится в своем доме под присмотром. На вопрос: где взял имение, он объявил о типографском обществе в 14 человек состоящем и признался в продаже прежде напечатанных запрещенных книг церковных. Приказали показать Зубову и отослать к Шешковскому»[73].

---

[68] Там же, с. 176.
[69] Там же, с. 246.
[70] Там же, с. 1.
[71] Там же, с. 11. Рожерсон — лейб-медик Екатерины, родом англичанин.
[72] Там же, с. 100.
[73] Там же, с. 232.

Из записи 18 мая узнаем: «Подал я пакет Шешковскому и, переправя, переписал указ им заготовленный к шлиссельбургскому коменданту о верном принятии и содержании арестанта, которого пришлет князь Прозоровский (это будет Новиков. — *М. А.*)». Речь шла не только о «верном принятии и содержании», но и о полной секретности всего дела. «Указ подписан; но, позвав меня, выговаривали, зачем не сам принес, а послал с Захаром, хотя и сказывал я, что он грамоте не знает»[74]. В конце месяца (29 мая) стоит одинокая строчка: «Узнал я, что в крепость шлиссельбургскую привезен Новиков»[75]. Следующая запись о Новикове еще более выразительна: «Вышел указ, подписанный 1-го августа, о содержании Новикова 15 лет в крепости шлиссельбургской. . .»[76] Наконец, последняя запись, относящаяся к этому делу и уже приводившаяся нами выше, где и сам Храповицкий зачислен в мартинисты, а Новиков «сочтен умным и опасным человеком»[77].

Прозоровский вполне оправдал надежды Екатерины, о чем пришлось записать самому же Храповицкому. «Приехал из Москвы князь Прозоровский. Помешал читать газеты». Екатерина спросила у своего секретаря, знает ли сам Прозоровский, зачем он вызван. «Я промолчал. Но он приехал, сиречь, к награде за истребление мартинистов»[78].

Еще больший переполох в покоях императрицы вызвала книга А. Н. Радищева. «Говорено о книге „Путешествие от Петербурга до Москвы". Тут рассевание заразы французской: отвращение от начальства; автор мартинист; я прочла 30 страниц. Посылка за Рылеевым. Открывается подозрение на Радищева»[79]. Так гласит запись от 26 июня 1790 г., а 2 июля уже сообщается: «Продолжают писать примечания на книгу Радищева, а он, сказывают, препоручен Шешковскому и сидит в крепости»[80]. Через пять дней речь в дневнике идет уже о более обстоятельных комментариях Екатерины к книге Радищева: «Примечания на книгу Радищева посланы к Шешковскому. Сказывать изволила, что он бунтовщик хуже Пугачева, показав мне, что в конце хвалит он Франклина как начинщика и себя таким же представляет. Говорено с жаром и чувствительностью»[81]. И наконец, «Доклад о Радищеве; с приметной чувствительностью приказано рассмотреть в Совете, чтобы не быть пристрастной. . .»[82].

Дневник Храповицкого — свидетельство очевидца о том, в какое бешенство привела Екатерину книга Радищева. Решив прикрыть расправу над ним маской беспристрастия, повелительница оказалась не в состоянии скрыть своей «приметной чувствительности». Именно

[74] Там же, с. 233.
[75] Там же, с. 234.
[76] Там же, с. 237.
[77] Там же, с. 251.
[78] Там же, с. 245.
[79] Там же, с. 198. Н. И. Рылеев — петербургский обер-полицмейстер.
[80] Там же.
[81] Там же, с. 199.
[82] Там же, с. 201.

неистовая ненависть к идеям Радищева заставила императрицу проштудировать его книгу от корки до корки. Это тем более понятно, что дело происходило во время Французской революции.

Особое место в дневнике Храповицкого отведено занятиям Екатерины русской историей. В первой записи об этом от 22 июня 1791 г. читаем: «Принялись за российскую историю; говорили со мной о Несторе»[83]. На следующий день: «Упражняются в продолжении истории российской; поднес книги и выписки, к тому принадлежащие»[84]. Запись от 6 июля: «Упражняются в продолжении истории»[85]. 6 августа: «Призван для выслушания раздробления России на удельные княжения во время нашествия татар; их сочтено до 70. Посудите, как было татарам не иметь успеха. Я еще новое напишу примечание о тогдашних татарах»[86]. Кстати сказать, Храповицкий записал мнение Екатерины о роли татарского ига в русской истории, относящееся ко времени, когда императрица еще не занималась русской историей. «Есть две эпохи, во время коих русские от Европы отстали: время власти татарской и время междоусобия, когда шведы и поляки большую партию имели. Тут старались только о частных выгодах, а общее дело забывали; но и тут вышли великие люди. Я сказал: ,,Беды порождают великих людей". Повторено, и мысль сия утверждена»[87].

В начале двадцатых чисел сентября того же 1791 г.: «Во время разговоров об истории российской сказано мне, что Александр Невский был герой; нашли то, чего никто здесь не написал, т. е. что папа, отправя нарочитого легата, поощрял в Норвегии, Дании и Швеции составить кроасаду (крестовый поход) против Александра Невского; но намерение сие осталось бездейственным»[88]. 25 сентября: «Позван, и с час времени читали мне историю российскую. Тут есть примечание о татарах и их силе при нашествии на Россию; жизнь св. Александра Невского без чудес»[89]. Наконец, из записи от 25 марта 1792 г. узнаем, что работа Екатерины над русской историей подходит к концу: «При разборе внутренней почты мне сказывали, что упражняются теперь в родословной российских великих князей, что это — поверка истории и хронологии»[90]. Последняя запись в дневнике, касающаяся занятий императрицы историей, относится к 24 июля 1793 г.: «Читано мне родословие князей литовских, по течению истории, в коей ее величество упражняется»[91].

---

[83] Там же, с. 213.
[84] Там же, с. 214.
[85] Там же.
[86] Там же, с. 216.
[87] Там же, с. 165.
[88] Там же, с. 219.
[89] Там же, с. 220.
[90] Там же, с. 230.
[91] Там же, с. 254.

Для своей работы над русской историей Екатерина собирала источники. Из записи от 29 октября 1791 г. явствует: «Занимаются главнейше российской историей и делами французскими. Получены вновь летописцы от митрополита Платона и не два раза подтверждали, чтоб скорее переплесть» [92]. В этой записи обращает на себя внимание очень важное обстоятельство — все внимание Екатерины в это время занимали русская история и Французская революция. Невольно напрашивается мысль о наличии внутренней связи этих забот Екатерины.

Записи о работе над источниками следуют одна за другой. На следующий день: «Поднес переплетенные летописцы, от митрополита Платона присланные и, приискав тут известие о кончине киевского великого князя Владимира Рюриковича, получил благодарность» [93]. Вслед за этим: «Два раза призыван был для разговора о российской истории. Довольны, что нашли в Степенной книге имя опекуна короля шведского Вольдемара I, с коим сражался св. Александр Невский». Запись от 7 ноября 1791 г. сообщает: «. . .призван для разговора об истории и о редкостях, представленных Алексеем Ивановичем Мусиным-Пушкиным. Это был рубль, неизвестно которого Владимира; в нем $^1/_4$ фунта чистого серебра» [94]. 9 декабря того же 1791 г. Храповицкий записывает: «Приказали написать к черниговскому епископу, чтоб, списав верно из библиотеки таможней семинарии летописец, в 1699 году Боболинским сочиненный, прислал сюда через почту по тетрадям» [95]. Екатерина гордилась своей работой; она, видимо, охотно высказывала эти чувства, в особенности перед людьми, которые сами занимались русской историей. У Храповицкого есть запись от 4 мая 1793 г., где приведены слова Екатерины, позволяющие думать об этом. «Сказывали, что Елагин дивится, откуда собран родословник древних князей российских, и многое у себя в истории поправил» [96].

Следовательно, Храповицкий оказался свидетелем того, что с июня 1791 по июль 1793 г., т. е. в самый разгар Французской революции, Екатерина весьма прилежно занималась русской историей. Явление удивительное! Казалось бы, это было время, не совсем подходящее для занятия историей! Дореволюционная русская историография решала проблему традиционно: Екатерина дописала русскую историю для своих внуков. В советской исторической науке вопрос об этой стороне деятельности императрицы вообще не стоял: ни в одной историографической работе нет даже упоминания о ней как об историке, ее труд оценивается как не имеющий никакого научного значения, об этом вообще не принято говорить всерьез. Думается, что и тот и другой подход неверен.

Пусть Екатерина писала русскую историю для своих внуков (так оно, видимо, и было, причем имелся в виду Александр, в котором

[92] Там же, с. 223.
[93] Там же.
[94] Там же.
[95] Там же, с. 225.
[96] Там же, с. 250.

Екатерина видела будущего императора России), но ведь главное состоит в том, какими же идеями, по мысли царицы, он должен был руководствоваться. Об этом можно судить по самой работе Екатерины, которая, как известно, дошла до нас целиком. Если с точки зрения источниковедческой труд русской императрицы оставляет желать много лучшего, то по своей исторической концепции он занял вполне определенное место в борьбе исторических идей своего времени. Случайно ли в самый острый момент истории Европы (Французская революция) и под впечатлением только что пережитого социально-политического кризиса в России (восстание Пугачева) Екатерина берется за русскую историю? Отнюдь, как не был случайным и выбор периода для изучения — древняя русская история, исходный момент истории России. Это была попытка противопоставить Россию Франции, доказать, что по самим своим историческим истокам крепостническая, самодержавная Россия является противоположностью революционной Франции.

Стоит вспомнить, что история Киевской Руси находилась тогда в центре идейных коллизий в русской исторической науке. Незадолго перед тем родился, как мы видели, варяжский вопрос: в спорах по нему речь шла об истоках русской истории. В годы правления самой Екатерины сформировалось официально-дворянское направление в русской исторической науке, приверженцы которого (М. М. Щербатов, И. Н. Болтин и их младший современник Н. М. Карамзин) рассматривали варяжский вопрос в ином аспекте. Если М. В. Ломоносов, Г.-Ф. Миллер и А.-Л. Шлецер спорили о том, был Рюрик славянином или варягом, иными словами, спор сводился к проблеме этнической принадлежности Рюрика — откуда он пришел? — то Щербатова, Болтина и Карамзина, помимо этого, интересовал и более важный вопрос: какую власть он с собою принес? Являлся ли он неограниченным правителем (такую идею развили до ее логического завершения Н. М. Карамзин, а затем М. П. Погодин) или был ограничен властью аристократии (как полагал М. М. Щербатов).

Из этого вытекала животрепещущая проблема, поставленная в русской историографии в связи с Французской революцией: что ожидает Россию? Пойдет ли она, подобно Франции, дорогой революции или ей предстоит свой, особый путь без революционных потрясений? Официальное дворянское направление выдвинуло своего рода теорию двух закономерностей, и суть ее состояла в следующем. Франция и Россия развиваются по совершенно различным историческим закономерностям: Франция — путем революции, Россия — без революций, а основанием для этого служит тот простой факт, что Франция и Россия различны по своим историческим истокам. Франция вышла из завоевания франками римской Галлии, и в этом кроется причина вековой борьбы между завоевателями, ставшими классом дворян, и завоеванными галло-римлянами, превращенными в крепостных. Результатом такого развития и явилась Французская революция. В противоположность этому Русское государство якобы родилось из мирного призвания варяжских князей, наделенных самими призвавшими неограниченной властью. Посему Россия с са-

мого своего основания развивалась как неограниченная монархия, а в ее социальном строе не заложены причины для революции. Как только в России нарушался этот принцип, ее ждала национальная катастрофа: первое доказательство тому — феодальная раздробленность и последовавшее затем татарское иго; второе доказательство — Смута и последовавшая за ней шведско-польская интервенция. Отсюда вытекал вывод: России надлежит хранить абсолютную монархию, а не следовать примеру Франции. Кафтан, сшитый для «карлы», не по плечу русскому богатырю (Болтин).

Историки официально-дворянского направления тут не были оригинальны. Все, что касалось Франции, они целиком заимствовали из французской историографии. По мере назревания революционного взрыва во Франции обострялась идейная борьба, в том числе и в историографии. Она обозначилась уже в 30-е годы XVIII в. в столкновении двух концепций истории Франции (романо-германская проблема).

Официально-дворянское направление в русской историографии приспособило взгляды романистов и германистов для своих выводов. История России противопоставлялась истории Франции: если Франция вышла из завоевания, значит борьба сословий в этой стране, а следовательно, и сама революция там — явление исторически закономерное. Если Россия родилась из мирного, добровольного и всенародного призвания своих князей, то здесь отсутствуют исторические причины социальных потрясений и революция представляет собой нарушение законов истории. Таково было положение в русской исторической науке, когда Екатерина II выступила как историк, решив написать русскую историю для своих внуков. В обращении к этому сюжету не было ничего случайного, как не было случайностью и то, что работа началась в разгар Французской революции, ибо именно она поставила вопрос о судьбе абсолютизма, о том, насколько он исторически закономерен и имеет ли историческое право на существование. Вспомним, что писал Храповицкий: «Занимаются главнейше российской историей и делами французскими».

Ясно и другое обстоятельство, в силу которого Екатерина обратилась к древней русской истории, ибо именно здесь — исходный пункт русской государственности. Это объясняет нам, почему среди пьес, которые писала Екатерина, видное место занимают пьесы о первых русских князьях — Рюрике, Олеге, Игоре. Своими художественными достоинствами пьесы эти не украшают русскую драматургию, но они заслуживают внимания по своим историческим идеям.

Историческая концепция — вот, что заставило Екатерину взяться за работу и что составляет тот фундамент, на котором все строится. Автор взялся доказать, что первые русские князья были полновластными правителями Киевского государства, что власть в России исторически родилась как власть абсолютного повелителя, что абсолютизм здесь — исторически сложившийся и, следовательно, нерушимый институт.

Таким образом, занятия Екатерины историей не были прихотью бабушки, решившей написать книжку для своих внуков. Ее труд по

русской истории должен быть поставлен в общий ряд с официальным, дворянским направлением в русской историографии. Она и сама считала себя стоящей в этом ряду. Болтин и Щербатов были ее современниками, оба они в ее глазах — крупные историки, но относилась она к ним по-разному, а причиной тому служили исторические идеи самой русской императрицы. Болтин был ее единомышленником и пользовался поэтому милостями Екатерины. Его замечания на книгу Леклерка были напечатаны за счет императрицы. По поручению Екатерины Болтин писал рецензию на ее пьесу о Рюрике. Болтину же Екатерина поручила написать «историческое, географическое и статистическое» описание России — труд, оставшийся незавершенным. Все рукописи и библиотеку Болтина Екатерина купила и подарила А. И. Мусину-Пушкину.

По-иному относились и Болтин, и сама Екатерина к Щербатову. Князь Щербатов, крайний крепостник и реакционер, выступал идеологом родовитого дворянства, сторонником ограничения абсолютизма знатью. Он единомышленник Никиты Панина, носившегося с идеей ограничения самодержавия Екатерины властью аристократического Совета и не расстававшегося с мыслью о возведении на престол Павла. Взгляды Щербатова получили отражение и в его исторических исследованиях: он считал, что самодержавие киевских князей было ограничено их аристократическим окружением [97]. Эта мысль проводилась Щербатовым на материале всей русской истории. Взгляд Щербатова на положение самодержца в ней был одной из причин полемики между Болтиным и Щербатовым. Екатерина стояла на стороне Болтина. В записи Храповицкого от 1 ноября 1791 г. читаем: «Еще призыван для разговоров об истории. Удивлялись малому соображению князя Щербатова» [98].

Как известно, Екатерина защищала свои исторические взгляды всей силой государственной власти. Пример тому — судьба трагедии Княжнина «Вадим Новгородский», где прославлялось восстание новгородцев против тирании Рюрика, что противоречило всей политической и исторической концепции Екатерины. В печати «Вадим» появился благодаря княгине Дашковой. Опубликована трагедия была в «Российском феатре» (39-я часть, 1793 г.), издававшемся при Российской академии, президентом которой Дашкова являлась, и явно в пику Екатерине. Реакция императрицы была чрезвычайно бурной. Произведение Княжнина уничтожили, а на Дашкову его опубликование навлекло гнев Екатерины.

Таковы некоторые факты, характеризующие отношение Екатерины II к русской истории и роль Французской революции в формировании ее исторических взглядов.

---

[97] См.: *Федосов И. А.* Из истории русской общественной мысли XVIII столетия: М. М. Щербатов. М., 1967.

[98] Дневник, с. 223.

Сибирский журнал — современник Французской буржуазной революции конца XVIII в.

Русскими провинциальными журналами XVIII в. в исследовательском плане интересовались главным образом краеведы, дорожившие доброй славой своего родного города или края. Некоторые сведения о них можно найти и у литературоведов [99]. В трудах же по истории русской журналистики такие журналы обычно лишь упоминаются или о них даются справки библиографического характера. Даже в наиболее капитальном советском труде «Очерки по истории русской журналистики и критики» провинциальные журналы названы лишь в примечании [100]. Только упомянуты они и в специальной монографии П. Н. Беркова «История русской журналистики XVIII века», но с той разницей, что автор вынужден был попутно поинтересоваться тобольским журналом «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» [101].

Такое отношение к русской провинциальной журналистике XVIII в. имеет свои причины. Чтобы сосчитать русские провинциальные журналы того времени, хватит пальцев одной руки: ярославский «Уединенный пошехонец» (1786) и его продолжение «Ежемесячные сочинения» (1787), «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» (1789—1791) и его продолжение «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателям» (1793—1794) в Тобольске — вот все, что появилось тогда. Таким образом, на всю огромную Россию лишь в двух провинциальных городах вышло несколько журналов, существовавших от одного года до двух лет. Естественно, что, будучи столь спорадическим, это явление не могло определить лицо русской провинциальной журналистики своего времени, не могло играть сколько-нибудь существенной роли в развитии русской публицистики.

Тем не менее провинциальные журналы XVIII в. оставили свой след и в истории общественной мысли, и в историографии. Они дошли до нас свидетелями-очевидцами современной им политической, общественной и культурной жизни на российской периферии. Они не только рассказывают нам о верноподданничестве и барской амбиции екатерининского провинциального дворянства, но отражают на своих страницах думы и чаяния передовых русских людей той поры.

---

[99] См.: *Трефолев Л. Н.* Первый русский провинциальный журнал «Уединенный пошехонец». — Русский архив, 1879, № 3; *Он же.* Заметки о первом провинциальном журнале «Уединенный пошехонец». Ярославль, 1882; *Дмитриев-Мамонов А. И.* Начало печати в Сибири. Омск, 1891; *Иноземцев И. Г.* «Уединенный пошехонец» (первый областной журнал). — Антиквар, 1903, № 1/4; *Коплан Б. И.* Первый краеведческий провинциальный журнал. — Краеведение, 1924, № 4; *Пиксанов Н. К.* Два века русской литературы. 2-е изд. М., 1924, с. 41.

[100] Очерки по истории русской журналистики и критики. М., 1950, т. 1, с. 83.

[101] *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII в. М.; Л., 1952, с. 312—313, 538—539.

Среди журналов, издававшихся в русской провинции XVIII в., первое место, бесспорно, принадлежит сибирскому журналу с несколько претенциозным названием «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Это был первый журнал в Сибири и единственный провинциальный журнал в России — современник первых лет Французской буржуазной революции конца XVIII в.[102-103] (ярославский журнал к этому времени уже прекратил существование). Главный фактор, определивший его значение, состоял в пропаганде идей французского Просвещения. При всей непоследовательности и противоречивости, присущих журналу, при всех дифирамбах Екатерине, что являлось неизбежной данью времени и вменялось в обязанность журналу, издававшемуся на средства Тобольского приказа общественного призрения и находившемуся под покровительством тобольского наместника, «Иртыш», по мере своих сил и насколько позволяли тогдашние условия (о революции, как и о Просвещении, нельзя было говорить что-либо положительное), настойчиво распространял «французские» идеи. Этим он существенно отличался от верноподданнического ярославского издания.

Возникновению журнала способствовал ряд благоприятных условий, сложившихся тогда в Тобольске. Обращает на себя внимание одно обстоятельство: на один и тот же 1789 г. приходятся три крупных события в культурной жизни города: открытие народного училища (они открывались по всей Сибири), издание журнала и открытие типографии (первой в Сибири). По-видимому, все эти события были связаны между собой, и толчком к этому культурному движению послужило открытие народного училища. Собравшийся здесь кружок учителей, по всей вероятности, и составил первоначальное ядро авторов журнала. Учителя училищ В. Прудковский, Т. Воскресенский, И. Лафинов и И. Набережнин были наиболее активными авторами. Они-то и привлекли к участию в журнале учеников народного училища и духовной семинарии, из среды которых вышел И. Трунин. Вокруг училища, вокруг журнала стала группироваться местная интеллигенция: Д. Дягилев, Н. Смирнов, А. Евсеев, И. Иванов и другие были чиновниками или военными. Иными словами, журнал объединил местных авторов, подавляющее большинство которых принадлежало к разночинной интеллигенции.

Большую роль в создании журнала сыграл находившийся здесь в ссылке Панкратий Сумароков, внучатый племянник А. П. Сумарокова, литератор-профессионал, известный в столичных литературных кругах. Без П. Сумарокова невозможно представить себе журнала «Иртыш», но нельзя также видеть в нем чуть ли не единственного организатора и руководителя журнала, как это считает традиция. Начало ей положил сын П. Сумарокова Павел, написавший биографию отца для переиздания его сочинений (1832 г.). При всех бесспорных заслугах П. Сумарокова в создании первого сибирского журнала не он определил ярко выраженное просветительское, антикрепостническое по существу направление издания. По своим взглядам П. Су-

102–103 Выходил с перерывом с сентября 1789 по декабрь 1791 г., вышли 24 номера.

мароков не был самым передовым человеком среди авторов, его едва ли можно поставить в один ряд с такой фигурой, как просвещенный дворянин И. И. Бахтин, выступивший в журнале с острыми антикрепостническими баснями и эпиграммами.

Для П. Сумарокова было характерно стремление к развлекательству, к анекдоту, к привлечению читателя всякого рода полезными советами и рецептами по домоводству и на всякие случаи жизни. Журнал «Библиотека ученая», который выходил после «Иртыша» и на который П. Сумароков имел большое влияние (он его не только редактировал, но и издавал), сразу потерял свой просветительский характер и превратился в кладезь всяких занятных сведений «в пользу и удовольствие всякого звания читателям». В 1802 г. П. Сумароков стал редактором московского «Журнала приятного, любопытного и забавного чтения», содержание которого ясно выражено в самом его названии, а впоследствии совсем оставил журналистскую деятельность и занялся составлением полезных справочников вроде «Источник здравия, или Словарь всех употребляемых снедей, приправ и напитков из трех царств природы» (1808) или «Способ быть здоровым, долговечным и богатым» (1809—1810). Что касается его просветительских убеждений, то скоро он от них и вовсе отрекся.

С гораздо большим основанием можно считать, что направление журнала определяло разночинное большинство авторского коллектива. Открытие училища и появление в Тобольске большой группы разночинной интеллигенции совпало с 1789 г. Нетрудно себе представить, что для этих образованных разночинцев такой факт, как начало Французской революции, не мог пройти незамеченным и не мог не вызвать у них общественного подъема, выражением которого и явилось издание журнала.

Как литераторы они не могли тягаться с представителями столичной образованности вроде П. Сумарокова или И. Бахтина. Однако это были энтузиасты, работавшие без всякого вознаграждения, проповедовавшие демократические идеи, создававшие идейную атмосферу журнала; они играли свою роль не столько как авторы (доля оригинальных произведений в журнале была сравнительно невелика), сколько как переводчики. Именно они заполняли страницы журнала переводами, чаще всего с французского; с других языков, как правило, переводились сочинения, содержавшие «французские» идеи. Следует заметить, что эта обычная традиция (переводами тогда зачастую заполнялись и столичные журналы) в данном случае представляла большое удобство: она давала возможность вести пропаганду идей Просвещения пером иностранных авторов.

Еще большее значение для утверждения демократических идей в журнале «Иртыш» имело одно знаменательное обстоятельство: в 1791 г., т. е. в то время, когда выходил этот журнал, свыше семи месяцев провел в Тобольске А. Н. Радищев, задержавшийся здесь по пути следования в илимскую ссылку. Догадки о непосредственном влиянии Радищева на «Иртыш» возникли уже давно [104], но вопрос

---

[104] См.: *Берков П. Н.* Указ. соч., с. 538—539.

еще требует дальнейшего исследования. Маловероятно, чтобы осужденный Радищев лично участвовал в издании журнала, но едва ли можно сомневаться в том, что его пребывание в Тобольске имело большое влияние на настрой разночинной интеллигенции. В этой среде идеи Радищева не могли не получить самого живого отклика. Не исключено, что и прекращение «Иртыша» было вызвано идейной близостью к нему Радищева.

Подъем среди интеллигенции Тобольска, тогдашней культурной столицы Сибири, вызвал несомненный отклик у местного купечества. Идея издания собственного журнала диктовала необходимость организации своей типографии, и такая типография была создана[105]. Ее владельцы купцы Корнильевы представляли собой колоритные фигуры просвещенных купцов того времени. Основатель типографии Василий Корнильев (прадед Д. И. Менделеева) пожертвовал 5 тыс. руб. на постройку здания Тобольского народного училища, первые четыре номера «Иртыша» он отпечатал «безвозмездно из благотворительности».

Печатая «Иртыш» в своей типографии, сын В. Корнильева Дмитрий выступил инициатором нового издания, носившего название «Исторический журнал, или Собрание из разных книг, известий, увеселительных повестей и анекдотов». В сущности это был вовсе не журнал, а сборник исторических статей. Материалы по зарубежной истории в сборнике весьма скудны: это занятные истории из жизни Карла V, Иосифа II, описания коронации французских королей в Реймсе. Подавляющее число статей посвящено истории и географии Сибири. И в этом, видимо, кроется причина выхода книги в свет. В отличие от ярославского «Уединенного пошехонца», печатавшего обильные материалы по истории своего края, «Иртыш» ничего не печатал не только по истории Сибири, но и по истории России вообще. По всему вероятию, купец Дмитрий Корнильев, патриот Сибири, пытался изданием своего «журнала» восполнить этот пробел, притом в сугубо краеведческом плане.

Однако сил тобольских разночинцев, ссыльных и купцов еще было недостаточно, чтобы выпускать журнал. Пробить толщу бюрократизма и получить разрешение на такое издание в дни, когда уже началась Французская революция, было по плечу только людям более влиятельным. И такие люди нашлись. Издание журнала поддерживал местный прокурор И. И. Бахтин, ставший затем деятельным автором «Иртыша». Тобольский служитель Фемиды, впоследствии харьковский губернатор, человек, обладавший литературным дарованием, Иван Бахтин пережил изрядную идейную эволюцию. «Я постепенно из величайшего вольнодумца, каковым был в молодости, стал христианином»[106], — писал он позднее, подводя итоги своей литературной деятельности. Бахтин сам определил этапы этой эволюции: «В тридцать же два года, в тридцать шесть, даже

---

[105] Она просуществовала до указа Екатерины II от 16 сентября 1796 г., вызванного делом А. Н. Радищева и Н. И. Новикова; по этому указу все частные типографии закрывались.

[106] Вдохновенные идеи: Из сочинений Ивана Бахтина. СПб., 1816, с. 22.

в сорок я еще был вольтерист, и Орлеанская девица была карманная моя книжка»[107]. В год основания «Иртыша» Бахтину было 33 года, как он сам в том признавался, в тот период он еще был «величайший вольнодумец». В бытность свою харьковским губернатором Бахтин стеснялся своего творчества, а в 1816 г., издавая в Петербурге книжку написанных им стихов, 60-летний Бахтин уже откровенно подтрунивал над своей литературной деятельностью как увлечением молодости. Лучшим из всего, что было им создано, автор считал стихи против крепостничества, которые он поместил в «Иртыше».

Главной же силой, без которой «Иртыш» не мог бы появиться на свет, был тобольский наместник А. В. Алябьев (отец композитора А. А. Алябьева). Следует учитывать, что антипросветительская реакция распространялась в России неравномерно; в отдаленных наместничествах и губерниях она могла и не сказываться с той неумолимостью, как в центре. Многое зависело от местного вершителя судеб. Наместник или губернатор мог оказаться покровителем муз и Просвещения. В Тобольске было именно так. А. В. Алябьев, родовитый барин века Просвещения, наместник и будущий сенатор, принадлежал в то же время к тем людям, для которых идеи Просвещения не были просто модой (что отличало большинство дворянства). Он был женат на близкой родственнице просветителя-демократа Н. И. Новикова, и родственные связи, видимо, оказали на него влияние: рискуя навлечь на себя царский гнев, Алябьев не побоялся обласкать А. Н. Радищева. Алябьев создал первый общественный театр в Тобольске. Издание журнала, таким образом, не было для него чуждым делом, тем более что речь шла о престиже его наместничества. Добившись издания «Иртыша», наместник предписал всем комендантам, городничим и капитан-исправникам подведомственной ему территории незамедлительно подписаться на журнал и понудить к тому своих подчиненных. С просьбой о подписке он обратился также и в соседние наместничества. Под влиянием администрации даже тобольская духовная цензура, через которую проходил «Иртыш», не усмотрела на его страницах никакой крамолы.

Так родился на свет первый сибирский журнал «Иртыш, превращающийся в Ипокрену». Условия его возникновения дают совершенно отчетливый ответ на вопрос, который неотступно преследует нас при чтении этого журнала: как могло статься, что к концу екатерининского царствования, в годы Французской революции в России писалось и печаталось подобное? Тогдашняя обстановка в этом отдаленном крае не только объясняет причину его появления, но и причину того, почему он просуществовал так недолго. Направление журнала, явно несозвучное с политическим курсом правительства, определило и судьбу издания. В Тобольске легче было создать такой журнал, чем найти ему читателя. Обращает на себя внимание характерное обстоятельство: местное дворянство фактически бойкотировало журнал, его подписчиками были отчасти купцы, но главным образом чиновники, которых заставляли подписываться. Однако

[107] Там же, с. 11.

сибирское чиновничество, чрезвычайно чуткое, как и везде, к правительственному курсу, к тому же малочисленное и невежественное, не могло служить надежной читательской базой. При тираже в 300 экземпляров «Иртыш» с самого начала имел всего 186 подписчиков, к концу существования журнала их число сократилось до 106. Тираж залеживался на складе, издание приносило убытки. Издатели зачастую рассылали номера журнала по адресам состоятельных людей и без ведома последних. Взыскивать плату с таких «подневольных» подписчиков иногда приходилось при помощи суда. Некоторые судебные дела тянулись потом по нескольку лет: ответчики успевали переменить место жительства или даже умереть. Особенно трудным оказалось взыскание недоимок с упорствующих наследников умершего архиепископа Тобольского и Сибирского Варлаама; дело это тянулось до 1811 г. Неразошедшиеся номера журнала раздавались «в предотвращение мышеядья» в течение десяти лет отличившимся ученикам Тобольского народного училища. Так в век Просвещения закончил существование русский просветительский журнал в далекой Сибири.

* * *

За все время своего существования «Иртыш» не обронил ни слова хулы Французской революции. И в годы, когда в России полагалось поносить эту революцию, такое поведение журнала было равносильно ее признанию. Более того, «Иртыш» отваживался пропагандировать ее идеи. Делалось это подчас довольно недвусмысленно, хотя в целом журнал старался соблюсти вполне благонамеренный тон. Главные удары наносились по крепостному праву. Учитель народного училища В. Прудковский в статье «Нечто, к состоянию людей относящееся» [108] рисует современное ему общество как общество несправедливое: «Знать надобно, что вольность вообще берется за такое состояние, в котором побуждение действий от собственного зависит произволу. Рабство же приемлется за состояние располагать делами своими по воле других. Способы, которые по воле других повелевают располагать своими действиями, суть двух родов. Одни естественные, как-то: кандалы, стража и проч.; другие же нравственные, как-то: обязательство, законы и проч.» [109].

Подобное положение в обществе противоречит природе человека, ибо «что касается природы, то она всех произвела вольными» [110]. Противоречие это возникло потому, что войной и насилием одна группа людей нарушила естественное право. Надо было обладать немалым мужеством, чтобы под свежим впечатлением катастрофы Радищева проповедовать подобные идеи.

Не подлежит сомнению, что интерес к проблеме естественного права был одним из главных критериев при отборе материалов

---

[108] Иртыш, превращающийся в Ипокрену, 1791, апр. (Далее: Иртыш).
[109] Там же, с. 41—42.
[110] Там же, с. 44.

для переводов с иностранного языка. Примером может служить перевод с немецкого сочинения лорда Каймеса «О влиянии климатов, средств пищи, правления, нравов и обычаев на национальные характеры человеческие». Концепция английского автора представляла собой пеструю смесь идей физиократов, Монтескье, но больше всего он развивал теорию естественного права в ее антифеодальном ракурсе. Автор считал, что не знатное происхождение, а лишь таланты должны составлять достоинство человека [111].

Таким образом, все люди, в том числе и женщины, равны по природе, но путь к такому равенству прегражден знатностью и связанной с ней роскошью. Если это препятствие не будет устранено, то человечество ожидает вырождение. Вырождается дворянство и тем более крестьянство: «Строгое рабство и чрезмерная работа суть также препятствия размножению народа, ибо бедный поселянин, который, не имея времени для своих работ и больше помещику своему работать должен, теряет напоследок всю охоту и силу свою и приходит в изнеможение и нерадению к себе» [112]. Барство и роскошь вредны еще и потому, что отвлекают людей от производительного труда. Массы народа составляют многочисленные господские дворни; эти люди «были бы полезнее в деревне для хлебопашества, от коего они в таком случае навек отлучены» [113].

Эта антикрепостническая, демократическая тенденция отчетливо просматривается и во многих произведениях, печатавшихся в литературном отделе «Иртыша». Наиболее удобными жанрами, позволявшими обличать крепостников, были басня, притча, сказка, эпиграмма, эпитафия. И. Бахтин писал не для того, «чтобы желчь излить», а для того, чтобы исправить действительность при помощи законов Екатерины, которая аттестовалась «выше всех Ликургов, Марков, Титов». В произведениях Бахтина, однако, было изрядно желчи. Так, он посвятил свою притчу «Господин и крестьянка» сюжету о злобном барине-волке. Мать, крепостная крестьянка, пугала плакавшего ребенка:

Не плачь, не плачь, дурак,
Боярин вон идет, он съест тебя живого.

На окрик барина, который все это слышал, крестьянка призналась:

Родимый мой, прости ты глупости моей,
У нас издавна так, ребят как унимаем.
То милостью твоей
Иль волком их пужаем [114].

К сходной теме обращается и П. Сумароков. В притче «Соловей, попугай, кошка и медведь» рассказывается, как эти представители пернатых и животных рассуждали о человеке. Всяк судил на свой лад: медведь считал, что человеку нужно быть хищником, а на зиму

---

[111] Иртыш, 1791, авг., с. 4.
[112] Там же, с. 9—10.
[113] Там же, с. 11.
[114] Иртыш, 1789, сент., с. 25.

заваливаться в берлогу и сосать жир из лапы. Автор замечает по поводу медвежьих рассуждений:

Погибни ты, медведь, с благим твоим советом,
И так уж многие по-твоему живут,
Лишь тем страшней тебя, что жир чужой сосут [115].

«Иртыш» настойчиво проводил мысль, что крепостничество есть барское тунеядство. Из французского революционного «Правительственного вестника» журнал приводил следующие слова о паразитическом существовании дворян и монахов: «Жить без труда есть зло государственное; того ради политики порицают монахов тем, что они живут в своих затворках праздно. Но господа статские правители, прошу вас ответствовать мне! Благородные и надзиратели ваши в каких трудах упражняются? Ездят за охотою, едят, пьют, рыскают по полям и празднословят. Следовательно, монахи трудятся более — ибо поют» [116].

Не было обойдено в журнале и чиновничество. В басне «Змея-любимец» Бахтин зло высмеял чиновничье угодничество перед начальством [117]. Наибольших высот сатира «Иртыша» достигает в анонимной басне «Волк-судья», где рисуется отвратительная фигура деятеля тогдашнего правосудия, который вдвойне опасен потому, что он жестокий гонитель просвещения, являющегося, по мысли автора, главным условием освобождения народа [118].

«Иртыш» не пощадил даже царей, использовав при этом сочинения Вольтера. В журнале были помещены переводы нескольких вольтеровских работ — отрывки из «Разговоров о человеке» [119], «Песнь Иоанна Плокофа, советника Гольштинского» [120] и «Речь архирея Николая Харистенского, говоренная в церкви некоторой литовской деревни в день воспоминания звезды, показавшей путь волхвам к месту рождения Христова» [121]. В архиерейской проповеди по поводу вифлеемской звезды читатель находил следующее: «Ежели где обретается на свете злато, цари везде оспаривать тщатся друг у друга право на оное; обагряют землю кровью для обогащения себя; напоследок возжигают курения через собратий моих, кои дерзают утверждать перед ними, что они на земле суть подобия живого бога» [122]. Отрицательное отношение не только к монархам, но и к монархии как форме правления вообще было ясно сформулировано в английском сочинении «О влиянии климатов. . .», о котором шла речь выше. Внутреннее достоинство человека автор ставил в зависимость не только от его природных талантов, но и от формы правления, явно предпочитая республику монархии, ибо в республике челове-

[115] Иртыш, 1790, февр., с. 44.
[116] Иртыш, 1791, июль, с. 46.
[117] Иртыш, 1791, авг., с. 31—32.
[118] Иртыш, 1790, март, с. 14—15.
[119] Иртыш, 1789, сент.
[120] Иртыш, 1790, июнь.
[121] Там же.
[122] Там же.

ческие характеры «более предприимчивые, нежели в монархическом правлении, потому что вольностью духа к тому поощряемы». Народы, знавшие свободу, но затем попавшие под гнет деспотизма, начинали терять свои гражданские доблести: «Греки, кои прежде сего великую ролю в свете играли и коих науки и художества еще поныне у нас образцом служат, как они упали?» [123].

Такова критика современной ему действительности, осуществлявшаяся «Иртышом». Выступая с критических позиций, журнал вместе с тем выдвигает и собственную программу. Коротко она может быть сформулирована таким образом: распространение просвещения, развитие торговли и промышленности. Все три элемента в глазах сотрудников журнала были тесно связаны между собой. Учителя Тобольского народного училища, они же деятельные авторы «Иртыша», в своих речах, обращенных к ученикам, не уставали выдвигать эти задачи. Учитель Иван Лафинов доказывал, что, пожав плоды просвещения, юноша «никогда не будет суеверный судья многих явлений, в заблуждение непросвещенные умы приводящих... Известно будет купцу, где с выгодой отправлять можно торговлю произведениями своего отечества и где находить потребные для оного вещи» [124]. Тимофей Воскресенский полагал, что науки должны послужить тому, чтобы Россия «вознеслась на возможнейшую высоту совершенства, принесла сладчайшие плоды последующим порождениям и явила себя в полном великолепии ко удивлению целого света» [125]. Он ратует за точные науки как «нужнейшие и полезнейшие в общежитии», он убежден, что «все художества, все рукоделия, столь для нас нужные упражнения имеют все основания на математических, физических, механических и прочих науках» [126].

Уже в первом номере наряду с переводом из Вольтера журнал поместил перевод из труда Ньютона «Каким образом познаем мы расстояние, величины, виды и положения предметов». Из номера в номер долго тянулся целый трактат «О полезных науках, художествах у древних писателей», представляющий обширную сводку по истории открытий и изобретений, начиная с античности. В ряде номеров печатался перевод немецкого сочинения «Решение на вопрос, как выгоднее на медеплавильных заводах проплавлять медные руды».

Заслуживает внимания отношение журнала к проблемам истории (речь шла только о западной истории). В журнале был помещен перевод немецкого справочника «Краткие исторические известия о различных происшествиях древних и новых времен касательно происхождения народов, их исповеданий, законов, обычаев, наук, нравоучений и прочих примечания достойных вещей». Книга имела сугубо эклектический характер, сочетая элементы библейской традиции и построения в крайне идеалистическом и немецко-шовинисти-

---

[123] Там же, с. 4—5.
[124] Иртыш, 1791, июль, с. 2.
[125] Там же, с. 22.
[126] Там же.

ческом духе. Неожиданным образом сюда вплетались идеи Просвещения, что, видимо, и привлекло сибирских просветителей. Конкретно речь шла там об оценке средних веков как эпохи засилья схоластиков и дворян. Господство первых привело к тому, что «разум человеческий был запущен и в величайшее невежество погружен» [127], а господство дворян выродилось «в систему угнетения, ибо неправедное присвоение от дворянства сделалось весьма несносным; они принуждали большую часть народа в состояние действительного рабства, лишая их всех естественных прав человечества и почитая невольниками, кои для них землю орать должны, с коею и продаваемы были» [128].

Господству дворянства в средневековой деревне противопоставляются города, выступавшие в союзе с монархами. «Государи строжайше смотрели долго с беспокойством на сию присвоенную власть дворянства, рассуждая, что человеки от природы свободны суть, и вознамерились свободу их защищать. Сего ради за благо рассуждено было возрастающей силе дворянства равновесие предположить. . . и сделан был план, чтобы новый чин общества учредить и жителей в города населить. Сим жителям великие вольности даны были и от всякого рабства свободными учинены. . . Сия полученная свобода сделала такую счастливую перемену в состоянии человеческом, что они из сна недеятельности возбудилися и ободрилися, в который печальным состоянием своим были погружены» [129]. Иными словами, здесь нашла отражение антифеодальная, романтическая традиция, бытовавшая во французской историографии накануне революции.

Наибольший историографический интерес представляет высказанный в «Иртыше» взгляд на задачи истории. Чтобы понять его отличие от всего, что тогда говорилось на этот счет, следует сравнить положения, сформулированные здесь, с соответствующими высказываниями других русских провинциальных журналов того времени. «Уединенный пошехонец», выражавший мысли дворянства, полагал, например, что история есть «жизнь монархов, героев, перемены правления, нравы и дела» [130]. Главное место в истории, по мнению «Уединенного пошехонца», занимают монархи и герои, о которых говорится прежде всего как о людях, «имеющих начальство над народом».

Совсем иначе смотрит на историю «Иртыш». На вопрос о том, что такое история, он отвечает словами иностранного автора, помещая перевод французского сочинения «Иаков, анекдот исторический, писанный об одной знатной госпоже». Здесь подвергается ожесточенной критике традиция изображения истории в виде смены царствований и умолчания о простом народе, традиция, являвшаяся тогда наиболее распространенной [131]. Если уж писать о деятельности исто-

---

[127] Иртыш, 1790, июнь, с. 19.
[128] Там же, с. 20.
[129] Там же, с. 20—21.
[130] Уединенный пошехонец, 1786, март, с. 193.
[131] Иртыш, 1791, июнь, с. 25—26.

рических личностей, то из этого следует выбирать «историю великих мужей, благодетелей человечества... и если бы необходимо случилось упомянуть о тиране и опустошителе земли, то выбрать бы из тех, кои получили за то достойнейшее наказание, и чтоб они служили нам страхом и омерзением в делах их»[132].

Однако это еще не решает задачи в целом, ибо история даже добродетельных монархов не нужна большинству народа, простым людям, кои «не в состоянии суть простирать зрение свое на знатные примеры монархов, князей и проч.»[133]. Чтобы избавить простой народ от такой «неприличности», следует написать «для нижнего состояния собрание историческое, которое заключало бы в себе изящные действия, учиненные некоторыми из подобных им»[134].

В качестве образца такой истории автор рассказывает о «деяниях» башмачника Иакова, который, чтобы спасти свою семью от голода, продавал медикам последнее, что он имел, — свою кровь. Пусть явится этот подвиг бедняка, восклицает автор «гласом, вопиющим к затворенным ушам тех богатых уродов, кои, когда давятся (я не устыжусь употребить сие простое выражение) излишними и изобильными пищами, попускают подобных себе человеков и целые семьи умирать с голоду»[135]. Автор настойчиво зовет к созданию истории простого народа.

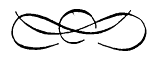
Такова мужественная речь передового русского журнала, звучавшая в глухую пору крепостничества. Просматривая его слежавшиеся страницы, современный читатель будто слышит, как гром Французской революции приглушенным и подчас искаженным эхом отдавался в далекой Сибири.

---

[132] Там же, с. 28—29.
[133] Там же, с. 29.
[134] Там же.
[135] Там же, с. 34.

Глава V

ПРОБЛЕМА «РОССИЯ И ЗАПАД» В ОСВЕЩЕНИИ РУССКИХ ИСТОРИКОВ И ПУБЛИЦИСТОВ КОНЦА XVIII—XIX В.



А. Н. Радищев.

Литература о социально-политических взглядах Александра Николаевича Радищева (1749—1802), литература о нем как философе, экономисте и писателе довольно обширна. Писали о Радищеве и как об историке России [1], но его воззрениями на западноевропейскую историю мало интересовались [2]. Радищев — явление русское, он вырос из России и работал для России. Его взгляды сформировались в обстановке восстания Пугачева. Военному прокурору Радищеву в годы восстания пришлось вплотную столкнуться с делами беглых рекрутов; за этим вставала вся крепостная Россия, где бары глумились над народом, а теперь обрушили на него пули и штыки. Это потрясло Радищева; борьбе за свой народ он посвятил всю жизнь и погиб в этой борьбе. В. И. Ленин указывал, что ряды революционеров, выдвинутых русским народом, начинаются с Радищева [3].

Взгляды Радищева не могут быть поняты с достаточной полнотой без ознакомления с его представлениями об истории. Радищев был современником не только большой социальной бури в России, но и современником тех десятилетий, когда происходила идеологическая подготовка революции во Франции, а вслед за тем грянула и сама

---

[1] *Виленская Э. С.* Исторические взгляды А. Н. Радищева. — Вопр. истории, 1949, № 9, с. 32—51; *Козьмин Б. П.* А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». — Изв. АН СССР. Сер. истории и философии, 1949, т. 6, № 5, с. 385—398; *Кафенгауз Б. Б.* Радищев об истории России. — Учен. зап. МГУ, 1952, вып. 156, с. 66—80; *Котов В. Н.* Радищев и его революционное понимание истории. — Наук. зап. Київ. ун-ту, 1952, т. 11, вып. 2; I ст. зб. № 3, с. 103—125; *Макогоненко Г. П.* Радищев и его время. М., 1956; *Бернадский В. Н.* А. Н. Радищев об истории Великого Новгорода. — Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та, 1958, т. 170, с. 69—78; *Белявский М. Т.* Из истории идейной борьбы А. Н. Радищева. — История СССР, 1960, № 6, с. 121—130; и др.

[2] *Алпатов М. А.* Взгляды А. Н. Радищева на всеобщую историю. — Вопр. истории, 1953, № 2, с. 80—88; *Пугачев В. В.* Радищев и французская революция: Беседа о том, что есть сын отечества. — Учен. зап. Горьк. ун-та, 1961, вып. 52, с. 265—290; *Шиловцева В. С.* А. Н. Радищев про социально політичну боротьбу в Римській республіці I ст. до н. э. — Учен. зап. Харків. ун-та, т. 124; Тр. Іст. фак-ту, 1962, т. 9, с. 80—93.

[3] См.: *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 26, с. 107.

«классическая» буржуазная революция. Век Радищева — это век Просвещения, век Французской революции. Под знаком этих событий прошло все XVIII столетие, их влияние не могло не сказаться на мировоззрении Радищева.

Пять лет юности Александра Николаевича (1767—1771) прошли в Лейпцигском университете. Это был канун Французской буржуазной революции. Молодой Александр — читатель «Философических предложений» Я. П. Козельского и журнала «Трутень» Н. И. Новикова, он становится усердным читателем Вольтера, Гельвеция, Дидро, Руссо, Мабли. Если и в России уже чувствовалось влияние французского Просвещения, то тем более ощущалось оно в Германии той поры и, конечно же, не могло не отразиться на мировоззрении студента из России Александра Радищева.

Вопрос об университетских годах Радищева в Лейпциге не раз был предметом внимания исследователей [4]. Сам он называл эти годы «знаменитейшей» эпохой своей жизни. Правда, многое тут остается невыясненным, но одно несомненно — речь идет о влиянии французского Просвещения, в том числе и его левого крыла. Больше всех молодого Радищева интересовал Габриель Мабли. Достаточно вспомнить знаменательный факт: в Лейпциге группа русских студентов во главе с Радищевым, отказавшись слушать лекции профессора — реакционера Беме, заявила, что его лекциям они предпочитают труд Мабли «Публичное право Европы», так как он куда более содержателен. Не случаен и тот факт, что французским автором, которого Радищев затем стал переводить на русский язык, оказался именно Мабли. Попытаемся выяснить, как относился А. Н. Радищев, представитель левого крыла русского Просвещения, к представителю левого крыла Просвещения французского Г. Мабли.

Советский литературовед Ю. М. Лотман с полным основанием подчеркивал, что когда мы говорим о влиянии французского Просвещения на Радищева, то встречаемся не столько со сходством, сколько с различием между идеологическими построениями французов и построениями самого Радищева [5]. Исследователь обратил внимание на философскую сторону этого явления. На Западе философский материализм и борьба за свержение феодализма тогда еще не соединились. Материализм, существовавший там еще с античных времен, стал достоянием энциклопедистов — мыслителей чрезвычайно умеренных в своих политических выводах. К тому же следует прибавить, что, являясь материалистами в истолковании природы, они были идеалистами в своем понимании общества. Их материализм был «недостроенным». Сила энциклопедистов сказалась в критике идейных основ феодализма и его идейной опоры — церкви, ее догм.

---

[4] См. наиболее значительные из них: *Старцев А. И.* Университетские годы Радищева. М., 1956; *Он же.* Волнение русских студентов в Лейпциге в 1767 году. — Зап. ОР ГБЛ, 1956, вып. 18, с. 230—327; *Макогоненко Г. П.* Радищев и его время. М., 1956, гл. 1, с. 31—52; *Hoffman P.* Russische Studenten in Leipzig 1767—1771. — Deutsch-slavische Wechselseitingkeit in sieben Jahrhunderten. B., 1956, S. 337—348.

[5] *Лотман Ю. М.* Радищев и Мабли. — Указ. соч. М.; Л., 1958, сб. 3, с. 276—308.

Что же касается более радикального критика феодализма, утопического коммуниста Габриеля Мабли, то он тоже не был материалистом. И на этом фланге французского Просвещения не произошло соединения материализма и революции.

Иная ситуация сложилась в России. Позднее распространение материализма совпало по времени с кризисом феодального строя. Русский материалист Радищев, вступавший в жизнь в обстановке пугачевского восстания, имел реальное основание связать свой материализм с вооруженной борьбой крестьянства. Если для русского аристократа увлечение французскими идеями не простиралось дальше барского скептицизма, если для русского барина пугачевское восстание и Французская революция означали крушение скептицизма и вели его в масонские ложи, то для Радищева такая позиция была всего лишь «бредоумствованием»; и восстание Пугачева, и Французская революция привели Радищева на путь крестьянской революции в России.

На методологическую основу этого В. И. Ленин указывал еще в 1897 г. в статье «От какого наследства мы отказываемся». Русский просветитель, писал он, «одушевлен горячей враждой к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта «просветителя». Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, — горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта «просветителя» это — отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому» [6]. Борьба с крепостным правом, защита интересов крестьянства была непременной чертой русского просветителя. Республиканец и демократ, стоявший на крайнем левом фланге русского Просвещения, Радищев довел эту защиту интересов крестьянства до своего логического конца — до вывода о вооруженном восстании против феодализма.

Идея народного восстания была чужда его современникам, французским просветителям — идеологам буржуазии; в научном же творчестве Радищева она была главной, основополагающей. Уже в оде «Вольность» Радищев произносит страстную обвинительную речь против самодержавия и призывает народ к революционной расправе с деспотизмом. Борьбу за идею вольности Радищев считал делом всей своей жизни, именно борцом за вольность он хотел остаться в памяти потомства.

К таким же выводам мы придем, если проанализируем взгляды Радищева на развитие французской исторической науки в период Просвещения. Славу веку Просвещения во Франции принесли энциклопедисты и Вольтер. Философия и литература выступили на пер-

---

[6] *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 2, с. 519.

вый план: они играли главную роль в идеологической подготовке революции. Позднее, в начале XIX в., в эпоху Реставрации, когда перед французской буржуазией встала задача вступить в борьбу с реставрированными Бурбонами за утерянную власть, на первый план выйдет историческая наука. Не философия и литература, а история Франции станет главным полем идеологических сражений. Не философы и писатели, а историки — О. Тьерри, Ф. П. Гизо, О. М. Минье, А. Тьер, Ж. Мишле — займут опустевший «трон» Вольтера и энциклопедистов. Именно французские историки эпохи Реставрации достигнут той вершины, выше которой уже никогда не поднимется буржуазная историческая мысль: они станут создателями буржуазной теории классовой борьбы[7]. (Гизо и Тьер, кроме того, будут занимать и кресла премьер-министра и президента Франции). Общественный резонанс французской исторической науки в эпоху Просвещения и в годы Реставрации был различен, но существовала и преемственность. Она состояла в том, что знаменитые историки времен Реставрации развивали ту самую концепцию истории Франции, которую создали их менее знаменитые предшественники, выступившие в век Просвещения[8].

Притязания борющихся сторон на власть требовали своего исторического обоснования, и теоретической платформой в нем стала история Франции — завоевание франками римской Галлии. Самый дальний отрезок французской истории оказался теперь наиболее важным, отсюда каждая из сторон прежде всего черпала свою историческую аргументацию. Речь идет о споре А. Буленвилье и аббата Дюбо[9].

В накалявшейся атмосфере предреволюционной Франции XVIII в. родился германо-романский вопрос — одна из острых исторических проблем идейной борьбы в век Просвещения. Интерпретация германо-романской проблемы была составной частью исторической концепции аббата Габриеля Бонно Мабли, того из французских просветителей, кто более всех интересовал молодого Радищева[10].

* * *

Влияние Мабли на Радищева несомненно, и причина его ясна: Мабли был близок революционеру-демократу Радищеву своим взглядом на историю как на борьбу угнетателей и угнетенных. Французские просветители, как правило, говорили о борьбе третьего сословия против феодализма; интересы рвавшейся к власти буржуазии они выдавали за интересы народа в целом; речь не шла о трудящемся народе, задавленном не только в политическом, но и в социальном отношении. Мабли наряду с Морелли выделял трудящихся людей в особую социальную категорию и создавал свою историческую

---

[7] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 28, с. 424—427.
[8] Подробнее об этом см.: *Алпатов М. А.* Политические идеи французской буржуазной историографии XIX века. М.; Л., 1949, с. 29—130.
[9] См. гл. 2 данной книги.
[10] См.: Там же.

концепцию, исходя из интересов именно трудящихся. Совсем не случаен тот факт, что не переводивший на русский язык никого из французских буржуазных просветителей, Радищев взялся перевести одну из основополагающих работ Мабли о древней Греции, получившую в переводе название «Размышление о греческой истории, или О причинах благоденствия и несчастия греков» (1773 г.). С древней Греции начинались все размышления Мабли о всемирной истории.

Ю. М. Лотман провел интересные наблюдения: текстуально проследил отношение переводчика к переводимому автору[11]. Оказалось, что по мере того, как Радищев входил в круг идей Мабли, у него возникала необходимость делать примечания к тексту, чтобы оговорить свое отношение к идеям автора. Теоретические построения Мабли глубоки и последовательны. Перспективой исторического развития у него является коммунизм — общественный строй, отвечающий интересам всего народа. Это, если можно так выразиться, его «программа-максимум». Но такой грандиозной программе, увлекавшей читателя-революционера, противостояла беспомощная, крохоборческая программа-минимум, содержанием которой было проведение частичных реформ, не способных изменить что-нибудь в положении угнетенной и эксплуатируемой массы. Тут-то и начинались разногласия между автором и переводчиком, между теоретиком-утопистом и революционером-демократом.

Главным вопросом теории Мабли был вопрос о народе и его задачах. Расхождения между Мабли и Радищевым начинались именно с него. Как уже говорилось, французский просветитель отрицательно относился к непосредственной демократии древних греков. Радищев же был другого мнения. Новгородское и псковское вече в русской истории сами приглашали себе князя, а если он оказывался неугодным, ему указывали — «путь чист». Идеал Мабли — представительное правление, поэтому его схема исключает вооруженное восстание. Радищев же был убежденным сторонником народного восстания. Как и Чернышевский, он «к топору звал Русь». Шедшие за ним декабристы не были сторонниками крестьянского топора. В этом отношении Радищев был предшественником не декабристов, а русских революционеров-демократов XIX в. Идея крестьянского восстания вошла органической частью и в радищевскую концепцию всемирной истории.

Исторические взгляды Радищева чрезвычайно сложны и противоречивы. С одной стороны, они отражали уровень исторической науки того времени с ее идеализмом и метафизикой, с другой — революционность Радищева, его стремление ставить в центре своего внимания судьбы народных масс; его попытки обосновать историческую роль народа подчас не укладывались в рамки его исторической схемы, ломали их, порождали противоречия. Идеалист в истолковании общественных явлений, Радищев поднимался до материалистических идей в истолковании отдельных явлений истории; метафи-

---

[11] *Лотман Ю. М.* Указ. соч., с. 290—308.

зик по своему методу исторического исследования, он в то же время доходил до понимания отдельных элементов диалектики; просветитель, считавший, что причина исторических событий — распространение идей, он в то же время рассматривал народное восстание как главное средство изменения современной ему российской действительности.

История человечества представлялась ему в виде непрерывного процесса развития. Однако это развитие он понимал метафизически. Свои представления об эволюции, происходящей в природе, Радищев механически переносил на общественные явления. «Животное, прозябаемое, родится, растет, дабы произвести себе подобных, потом умереть и уступить им свое место. Бродящие народы собираются в грады, основывают царства, мужают, славятся, слабеют, изнемогают, разрушаются. Места пребывания их не видно; даже имена погибнут»[12]. Эту параллель Радищев распространял на весь исторический процесс. Считая, что развитие природы движется по замкнутому кругу, Радищев приходил к выводу, что «в мире сем все приходит на прежнюю степень, ибо все в разрушении свое имеет начало», что расцвет неизбежно сменяется упадком, что «нынешние державы от естественных и нравственных причин распадутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развалинах великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут ужи, змеи и жабы»[13].

Цикличность исторического процесса, по мнению Радищева, выражалась прежде всего в смене деспотизма и вольности; данный режим неизбежно перерастает в свою противоположность. «Таков есть закон природы; из мучительства рождается вольность, из вольности рабство»[14]. Однако этот закон смены деспотизма и вольности Радищев не считал чем-то неотвратимым. Смена подобных режимов есть выражение борьбы двух общественных сил: с одной стороны, угнетенного народа, борющегося за свою свободу, с другой — его угнетателей, стремящихся к тирании. И Радищев становился на сторону народа, призывал к восстанию, чтобы насильственно свергнуть деспотический строй. Это обстоятельство приводило к тому, что он неизбежно разрушал собственную теорию круговорота — в победе народа видел прогрессивное начало, которое избавляло человечество от бесконечного повторения пройденных этапов, составляло основу исторического прогресса. Такова в самом общем ее виде схема исторического процесса, которую Радищев применял к анализу отдельных исторических периодов.

Первобытное состояние людей представлялось Радищеву существованием совершенно не связанных между собой в коллективе одиночек, или, по его выражению, «единственников», свободных от всякого подчинения обществу. «Если мы вообразим первенственное состояние человека, состояние равенства и независимости, то

---

[12] *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1950, с. 79.
[13] Там же, с. 135.
[14] Там же, с. 169.

узрим его самовластным судиею своих определений»[15]. Это была известная «робинзонада», имевшая широкое хождение во всей домарксистской науке, в частности чрезвычайно модная во второй половине XVIII в. Затем, как полагал Радищев, происходит добровольное объединение «единственников» в человеческое общество, ибо «состояние независимости и равенства, столь прекрасное в воображении, не смогло продлиться вследствие несовершенства человека. Слабость младенчества, немощь старости, природная склонность человека к самовластию, непрестанная боязнь, да не подвергнется насилиям могущественнейших, словом, препятствия, сохранности каждого в естественном состоянии вредящие, превзошед своим сопротивлением силы, употребляемые каждым для пребывания в сем состоянии, люди принуждены стали переменить внешнее состояние их жития. Но как они не могли произвести новых сил, а совокупить и соединить токмо имевшие, то надлежало установить общество, где каждый подвергался верховному вождению государя и менял свою природную свободу, силами каждого ограниченную, на свободу гражданскую, в житии по законам состоящую»[16].

Сущность этого возникшего государства Радищев видел в народоправстве, слова «государство», «народ», «общество» были для него синонимами. «Народ есть общество людей, соединившихся для снискания своих выгод и своей сохранности соединенными силами, подчиненное власти, в ней находящейся; но как все люди от природы суть свободны и никто не имеет права у них отнять сея свободы, следовательно, учреждение обществ предполагает всегда действительное или безмолвное согласие»[17]. И поскольку соединение людей в общество есть акт добровольный, поскольку также добровольно они уступают создаваемой ими власти часть своих естественных прав, то всякие принудительные средства, практикуемые властью, могут применяться не иначе как с согласия граждан и иметь своей целью достижение общего блага.

Таково, по мнению Радищева, происхождение государства. Однако первоначальное состояние «равенства и независимости» в дальнейшем уступает место неравенству и зависимости одного человека от другого. «Опыты всех веков и настоящее государств состояние доказывают невозможность равенства имений. А неравенство оных производит с одной стороны нищету, а с другой роскошь»[18].

Одной из основных причин проявления этого неравенства Радищев считал «несовершенства» самого человека, его «природную склонность к самовластию». Первобытный человек, по словам писателя, «наг, алчущ, жаждущ. Все, что взять может на удовлетворение своих нужд, все присвояет. Если бы что тому воспрепятствовать захотело, он препятствие удалит, разрушит и приобретет желаемое. Вопрос: если на пути удовлетворения нуждам своим он обрящет подобного себе, если, например, двое, чувствуя голод, восхотят насытиться

---

[15] *Радищев А. Н.* Избранное. Л., 1949, с. 302.
[16] Там же, с. 303—304.
[17] Там же, с. 304.
[18] Там же, с. 310.

одним куском — кто из двух большее к приобретению имеет право? Ответ: тот, кто кусок возьмет. Вопрос: кто же возьмет кусок? Ответ: кто сильнее... Примеры всех времен свидетельствуют, что право без силы было всегда в исполнении почитаемо пустым словом»[19].

Однако дело не только в стремлении удовлетворить свои потребности, не только в силе, при помощи которой они удовлетворяются человеком, но также и в тех материальных условиях, без которых невозможно удовлетворение этих потребностей. Большую роль в появлении неравенства, полагал Радищев, сыграло земледелие. Первобытного человека-одиночку он представлял не иначе как обладающим земельной собственностью, сообразно своим трудовым силам. В дальнейшем эта собственность, трудовая по своему происхождению, стала объектом захвата со стороны наиболее жадных и сильных. С течением времени положение стало таково, что обрабатывающий землю человек оказался лишенным земельного владения, «тот, кто естественное имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно, но, работая ниву чужую, зрит пропитание свое, зависящее от власти другого!»[20]. Еще больше способствовала дальнейшему росту неравенства, по мнению Радищева, торговля, явившаяся результатом хозяйственной деятельности людей.

В такой трактовке первобытного общества и возникновения государства нельзя не узнать черт весьма распространенной в XVIII в. теории естественного права и теории общественного договора, связанных преимущественно с именами сторонника народного суверенитета Руссо и утопистов Мабли и Морелли. Однако в политическом и методологическом отношении эти теории у Радищева существенно отличались от теорий французских просветителей. У Руссо и его современников-утопистов теория естественного права и теория общественного договора служили ограниченной цели: они нужны были для разоблачения неразумности, «неестественности» феодальных порядков и абсолютизма, но сами французские просветители никаких выводов о насильственном свержении феодализма не делали.

Что же касается Радищева, то данное им изображение первобытного общества служило ему для обоснования вывода о необходимости вооруженного свержения строя насилия и несправедливости. Тот, кто захочет лишить человека «пользы гражданского звания, есть его враг. Против врага своего он защиты и мщения ищет в законе. Если закон или не в силах его заступить, или того не хочет, или власть его не может мгновенное в предстоящей беде дать вспомоществование, тогда пользуется гражданин природным правом защищения, сохранности, благосостояния. Ибо гражданин, становяся гражданином, не перестает быть человеком, коего первая обязанность, из сложения его происходящая, есть собственная сохранность, защита, благосостояние»[21]. Радищев ставил своей прямой задачей пропаганду крестьянского восстания для сокрушения рус-

[19] *Радищев А. Н.* Путешествие.., с. 84.
[20] Там же, с. 128.
[21] Там же, с. 96.

ского крепостничества и деспотизма; в России это была наиболее революционная задача из всех, стоявших перед тогдашним освободительным движением.

Следующим периодом всемирной истории, который интересовал Радищева, была истории Греции и Рима — античность, привлекавшая наибольшее внимание тогдашних историков в целом ряде стран. Свое понимание периода Радищев представил в «Песне исторической». Здесь излагается его общий взгляд на античность, его упоминавшаяся выше теория круговорота — смены вольности и деспотизма. Однако интересна не сама эта теория, составляющая слабую сторону воззрений Радищева, — гораздо большего внимания заслуживают оценки им отдельных исторических явлений, далеко не всегда укладывавшиеся в его метафизическую схему.

Оценивая достижения античности, которыми так восторгались зарубежные просветители, Радищев прежде всего думал о народе. Никакие достижения культуры и никакая видимость гражданского мира не заслоняли для него основного факта — порабощения народа. Мы не находим у Радищева сколько-нибудь отчетливого представления о классах, об их экономической основе, сплошь и рядом он не различает рабства и крепостничества, но для него не подлежит сомнению, что порабощение человека, в частности появление рабства в древнем мире, является исторической категорией, результатом жизненных «обстоятельств», а не дано самой природой[22].

Именно при изложении древней истории Радищев чаще всего пользовался случаем высказать свои республиканские взгляды. Так, например, в примечании к переводу сочинений Мабли он писал: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. . . Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества»[23]. Отсюда вытекало право народа на свержение монархии.

Все, казалось бы, мимолетные замечания Радищева по поводу монархии всегда были наполнены духом непримиримости к ней: «Какое зверство, какой ужасный вымысел в казнях при Калигуле, Нероне, Диоклетиане! — писал он. — Какое, напротив того, наблюдение в сохранении жизни граждан во время республики. Различие в сем времени во нравах относится всегда к похвале народного правления»[24].

Рядом с угнетением социальным и политическим Радищев ставил угнетение духовное. «Краткое повествование о происхождении

---

[22] *Радищев А. Н.* Избранное, с. 336—337.
[23] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч., М.; Л., 1941, т. 2, с. 282.
[24] *Радищев А. Н.* Избранное, с. 309.

ценсуры», которое Радищев дает в своем «Путешествии из Петербурга в Москву», представляет собой тщательно составленный реестр преступлений язычества и христианства против разума. При этом духовное рабство, воплощение которого представляла религия, было, как подчеркивал Радищев, характерной чертой общественной жизни не только в периоды монархий, но и в периоды республик.

Резко отрицательно оценивает Радищев завоевания, ибо они несут народу смерть и порабощение. Пример тому — оценка им завоевательной политики «разорителя полусвета» Александра Македонского. Радищев переходит на взволнованный тон обличителя: «Плод твоего завоевания будет, не льсти себе, убийство и ненависть. Мучитель пребудешь на памяти потомков; казниться будешь, ведая, что мерзят тебя новые рабы твои и от тебя кончины твоея просят»[25].

Наконец, следует подчеркнуть, что материал античности, как и материал других исторических периодов, служил Радищеву для обоснования его взгляда на роль личности в истории. «История свидетельствует, что обстоятельства бывают случаем на развержение великих дарований; ибо. . . Чингис и Стенька Разин в других положениях, нежели в коих были, были бы не то, что были; и не царь во Греции Александр был бы, может быть, Картуш. Кромвель, дошедши до Протекторства, явил великие дарования политические. . . но, заключенный в тесную округу монашеские жизни, он прослыл бы беспокойным затейником и часто бы бит был шелепами. Повторим: обстоятельства делают великого мужа»[26].

Говоря о личностях, вошедших в историю, Радищев настойчиво ставит имя Степана Разина в один ряд с известными историческими деятелями. «Ибо равно имениты для нас Нерон и Марк Аврелий, Калигула и Тит, Аристид и Шемяка, Картуш, Александр, Катилина и Степан Разин»[27]. В этом сказалось стремление подчеркнуть историческую роль народа, за интересы которого боролся сам Радищев. Ему было совершенно чуждо характерное для французских просветителей и деятелей буржуазной революции конца XVIII в. благоговейное преклонение перед античностью. Это вполне закономерно, ибо, как уже говорилось, в античности борцы за буржуазное общество «нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии»[28]. Объективно Радищев также являлся борцом за буржуазное общество, однако для него, идеолога всеобщего крестьянского восстания, античность не могла представлять того актуального интереса, какой она представляла для деятелей Французской буржуазной революции, ибо античность не давала Радищеву исторического материала для обоснования его революционно-демократической программы.

---

[25] *Радищев А. Н.* Путешествие. . , с. 131.
[26] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч., т. 2, с. 128—129.
[27] *Радищев А. Н.* Избранное, с. 292.
[28] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 8, с. 120.

Начало средних веков Радищев усматривал в падении Римской империи. К сожалению, мы не находим у него общей, социально-экономической или политической характеристики средних веков. Для Радищева как просветителя решающим явлением, определявшим их характер, было господство католицизма. Он заслонял иные существенные черты средневековья, поэтому свою теорию круговорота в применении к средним векам Радищев построил исключительно на истории католицизма. «Христианское общество вначале было смиренно, кротко, скрывалося в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, вдалося суеверию; в исступлении шло стезею, народам обыкновенною; воздвигало начальника, расширяло его власть, и папа стал всесильный из царей». Затем на смену папскому деспотизму приходит вольность мысли. «Лутер начал преобразование, воздвиг раскол, изъялся из-под власти его (папы. — *М. А.*) и много имел последователей. Здание предубеждения о власти папской рушиться стало, стало исчезать и суеверие; истина нашла любителей». Французское Просвещение, когда «Вольтер кричал против суеверия до безголосицы», Радищев считал продолжением периода, начатого Лютером. Вслед за этим начинался новый круг. «Вольность мысли вдалася необузданности. Не было ничего святого, на все посягали».

Свое время Радищев рассматривал как начало нового поворота от крайнего вольномыслия к суеверию. «Дошед до краев возможности, вольномыслие возвратится вспять. Сия перемена в образе мыслей предстоит нашему времени. Не дошли еще до последнего края беспрепятственного вольномыслия, но многие уже начинают обращаться к суеверию»[29].

Следует подчеркнуть, что трактовка Радищевым эпохи средневековья существенно отличается от трактовки ее французскими просветителями. Если последние расценивали средние века как попятное движение человечества, то Радищев видел в них необходимый этап в круговом движении истории. Кроме того, в противовес французским просветителям он не проводил резкой грани между средневековьем и новым временем, вводя их в общий поток круговорота.

Однако интерес представляет не эта надуманная схема, гораздо большее значение имеют высказывания Радищева по отдельным крупнейшим вопросам истории средних веков и нового времени. Как всегда, взоры Радищева были прикованы к народу, представленному в рассматриваемое время крепостным крестьянством. Радищев старался подчеркнуть огромную роль, которую играет крестьянство в общественной жизни. «Земледелец! кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обработывает, ни тем, что производит»[30].

---

[29] *Радищев А. Н.* Путешествие.., с. 79.
[30] Там же, с. 127.

Крепостное право являлось тормозом всего общественного развития и прежде всего потому, что делало крестьян незаинтересованными в труде. К гнету помещиков прибавлялся деспотизм государственной власти, возглавляемой теми же помещиками. О связи между помещичьей властью и властью самодержавного государя Радищев неоднократно говорит в главе «Хотилов» («Путешествие из Петербурга в Москву») и в «Житии Федора Васильевича Ушакова». К гнету помещика и к произволу самодержавной власти Радищев присовокуплял гнет жадных попов и чернецов, которые «скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во христово стадо»[31].

Радищев настойчиво искал пути избавления крестьянства от тяжелой социальной и политической кабалы. В поисках этих путей он не раз размышляет об освобождении крестьян сверху, волей «просвещенного монарха», о благодетельности защиты крестьянина силой закона, говорит о своем преклонении перед человеколюбивым законом. Однако в конечном счете Радищев разуверился в возможности мирного освобождения крестьян сверху. Всю свою жизнь он посвятил пропаганде их освобождения силой беспощадной крестьянской войны, опрокидывающей все установленные законы. Радищев обращался к крестьянам с прямым призывом к восстанию, к расправе с угнетателем-помещиком. «Сокрушите орудия его земледелия; сожгите его риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалося его мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя»[32].

Радищев считал восстание угнетенного народа неизбежным, а в гибели дворянства, которая могла явиться результатом восстания, он не только не склонен был видеть большого ущерба для общества, но, напротив, — непременное условие дальнейшего прогресса: «О! если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ, и кровию нашею обагрили нивы свои! что бы тем потеряло государство? Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны. Не мечта сие, но взор проницает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую; я зрю сквозь целое столетие!»[33].

Общественное устройство, которое должно было явиться следствием победоносного народного восстания, представлялось Радищеву весьма неясно. Здесь мы найдем много наивного и утопического. Однако основные мысли выступают совершенно отчетливо. Революционный переход к будущему есть решительная расправа с дворянством, свержение его власти и установление народоправия в соответствии с естественным правом; государственной формой народного правления, подчеркивал Радищев, должна быть республика.

[31] Там же, с. 161.
[32] Там же, с. 138.
[33] Там же, с. 177.

Такова выдвинутая Радищевым социальная и политическая программа освобождения народа от средневековых пут. Она была навеяна современной ему российской действительностью, в особенности восстанием под руководством Емельяна Пугачева. И именно под углом зрения этой программы — крестьянской войны — рассматривал Радищев события зарубежной истории. Вот почему из всей средневековой и новой истории зарубежных стран его больше всего привлекали Английская буржуазная революция, борьба американских колоний за независимость и Французская буржуазная революция конца XVIII в., когда народ с оружием в руках боролся за свое освобождение. Все эти события Радищев оценивал в прямой зависимости от того, насколько они удовлетворяли народные массы.

Положительную сторону Английской буржуазной революции Радищев видел в том, что в своем наивысшем подъеме она смела монархию (казнь Карла I). Вместе с тем Радищев подчеркивал, что после революционной расправы с монархией наступила реакция, отнявшая свободу у народа. Войну североамериканских колоний за независимость и образование США Радищев расценивал как борьбу американского народа за свою свободу. Однако и народ Америки не получил этой свободы; рабство, нищета, социальное угнетение — вот что скрывается за показною внешностью американской действительности. С гневом Радищев называет Америку страной, где «сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысящи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова» [34].

Больше всего привлекала внимание Радищева Французская буржуазная революция конца XVIII в., современником которой он являлся. Поскольку тогда в России нельзя было писать что-либо положительное о Французской революции, как и о восстании, руководимом Пугачевым [35], Радищев нигде не высказывал похвал восставшему французскому народу и избегал выражать прямое сочувствие пугачевскому восстанию. Вместе с тем нужно сказать, что он по существу и не видел оснований восторгаться Французской буржуазной революцией, обманувшей надежды широких народных масс. Отдавая должное борющемуся народу, он сурово осуждал не только феодальные, но и буржуазные порядки, которые не принесли народу освобождения.

В разных местах его сочинений мы находим связанные с этим неоднократные возражения французским просветителям. Наибольшего внимания заслуживают те из них, что относятся к вопросу о праве народа на борьбу за свою свободу. В противовес большинству французских просветителей, апеллировавших к естественному праву для обоснования идеи конституционной, «просвещенной» монархии, Радищев выводил из естественного права необходимость вооруженного восстания угнетенного народа. «Гражданин. . . есть и пребудет всегда человек; а доколе он человек, право природы, яко

---

[34] Там же, с. 130.

[35] Несколько иное отношение в Петербурге было к войне американских колоний за независимость — в той мере, в какой она была направлена против Англии.

обильный источник благ, в нем не иссякнет никогда; и того, кто дерзнет его уязвить в его природной и ненарушимой собственности, тот есть преступник... и всяк имеяй довольно сил, да отмстит на нем обиду, им содеянную»[36].

Радищев решительно возражал Руссо, который, «не взяв на помощь историю, вздумал, что доброе правление может быть в малой земле, а в больших должно быть насилие». Этот тезис Радищев отвергал прежде всего потому, что из него следовал вывод о якобы невозможности для русского народа, населяющего огромное государство, свергнуть угнетателей и устроить «доброе правление».

Радищев не считал «добрым правлением» буржуазные порядки, установленные Французской революцией, о чем свидетельствует его оценка этих порядков в главе о цензуре. «Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, ценсура во Франции не уничтожена. И хотя там все печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, да восплачут французы о участи своей, и с ними человечество!... что народное собрание, толико же поступая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей»[37].

Такова концепция исторического процесса в Западной Европе, созданная русским просветителем, республиканцем и демократом Радищевым. В ней отразились чаяния самых передовых людей тогдашней России, чаяния русского народа о революционном ниспровержении крепостничества и самодержавного деспотизма. В ней отразилась также вся политическая и идейная ограниченность Радищева, обусловленная общественными условиями того времени.

Н. М. Карамзин

Между «Письмами русского путешественника» (1791—1792) и новой значительной работой Карамзина в области истории «О древней и новой России» (1811) прошло немало времени. Для Карамзина это был период переосмысливания русской истории под влиянием Французской буржуазной революции конца XVIII в. Русская история занимала Карамзина не в конкретном многообразии; его интересовал ее общий ход и ее итоги, как они ему представлялись. Он старался сформулировать главные положения своей новой концепции — той самой концепции, которая потом ляжет в основание его главного труда «История государства Российского».

Карамзин решил высказаться со всей откровенностью. Его новое историческое сочинение родилось как записка, адресованная Алек-

[36] *Радищев А. Н.* Путешествие.., с. 96.
[37] Там же, с. 156.

сандру I, и поэтому в литературе обычно выступает как «Записка о древней и новой России». Это была не только личная точка зрения автора — «Записка» являлась политической программой большинства русских помещиков, опрокинутой в прошлое России в период, когда феодальная Европа боролась за то, чтобы остановить влияние Французской революции у границ своих государств, а в самой Франции водворить династию Бурбонов.

Перед русской интеллигенцией неизбежно вставал вопрос: пойдет ли Россия дорогой Запада, дорогой революций (в это время Запад уже прошел через Нидерландскую, Английскую и Французскую революции) или у России будет свой, особый исторический путь, путь без революции. Проблема эта проходит красной нитью во всей дореволюционной русской историографии. Историки давали разные ответы в зависимости от своих классовых позиций.

Карамзин был первым из крупных дворянских историков, кто отвечал на этот вопрос. Позднее на него отвечали славянофилы, историки, исповедовавшие буржуазный либерализм, революционеры-демократы, народники. Ответ каждого направления русской исторической мысли был неотъемлемой частью его политической программы. Это же характерно и для Карамзина. Его историческая концепция не была абстракцией, она была обращена к самому царю — проводнику политической программы русского дворянства.

Программа Карамзина была выражена столь ясно и откровенно, что при Александре ее сочли за благо не печатать. Отрывок из нее впервые был опубликован в 1837 г.[38], а целиком «Записка» вышла в 1870 г.[39] Дворянская охранительная историография всегда словословила это сочинение Карамзина. В юбилейной литературе, посвященной столетию со дня рождения ее автора[40], о «Записке» сказано, что она «стоит политического завещания Ришелье». Авторы этой литературы призывали русских людей «шептать святое имя». Карамзинский юбилей совпал с феодальной реакцией и был одним из ее идейных выражений. Душой карамзинского юбилея был М. П. Погодин.

* * *

Карамзин не только не противопоставляет Русь Западу, но считает русское государство органической частью общеевропейской истории. «Рим, некогда сильный доблестью, ослабел в неге и пал, сокрушенный мышцею варваров северных. Началось новое творение, явились новые народы, новые нравы, и Европа восприняла новый образ, доныне ею сохраненный в главных чертах ее бытия политического. Одним словом, на развалинах владычества Римского основалось в Европе владычество народов германских. В сию новую, общую систему вошла и Россия. Скандинавия, гнездо

[38] Современник, 1837, т. 5, с. 89—112.
[39] Русский архив, ст. 2225.
[40] См.: *Межов В. И.* Юбилеи Ломоносова, Карамзина и Крылова: Библиографический указатель книг и статей, вышедших по поводу этих юбилеев. СПб., 1871.

витязей беспокойных — officina gentium, vagina nationum — дала нашему отечеству первых государей, добровольно принятых славянскими и чудскими племенами, обитавшими на берегах Ильменя, Белаозера и реки Великой. „Идите, — сказали им чудь и славяне, наскучив своими внутренними междуусобиями, — идите княжить и властвовать над нами. Земля наша обильная и велика, но порядка в ней не видим". Сие случилось в 862 году; а в конце X века Европейская Россия была уже не менее нынешней, то-есть во сто лет она достигла от колыбели до величия редкого». А в XI в. «Россия была не только обширным, но в сравнении с другими и самым образованным государством»[41].

Но в этом рассказе о начале русского государства уже заложено противопоставление России Западу. Призвание варягов нужно было Карамзину прежде всего потому, что легенда о добровольном, мирном и всенародном призвании князей была историческим обоснованием российской монархии — основополагающего, по его мнению, фактора всей русской истории. Монархия основала русское государство, она же была главной причиной того, что Русь уже в XI в. стала первым государством в Европе. Чтобы доказать это, Карамзин не останавливается перед явным преувеличением, утверждая, что в XI в. Русь была самым образованным государством в Европе.

Удельный период — время упадка монархии. Князья, «забыв славу, пользу отечества, резали друг друга и губили народ, чтобы прибавить какой-нибудь ничтожный городок к своему уделу». Народ обнищал, но пришло еще одно несчастье. «Народ утратил почтение к князьям: владетель Торопца или Гомеля мог ли ему казаться столь важным смертным, как монарх всей России?». С падением авторитета монархии упало внешнее могущество России[42]; пошатнулась монархия, пошатнулась и Россия. Пришло татарское иго.

Но самодержавие снова спасло Россию. «Да будет честь и слава Москве! В ее стенах родилась, созрела мысль восстановить единовластие в истерзанной России, и хитрый Иоанн Калита, заслужив имя Собрателя земли Русской, есть первоначальник славного воскресения, беспримерного в летописях мира»[43]. Дело не в личностях. «Сие великое творение Князей Московских было произведено не личным их геройством, ибо, кроме Донского, никто из них не славился оным, но единственно умною политическою системою, согласною с обстоятельствами времени. Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спасалась мудрым самодержавием»[44].

А народ? Народ — сила антигосударственная. И чем сильнее самодержавие, тем послушнее народ, тем меньше он вспоминает

---

[41] *Карамзин Н. М.* О древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. — В кн.: Пыпин А. Н. Исторические очерки: Общественное движение в России при Александре I. 4-е изд. СПб., 1908, с. 479, 480.
[42] Там же, с. 480.
[43] Там же, с. 481.
[44] Там же, с. 483.

о своем бесправии. «Народ, избавленный князьями Московскими от бедствий внутреннего междуусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках, которые умеряли власть государеву; довольный действием, не думал о правах»[45]. Горе тому государству, где народ выйдет из повиновения. «Мудрость целых веков нужна для утверждения власти; один час народного исступления разрушает ее, которая есть уважение нравственное к сану властителей»[46]. С этой точки зрения Карамзин осуждает народ, расправившийся в Кремле с Самозванцем: «горе его преемнику и народу!». Василий Шуйский совершил двойную ошибку: он заигрывал и с народом и с «многоголовой гидрой аристократии», господство которой несовместимо с самодержавием. И только с появлением на престоле самодержавных царей из дома Романовых государственная жизнь в России вошла в свои берега.

Такова допетровская Россия. Карамзин превозносит Россию вовсе не потому, что в ней нет или не может быть ничего западного. Русское дворянство не чуждалось Западной Европы, недавно перед тем оно пережило целый период «французомании». Отличие России от Запада Карамзин видел в том, что в русской истории, по его мнению, отсутствуют какие-либо революционные начала. Больше того, этот тезис он доводил до абсурда — пытался доказать ненужность и «вредоносность» в России всяких перемен вообще. Стражем старинных, столь совершенных и прочных исторических основ объявлялось русское самодержавие.

То была та самая идея, которую впоследствии будет развивать Погодин, используя концепцию О. Тьерри и Ф. Гизо. Средневековый Запад начинался с завоевания германцами Римской империи. Завоеватели образовали господствующий класс феодалов, завоеванные галло-римляне оказались в социальной и политической зависимости от завоевателей. Сама история заставила третье сословие — потомков галло-римлян — бороться, чтобы сбросить иго завоевателей. Долгие века шла эта борьба. Теперь пришла победа, она зовется революцией. Концепция эта была создана в годы реставрации Бурбонов. Оттесненная от власти французская буржуазия боролась за свержение вновь навязанной ей феодальной власти Бурбонов, а теория Тьерри—Гизо служила историческим обоснованием этой борьбы. Речь идет о знаменитой буржуазной теории классовой борьбы.

Но если французским историкам эпохи Реставрации эта теория служила для защиты интересов революции, то Погодин опирался на нее в противоположных целях. Он не собирался спорить с французскими историками, наоборот, соглашался с ними — и именно потому, что история средневекового Запада начиналась с завоевания, т. е. насилия, история Западной Европы развивалась путем переворотов, путем революций. Революция в истории Запада — закономерное явление. В противоположность Западу русская история начиналась не с насилия, а с мирного призвания варяжских князей. Поэтому

[45] Там же, с. 484.
[46] Там же, с. 485.

в России, утверждает он, нет причин для революции. Всякая перемена, а тем более революция, была бы нарушением закономерности, согласно которой развивается история России. Как видим, Погодин более пространно обосновывает теорию двух закономерностей Карамзина. Сам Карамзин, как известно, противопоставлял Россию Западу, особенно на примере Петра I. Славивший Петра в «Письмах русского путешественника» как «лучезарного бога света», как «благодетеля человечества», он в «Записке о древней и новой России» стал решительно доказывать, что деятельность Петра I принесла неисчислимый вред России. Карамзин вовсе не отрицает, что «Европа от XIII до XVII века далеко опередила нас в гражданском просвещении», он считает, что при таком соотношении уровня Запада и России заимствования западной культуры вполне возможны, и такие заимствования стали обычными уже в допетровское время. Для Карамзина проблема состоит в другом: «Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым»[47].

Но Петр I переступил границы благоразумия. «Записка о древней и новой России» пестрит упреками по адресу Петра I за то, что «пылкий монарх с разгоряченным воображением, увидев Европу, захотел сделать Россию Голландией»[48]. Карамзин признает в Петре I выдающуюся личность, но считает, что царь этот нанес непоправимый удар всему русскому. Итоговой оценкой деятельности Петра I явилась следующая тирада Карамзина: «деды наши уже в царствование Михаила и сына его присвоили себе многие выгоды иностранных обычаев, но все еще оставались в тех мыслях, что правоверный Россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а святая Русь — первое государство. Пусть назовут это заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к отечеству и нравственной силе оного! Теперь же, более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством? Некогда называли мы всех иных европейцев неверными, теперь зовем братьями; спрашиваю: кому бы легче было покорить Россию — неверным или братьям? т. е. кому бы она долженствовала более противиться? При царе Михаиле или Федоре вельможа Российский, обязанный всем отечеству, мог ли бы с веселым сердцем навек оставить его, чтобы в Париже, Лондоне, Вене спокойно читать в газетах о наших государственных опасностях? Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр»[49].

Карамзин отмечает еще одну «блестящую ошибку Петра Великого». Речь идет об основании Петербурга; «на северном крае Государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных природою на бесплодие и недостаток. . . мысль утвердить там пребывание

---

[47] Там же, с. 488.
[48] Там же, с. 490.
[49] Там же.

наших государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действие сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах»[50]. Тут, как видим, у Карамзина были основания указать на жертвы, которых потребовало строительство новой столицы, но все это подчинено его главной идее — всякая резкая перемена в России есть нарушение законов истории. Вся политическая и научная позиция Карамзина обращена против народа.

При Анне Ивановне и Елизавете «Россия текла путем, предписанным ей рукой Петра, более или менее удаляясь от своих древних нравов и сообразуясь с европейскими ... Уже двор наш блистал великолепием и несколько лет говорил по-немецки, начал употреблять язык французский. В одежде, в экипажах, в услуге вельможи наши мерялись с Парижем, Лондоном, Веною»[51]. Худо было и другое — подняла голову «многоголовая гидра» своевольной аристократии. «Долгорукие и Голицыны хотели видеть на престоле слабую тень монарха и господствовать именем Верховного совета. Замыслы дерзкие и малодушные! Пигмеи спорили о наследстве великана»[52].

Силу самодержавия восстановила Екатерина II. Сила самодержавия породила силу государства. Особенно сказалось это на положении России в Европе. «Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе. Воинствуя, мы разили. Петр удивил Европу своими победами. Екатерина приучила ее к нашим победам. Россияне уже думали, что ничто в мире не может одолеть их; заблуждение, славное для сей великой монархии!»[53] Но и екатерининское правление имело свои изъяны. Не мало их было связано с западным влиянием. «Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись при сей государыне: чужеземцы овладели у нас воспитанием; двор забыл язык русский; от излишних успехов европейской роскоши дворянство задолжало. . . сыновья бояр наших рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности»[54-57].

Что касается времени Александра I, то в многословных и учтивых рассуждениях будущего автора «Истории государства Российского» настойчиво звучит лейтмотив: никаких реформ! «Самодержавие есть палладиум России». Безмолвие подданного есть непременное условие для благоденствия и государства, и самого подданного. «Записка о древней и новой России», адресованная самому самодержцу, свидетельствует, что Карамзин хотел видеть свои идеи претворенными в жизнь. И кто может поручиться, что когда «дней Александровых прекрасное начало» обернулось александровской реакцией, то в этом не было влияния автора «Писем русского путешественника» и «Записки о древней и новой России».

---

[50] Там же, с. 491.
[51] Там же, с. 493.
[52] Там же, с. 492.
[53] Там же, с. 494.
[54—57] Там же, с. 495.

М. Ф. Орлов

Значительным явлением в декабристской историографии был Михаил Федорович Орлов (1788—1842). Принадлежа к дворянским верхам (сын Ф. Г. Орлова — одного из братьев Орловых, близких ко двору Екатерины II, — был зятем Н. Н. Раевского), М. Ф. Орлов оказался в центре событий войны 1812 г.: он был не только участником боев, но и исполнителем важных дипломатических поручений Александра I и русского командования, что открывало ему в известной мере международный аспект Отечественной войны. Связанные с этими дипломатическими миссиями произведения М. Орлова составляют круг его ранних работ. К ним принадлежат «Бюллетень особых известий», «Размышления русского военного о 29-м бюллетене» и «Капитуляция Парижа».

М. Ф. Орлов был одним из видных представителей поколения декабристов, другом А. С. Пушкина, П. Я. Чаадаева, А. Н. Раевского. Как и у многих декабристов, его путь к дворянской революционности был очень сложным. Несколько лет спустя после войны он еще был поклонником реакционных идей гр. де Местра, затем его декабристские идеи уживались с резко отрицательным отношением к независимости Польши. Попав в опалу после 14 декабря, он, как и Чаадаев, оставался опальным до конца дней. М. Орлов был тот «умный, но опасный человек», к которому по первому приглашению бежал молодой Герцен, вспоминавший об этом потом в «Колоколе»[58]. Сочинения Орлова этого периода — «О книге «Рассуждение о Франции» де Местра» (1814), «Речь, произнесенная в торжественном собрании Киевского отделения Библейского общества» (1819), его письма кн. П. А. Вяземскому, Д. П. Бутурлину, А. Раевскому, известному либеральному деятелю посленаполеоновской Германии барону Штейну и др. содержат сведения об исторической концепции Орлова и его взглядах на события западноевропейской истории. Главная работа Орлова — политико-экономическое произведение «О государственном кредите», имеющее ярко выраженный исторический аспект. Все это литературное наследство составляет второй, главный круг его сочинений.

Молодым кавалергардским штабс-ротмистром застала Орлова Отечественная война 1812 г. Через несколько дней после начала войны Александр I прикомандировал его к отправлявшемуся на переговоры с Наполеоном генералу Балашову. Целью поездки Орлова было выяснение планов наполеоновского командования и положения армии французов. Результатом этой командировки явился «Бюллетень особых известий», написанный в июне 1812 г. и представляющий, к сожалению, лишь фрагменты неоконченного отчета о выполнении поручения[59].

---

[58] Колокол М., 1963, вып. 6, с. 1529. Факс. изд.

[59] «Бюллетень» опубликован лишь в 1962 г. А. Г. Тартаковским. Статью Тартаковского, французский оригинал «Бюллетеня», русский перевод и комментарии к нему см.: Археографический ежегодник за 1961 год. М., 1962, с. 416—438.

Другое военное произведение Орлова относится к январю 1813 г., когда «великая армия» уже отступала из России. Речь идет о памфлете «Размышления русского военного о 29-м бюллетене»[60]. Наполеоновская ставка выпускала «Бюллетени» — победные реляции, которыми она извещала Европу о все новых, подчас совершенно фантастических успехах «великой армий» в России. Двадцать девятый «Бюллетень», в составлении которого принимал участие сам Наполеон, был последним по счету, но первым по тому значению, которое ему придавало французское командование: «Бюллетень» впервые признавал крушение «великой армии». В качестве главной причины провала нашумевшего похода этот документ впервые выдвинул знаменитую легенду о всесильном морозе[61]. Что касается русской армии, то ее «Бюллетень» старался представить ничтожной боевой силой, а казаков — «жалкой конницей».

Орлову главным командованием русских войск было поручено написать ответ на эту небылицу, в результате чего и появились «Размышления русского военного о 29-м бюллетене» — памфлет, рассчитанный в его первоначальной форме на зарубежного читателя. Свой главный удар Орлов направил против свежесотворенной легенды о причине гибели «великой армии». Он был одним из первых в русской литературе, кто выступил с разоблачением мифа о победителе-морозе, подчеркнув решающую роль русской армии в гибели наполеоновских полчищ. Эту традицию продолжил, как известно, Денис Давыдов своей статьей «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?». Он пошел дальше Орлова и говорил не только о действиях русской армии, но и о партизанской, всенародной войне против нашествия «двунадесяти язык».

Третьим произведением М. Орлова о войне 1812 г. были его мемуары «Капитуляция Парижа», написанные по свежим воспоминаниям о событии, участником которого автору довелось быть. Накануне падения французской столицы он как парламентер провел ночь в осажденном городе среди высших офицеров наполеоновской армии. Это был момент, когда Орлов, как и его современники, подводил итоги долго лихорадивших весь мир войн Наполеона. Он приходил к выводу, что жизнь сходившего с мировой арены полководца «естественно разделилась на два совершенно различные периода. В первом — гений его служил Франции, во втором — он употребил уже Францию в услуги прихотливого гения своего»[62].

На причину крушения Наполеона Орлов смотрел не только с военной точки зрения. Военный разгром созданной Наполеоном армии был в конечном счете следствием того, что народы Европы поднялись против завоевателя. Задачу русской армии и ее союзников Орлов поэтому видел в том, чтобы поставить Наполеона «обнаженного, со всем эгоизмом его гения и славы, перед лицом масс,

[60] Об авторстве М. Орлова и обстоятельствах публикации того документа см. комментарии А. Г. Тартаковского к «Размышлениям» в кн.: Листовки Отечественной войны 1812 года. М., 1962, с. 140—144.
[61] См.: Листовки. . , с. 131.
[62] *Орлов М.* Капитуляция Парижа: Политические сочинения. Письма. М., 1963, с. 21.

которых могущества он так долго не признавал и которых презирал мнение, — перед лицом Европы, отвергшей его из предусмотрительности, пред лицом Франции, которая отказывалась от него по изнеможению»[63]. В последние часы войны Наполеон шел на любые авантюры; в частности, он апеллировал к французскому народу, «он пытался возмутить народ, чтобы сделать из Парижа вторую Сарагосу; но Наполеон уничтожил жизнь и движение в массах — и массы остались недвижны»[64].

Орлова же как одного из авторов статей акта капитуляции Парижа особенно занимали условия наступавшего мира. «Я приглашал Францию, — пишет Орлов, — не внимать тщетным обольщениям, принести в жертву свои мечты о славе и владычестве. . . предпочесть систему равновесия и союзов ее наступательному воинственному уединению и снова занять принадлежащее ей место и сан в общем воссоздании здания европейского, которое без ее содействия. . . не будет иметь ни прочности, ни блеска, ни основания, ни верха»[64а].

Таковы дошедшие до нас размышления М. Орлова, вызванные Отечественной войной 1812 г. Участие в войне и длительное пребывание за границей (Орлов окончательно вернулся в Россию только в 1816 г.) не давали угаснуть его интересу к Франции. Орлов, судя по всему, был еще целиком во власти тех представлений об истории, которые господствовали тогда среди русского дворянства, и того понимания истории Франции и Великой французской революции, которое завезли в Россию французские эмигранты. Идеологами французской дворянской контрреволюции были, как известно, Шатобриан и Жозеф де Местр (долгие годы проживавший в Петербурге). Орлов, как и многие его русские современники, был знаком с де Местром. К 1814 г. относится письмо Орлова де Местру как автору книги «Рассуждение о Франции». В нем Орлов излагал свою концепцию мировой истории, целиком совпадающую с концепцией де Местра. Это был воинствующий провиденциализм: «Человек предполагает, а бог располагает. . .».

Эпоха Великой французской революции — эпоха человека и разума, когда с наибольшей силой действовала свобода воли, но и эта эпоха является в конечном счете подтверждением общего закона провиденциализма: «Я вижу, — писал Орлов, — как из глубины этой необъятной катастрофы возникает прекрасный урок для народа и королей. Подобный пример дается для того, чтобы ему не следовать. Он относится к категории великих бедствий, постигших человечество»[65]. Книга де Местра вызвала восторженную оценку Орлова потому, что она была построена на этой теории.

---

[63] Там же, с. 12.

[64] Там же, с. 22. Орлов имеет в виду отчаянную оборону испанцами Сарагосы, которую наполеоновские войска в течение полугода (с июня 1808 по январь 1809 г.) не могли взять.

[64а] Там же, с. 19.

[65] *Орлов М.* Капитуляция Парижа, с. 55, 56.

Но уже годы, проведенные за границей, и особенно время после возвращения в Россию были тем периодом, когда Орлов сблизился с декабристскими кругами русского офицерства и начал усваивать идеи дворянской революционности. В «Арзамасе» (1817 г.) он принадлежал к радикальному крылу, а в своей речи на торжественном собрании Киевского отделения Библейского общества (1819 г.) Орлов — уже типичный декабрист. В этом взволнованном выступлении Орлов гневно обрушился на «политических староверов», противников Французской революции и сторонников крепостного права, которые убеждены, что «люди разделяются на две части: одна — назначенная для рабского челобития, другая — для гордого умствования в начальстве»[66]. Пробным камнем тогдашней революционности были две проблемы: крепостное право и отношение к Французской революции. В их оценке Орлов от времени письма де Местру (1814 г.) до речи в Киевском отделении Библейского общества проделал заметную эволюцию, став противником крепостничества и почитателем Французской революции, которую он еще не так давно относил «к категории великих бедствий, постигших человечество».

Все суждения об истории, которые встречаются в письмах и произведениях Орлова этого времени, были суждениями светского, реалистически мыслящего человека из декабристского лагеря.

Он решительно восстал, в частности, против норманистской точки зрения Карамзина на возникновение русского государства. Помимо соображений патриотических он приводил и чисто научные, которые шли по двум линиям. Во-первых, Орлов считал, что норманистская версия не имеет достаточных оснований в русских источниках, так как опирается всего лишь на сомнительную легенду летописца и на иноземные источники, мало осведомленные в делах наших предков. «Как может быть, чтобы Россия, существовавшая до Рюрика без всякой политической связи, вдруг обратилась в одно целое государство и, удержавшись на равной степени величия от самого начала до наших дней, восторжествовала над междоусобиями князей»[67]. Или мы имеем дело с историческим чудом, или, скорее всего, надо предположить, что Русь была сильным государством еще до Рюрика, — к такому выводу приходил М. Орлов.

Как видим, он внес лепту в борьбу декабристов с норманистикой и самодержавной концепцией Карамзина[68]. Кстати сказать, обращаясь со своими возражениями к кн. Вяземскому, стоявшему близко к Карамзину, Орлов фактически адресовал их самому придворному историографу. Правда, в этом письме он ничего не говорил о своем отношении к самодержавию, но касался этого вопроса в письме Д. П. Бутурлину от 20 декабря 1820 г. Бутурлин, оценивая установление абсолютизма в Дании в XVII в., говорил, что датчане совершили этим «подвиг беспримерный», на что Орлов отвечал:

---

[66] Там же, с. 49.
[67] Там же, с. 59.
[68] См.: *Нечкина М. В.* Декабрист Михаил Орлов — критик «Истории» Н. М. Карамзина. — В кн.: Литературное наследство. М., 1954, т. 59, с. 557—564 (вступит. ст.).

«Я тут ничего великого не вижу, кроме великого непонятия о достоинстве народа»[69].

Отрицательное отношение к крепостничеству и деспотизму приводило Орлова в те годы к противопоставлению крепостной императорской России освободившемуся от крепостничества Западу. Это противопоставление было не в пользу России и усугублялось тем, что Россия вместе с Австрией была руководящей силой послевоенной реакции, олицетворяемой Священным союзом. Свой взгляд на это Орлов изложил в двух письмах Д. П. Бутурлину — в 1819 и 1820 гг. Автор книги «Военная история походов россиян в XVIII столетии» Бутурлин, будущий деятель николаевской реакции, превозносил военное могущество и внешнюю политику России в годы Священного союза. Орлов решительно восстал против этого. «С какого права вручаешь нам политические весы Европы? Друг мой. . . не время теперь самих себя превозносить»[70]. И Орлов настойчиво аргументировал свое мнение. Исходным моментом был тезис о том, что послевоенная международная обстановка стала совершенно иной, чем она была в Отечественную войну 1812 г. Тогда положение России было «гораздо выше нынешнего. . . Мы сражались против целой Европы, но целая Европа ожидала от наших усилий своего освобождения. Вспомни. . . благотворное содействие всех благомыслящих людей, когда наши войска, переходя из земли в землю, основывали везде возрождение народов. Тогда-то мы были сильны, тогда-то мы были страшны общему врагу, ибо под знаменами нашими возрастало древо общего освобождения»[71].

Иное дело — начало 20-х годов XIX в. Хотя в военном отношении Россия стала сильнее, чем была в Отечественную войну, но политически она стала неизмеримо слабее: «И что же мы будем предлагать завоеванным народам? — спрашивал Орлов. — Наш жестокий удел рабства? Но признайся, что сие обещание не может быть лестным для народов, которые все более и более стремятся к свободе». Отсюда следовал вывод: «Россия подобится исполину ужасной силы и величины, изнемогающему от тяжелой внутренней болезни»[72].

Но Запад не был для Орлова неким абстрактным воплощением свободы. Декабрист Орлов интересовался борьбой сил прогресса и реакции в Западной Европе. Это было закономерно: готовя выступление против русского деспотизма, декабристы не могли быть равнодушными к тому, как складывались дела на Западе. Орлов был одним из тех, кто проявлял в этом отношении не только интерес, но и прямое нетерпение. А. С. Пушкин вспоминал: «Орлов говорил в 1820 году: революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция здесь, конституция там. . . Господа самодержцы, вы совершили глупость, свергнув Наполеона»[73]. Больше

---

[69] *Орлов М.* Капитуляция Парижа, с. 65.
[70] Там же, с. 62.
[71] Там же, с. 63.
[72] Там же, с. 63—64.
[73] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1949, т. 12, с. 304.

всего сохранилось сведений об этом в письмах Орлова за 1820 г., о котором говорит Пушкин. Особенно откровенно Орлов писал о своем отношении к событиям на Западе Александру Раевскому, брату жены: «Говорят, что в Риме открыт заговор и что по сему случаю 35 т[ысяч] австрийцев выступили к сему городу... Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю, что 20-й век [74] не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий»[75]. Во Франции произошло убийство герцога Беррийского, и Орлов пишет: «У французов загорается, и так это не кончится»[76].

Особое место в творчестве М. Ф. Орлова занимает его главный труд «О государственном кредите». Наряду с Н. И. Тургеневым Орлов был крупным экономистом-теоретиком не только в России, но и за ее пределами. Изучение экономических процессов он считал непременной обязанностью историка. В письме Д. П. Бутурлину 2 ноября 1819 г. он писал: «Мы живем в таком веке, что историк не может быть историком, ежели он не имеет хороших сведений о политической экономии. Я тебе советую почитать Сея (Say)»[77]. Работать над своим главным произведением Орлов начал, по всем данным, еще до восстания 1825 г., но закончена эта работа была в начале 30-х годов XIX в. Книга эта — результат декабристских настроений ее автора, но на ней лежит отпечаток раздумий и последующих лет. Характерным явлением для дворянской революционности после рокового 1825 г. была потеря веры в восстание. Эти настроения коснулись и М. Ф. Орлова. При всех скидках на цензуру остается незыблемым «окончательный вывод» его главного труда о том, что кредит — это «единственное средство, могущее закрыть навсегда ужасную эпоху политических переворотов и начать эру постепенных гражданских преобразований»[78]. Труд Орлова «О государственном кредите» принадлежит уже николаевской эпохе.

* * *

П. Я Чаадаева (1794—1856) и М. Ф. Орлова (1788—1842) Герцен ставит рядом. Это были люди из поколения декабристов, которые в николаевское время пытались сказать свое слово. Чаадаев выступил с «Философскими письмами» (1829—1830), Орлов — с исследованием «О государственном кредите» (1833). Труд Чаадаева наделал много шума, книга Орлова прошла незаметно. И тем не менее она заслуживает внимания.

Теория государственного кредита (государственного долга) Орлова сама по себе была несостоятельной. Эта была та самая теория, которую потом осудил К. Маркс в 24-й главе первого тома «Капитала». Но в условиях николаевской России теоретические построения Орлова были явлением прогрессивным. Теория Орлова

---

[74] Явная описка — речь идет о XIX в.
[75] *Орлов М. Ф.* Капитуляция Парижа, с. 221.
[76] Там же, с. 225.
[77] Там же, с. 61.
[78] Там же, с. 101.

была первой значительной экономической теорией, направленной против феодально-крепостнической системы и деспотизма в России. Рассматривая себя как продолжателя идей Н. И. Тургенева, он выступил фактически как идеолог капитализма, проповедник свободной игры экономических сил, не стесненных рамками феодализма, сторонник неограниченного роста крупной собственности, сосредоточения ее в руках узкого круга имущих.

В то же время следует подчеркнуть, что эта теоретическая конструкция была очень далека от идеалов декабристов их лучшей поры, ибо в своем главном труде Орлов выступил уже не как дворянский революционер, а как буржуазно-дворянский реформист и просветитель. В основе его концепции лежит тезис о просвещении народа. Но он писал свою книгу для опубликования в России, где правительство привыкло считать, что просвещение ведет к революции. Поэтому автор старается доказать, что «настоящий государственный вопрос состоит... в том, чтобы при полном развитии просвещения найти средство отклонить все его опасности и воспользоваться всеми его дарами»[79]. Способ, при помощи которого можно избежать «опасных» последствий просвещения, состоит, по мысли Орлова, в том, чтобы хозяйственные реформы опережали реформы политические. Если же первые отстают от вторых или проводятся одновременно с ними, «ужасные несчастья угрожают правительствам и народам»[80].

Просветительская точка зрения обязывает Орлова начинать свои рассуждения с «естественного человека», который, по его мнению, имеет два рода нужд — естественные и искусственные. Нужды естественные — всем народам, нужды искусственные — только народам просвещенным[81]. Нужды естественные удовлетворяются трудом, нужды искусственные — трудом и богатством. Но как умножить богатства? Рост богатств и рост просвещения — процессы взаимообусловленные, ибо «просвещение, распространяя круг наших желаний и нашей деятельности, поощряет образование общего богатства, а образование богатств, умножая число людей просвещенных, дает самому просвещению новые силы к его собственному распространению»[82]. Отсюда следовал вывод: сильные и «благонамеренные» правительства должны строить свою политику на этом основании. «Покровительствуя земледелию, промышленности, торговле и ограждая собственность граждан, правительства действительно водворяют просвещение, а умножая учебные способы, воздвигая университеты, академии и школы, покровительствуя наукам и художествам, они истинно обогащают своих подданных»[83].

Говоря о росте богатств народа, Орлов различает два типа благосостояния народов — «преспеяние случайное» и «преспеяние обдуманное», различаемые между собою по степени распространения

---

[79] Там же, с. 142.
[80] Там же.
[81] Там же, с. 140.
[82] Там же.
[83] Там же.

просвещения. Если у народа не развито просвещение, то его процветание является чисто случайным, оно зависит от благоприятного стечения обстоятельств. К ним Орлов относит появление мудрого правителя, необходимость принятия каких-либо решительных мер, влияние более просвещенного народа, открытие неизвестной дотоле земли, развитие торговли или открытия, улучшающие ведение хозяйства.

Все народы древности и средних веков автор относит к народам непросвещенным, а следовательно, пользующимся только случайным благосостоянием. Началом нового времени Орлов считает Вестфальский мир 1648 г., поскольку около этого времени просвещение начинает быстро распространяться. Оно проникает теперь в самые глубины общественной жизни и ставит историю народов на иные основания. Просвещение производит переворот во всех сферах социальной жизни. Орлов насчитывает четыре таких главных сферы и в соответствии с этим конструирует четыре «революции».

Révolution intellectuelle. В религии, философии и науках эта интеллектуальная «революция» должна привести от фанатической борьбы убеждений к терпимости между ними[84]. Вместе с тем это должно означать восхождение науки на новую, более высокую ступень. В частности, положение современного историка чрезвычайно сложно, ибо он обязан вникать в глубинные процессы исторического развития, а такими Орлов считает процессы экономические.

Révolution diplomatique. В новое время происходит «начало постоянных отечеств, сих необходимых центров человеческой деятельности». Однако отношения между государствами основаны на «враждебном праве сильного», состояние мира всего лишь кратковременная передышка между войнами. Орлов стремится особо выделить одну из главных причин войн — захват чужих богатств. Задача человечества состоит в том, чтобы покончить с войнами, установить между государствами «политическое равновесие». Это вполне достижимо в новое время при помощи просвещения. Именно в этом и должна состоять «дипломатическая революция».

Révolution organique. Под «органической революцией» Орлов понимает переход от «недостаточных учреждений к усовершенствованному порядку», который включает в себя такие истины, как «вера в науки, развитие промышленности и торговли, необходимость личной свободы, стремление к гражданскому равенству, одинаковое для всех покровительство законов, независимость судопроизводства, неприкосновенность собственности... постепенное уничтожение монополий и привилегий не только для частных людей, но и для целых провинций, польза народного воспитания, распространенного от самых высших до самых последних сословий»[85]. Все это предполагает непременное условие — развитие либерализма. Но Орлов тут же оговаривается, что пользоваться либерализмом нужно со всей осторожностью, ибо либерализм заключает в себе начала, «подлежащие сомнению и возражениям».

[84] Там же, с. 138.
[85] Там же, с. 139.

Révolution financiére — «преобразование хозяйственное или переход от простой системы усиленных податей к системе умеренных налогов на правилах государственного кредита» [86]. Систему государственных займов Орлов рассматривал как главнейший рычаг всего экономического и гражданского прогресса, как одну из «главнейших необходимостей времени», а также как «вернейший способ для обуздания духа политических переворотов» [87]. Аргумент Орлова в пользу последнего тезиса состоял в том, что государственный кредит предполагает «обоюдное благорасположение» подданных и правительства [88].

Но против этого тезиса о миротворческой роли кредита говорил опыт западноевропейской истории. Цифры, которые собрал Орлов, свидетельствовали, что после Нидерландской, Английской и Французской буржуазных революций кредит, в том числе и государственный, стал быстро развиваться, и это давало оружие в руки противников.

Орлову пришлось доказывать, что «кредит не есть детище переворотов», что, напротив, он «служит залогом как внешней безопасности. . . так и внутреннего спокойствия». Отсюда шло его уверение, что если «кредит утвердился в Голландии, Англии и Франции после ужаснейших переворотов», то отсюда еще не следует, что он «без переворотов существовать не может». Но при этом обращает на себя внимание та характеристика буржуазных порядков, которую он дает попутно. Доказывая, что развитие кредита возможно и в России, он пишет, что оттого, что кредит «был изобретен там, где вольность прений дает более игры воображению и более смелости слову, не следует еще, что после его изобретения другие правительства не могли воспользоваться вполне его благодетельными последствиями. Мы охотно признаем, что некоторая степень вольности дает кредитным постановлениям много постоянства и твердости; но мы уверены также, что самодержавие, соединенное с просвещением, не есть препятствие для учреждения сих постановлений. . . Везде, где собственность ограждена законами, везде кредит может оставаться и процветать» [89].

Непременное условие, соблюдение которого Орлов считает обязательным, состоит в том, чтобы «правительство умело оценить всю важность народного просвещения» [90]. Вывод, к которому приходит Орлов, таков: «Истинное просвещение никогда не вооружится против благонамеренного правительства, которого значение в мире есть порядок и устройство. Без просвещения никакое правительство процветать не будет. Без правительства просвещение существовать не может» [91]. При соблюдении этого условия создается полная возможность для обдуманного процветания народа. Все искусство

86 Там же.
87 Там же, с. 142.
88 Там же, с. 143.
89 Там же, с. 162.
90 Там же, с. 133.
91 Там же, с. 141.

правителей состоит в том, чтобы «уметь воспользоваться случайным преспеянием для водворения преспеяния обдуманного»[92].

Эти теоретические, в действительности априорные, искусственно сконструированные положения Орлов стремился доказать опытом западноевропейской истории. Он избирает для этого историю Франции и Англии, причем Франция рассматривается как опыт отрицательный, а Англия — как положительный.

Одержав победу над Францией в трех крупных войнах — войне за испанское наследство, Семилетней войне и в войнах с Наполеоном, Англия доказала свое преимущество. «Причина сего торжества ясно выводится из истории. Англия вступила в бой возмужавшая, совершившая свое внутреннее и хозяйственное преобразование. Франция, напротив того, начала сии войны прежде всякого опыта хозяйственного преобразования и продолжала последнюю во всех ужасах внутреннего переворота. Она поддерживалась одним только. . . случайным преспеянием, тогда как Англия пользовалась полным развитием преспеяния обдуманного»[93]. Теперь, когда Франция прибегла наконец к кредитной системе, перед ней открылась возможность догнать Англию. Если же она не сумеет оценить роль государственного кредита, то «должно ожидать упадка кредита во Франции, а за сим упадком — новых потрясений и нового переворота»[94].

Главный вывод, который делает Орлов из своего исследования для современности, сводится к тому, что «враги кредита суть не кто другие, как враги властей вообще. . . все нападения на систему кредита суть не что иное, как происки властолюбия, а сам кредит более нежели когда-либо пребывает для правительства залогом силы и могущества, для народа — источником беспредельного преспеяния»[95].

Книга Орлова «О государственном кредите» свидетельствует о хорошем знакомстве автора с историей Западной Европы от античности до его современности. Но вся эта эрудиция поставлена на службу предвзятой и ложной идее. Западноевропейская история, насильственно втиснутая в прокрустово ложе исторической концепции Орлова, приобрела изуродованный вид. События, имевшие место в исторической действительности, но озаренные искажающим их светом, перестали выражать закономерный ход исторического процесса. Книга не давала правильного представления об истории Западной Европы, она лишь ярко свидетельствовала об эволюции исторических взглядов бывшего декабриста.

Историческая концепция Орлова 30-х годов XIX в. явно отличалась от его ранних взглядов. Скидка на цензуру может быть сделана лишь в одном отношении: не стоит доверять его дифирамбам во славу монархов, свободных от всяких человеческих законов и умудренных лишь неисповедимой волей провидения. Задача книги Орлова в том

---

[92] Там же, с. 140.
[93] Там же, с. 211—212.
[94] Там же, с. 214.
[95] Там же, с. 215—216.

и состоит, чтобы обнажить историческую закономерность, которую не могут нарушить даже самодержцы.

Орлов никогда не был республиканцем. Как тогда, до 1825 г., так и теперь Орлов не хотел быть почитателем монарха-самодержца; как тогда, так и теперь речь у него идет о монархии ограниченной, монархии конституционной. Но значит ли это в таком случае что Орлов остался таким же, каким он был до декабристского восстания? Никак не значит. Декабризм пережил явную эволюцию; пережил ее и Орлов. Из дворянского революционера он превратился теперь в буржуазного либерала. Определяющим моментом в его эволюции было отношение к революции. В 1819 г. в речи в Киевском отделении Библейского общества он выступил защитником Французской революции, теперь же, в 30-е годы XIX в., он выступает ее хулителем. Отношение к революции — коренной вопрос. В книге Орлова поношение революции это не тактический прием для цензуры, это фундамент, на котором держится вся историческая конструкция Орлова, вся аргументация книги преследует одну цель — показать гибельность «ужасного переворота» и доказать возможность его избегнуть.

Отрицательному опыту французской истории Орлов противопоставляет путь парламентских реформ. Орлов явился родоначальником либеральной традиции в русской историографии противопоставлять пути французскому путь английский (или немецкий), утверждать парламентский реформизм в противовес революционному перевороту. Эта традиция дожила до Октябрьской революции.

Таким образом, концепция Орлова действительно противостояла крепостническому деспотизму николаевской России, но она противостояла ему не в качестве теории революционера, а в качестве теории буржуазного либерала. Концепция Орлова была буржуазной концепцией, направленной против русского феодализма; это был своего рода буржуазный манифест, провозглашавший наступление капиталистической эры в России, но отнюдь не подцензурная форма для пропаганды идей революции. При этом Орлов, потеряв дворянскую революционность, не перестал быть дворянином. Его историческая концепция вовсе не противостоит дворянству, а, наоборот, занимает по отношению к нему благожелательную позицию.

Орлов придавал исключительное значение главному труду — он сделал все, чтобы его книга увидела свет; николаевская цензура потребовала убрать из книги все, что казалось ей подозрительным, и автор принял эти условия. Он внимательно следил за впечатлением, которое должна была произвести его книга на общество. Автор, нужно полагать, был уверен, что он совершил переворот в науке, нашел ключ к книге законов истории человечества, что его концепция содержала мысли того же масштаба, как и «Философическое письмо» Чаадаева. При этом Орлов мог рассчитывать на славу Чаадаева без ее тернового венца — его книга получила благословение цензуры. Но книгу не читали.

И это безразличие понятно. «Философическое письмо» Чаадаева вызвало сенсацию потому, что оно затронуло чувства тогдашнего «общества», оскорбляя русский патриотизм и нанося удар по тем

идеям, которым веками служило русское дворянство. Книга же Орлова воспринималась как досужее доктринерство, как утопия, которая не имела никаких шансов на осуществление в России, она никого не волновала и никуда не звала. Единственным опубликованным откликом на труд Орлова была рецензия О. И. Сенковского в его журнале «Библиотека для чтения».

Автор рецензии, для которого имя написавшего трактат едва ли было секретом, снисходительно хлопал Орлова по плечу и поучал, как поучают недоросля, не справившегося с письменным сочинением на избранную тему. Это было сделано в самой небрежной и оскорбительной форме[96].

Рецензент находил концепцию Орлова политически вредной: одержи она верх, в стране начнет расти алчный социальный слой кредиторов государства, всякого рода рантье, слой, который постоянно грозит «проникнуть в недра отечественной политики и заразить их своим нечистым дыханием». Что же касается главного политического довода самого Орлова, что враги кредита — враги власти и порядка, то этот довод был начисто забракован. Это было все, что сказала о сочинении Орлова современная ему русская печать.

П. Я. Чаадаев

Литература о Петре Яковлевиче Чаадаеве (1794—1856) огромна. В дореволюционный период в подавляющей своей массе это была либеральная, буржуазно-дворянская литература. При всем широком охвате, при всех разногласиях в ней доминировали общие мотивы: Чаадаев изображался одним из зачинателей русского либерализма западнического толка; он открывал шеренгу русских философов-мистиков — В. Соловьева, Бердяева, Булгакова и им подобных[97]. После революции 1905 г. мистицизму Чаадаева отводилось все большее место; не случайно в разработке чаадаевской проблемы столь видную роль сыграл веховец М. О. Гершензон (1869—1925). Революционно-демократическая традиция[98], на которую опирался Г. В. Плеханов[99], подчеркивала, напротив, антикрепостническую и

---

[96] Библиотека для чтения, 1834, т. 1. Литературная летопись, с. 48.

[97] *Пыпин В. Н.* Характеристика литературных мнений от 20-х до 50-х годов. СПб., 1873, с. 111—170; 4-е изд. СПб., 1909, с. 141—195; *Веселовский А.* Западное влияние в новой русской литературе. М., 1896, с. 171—172, 184, 188, 225, 240; *Он же.* Этюды и характеристики. 4-е изд. М., 1912, т. 2, с. 247—258; *Милюков П. Н.* Главные течения русской исторической мысли. М., 1887, с. 289—306; 3-е изд. СПб., 1913, с. 323—342; *Семевский В. И.* Из истории общественных течений в России в конце XVII и первой половине XIX в. — Ист. обозрение, 1904, сент., с. 274; *Лемке М.* Чаадаев и Надеждин. — Мир божий, 1905, № 9, с. 1—34; № 10, с. 122—156; № 11, с. 137—163; № 12, с. 91—108; *Гершензон М.* К характеристике П. Я. Чаадаева. — Былое, 1906, № 4, с. 243—254; *Он же.* П. Я. Чаадаев: Жизнь и мышление. СПб., 1908; *Лернер Н. О.* П. Я. Чаадаев. — В кн.: История русской литературы / Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. М., 1909, т. 2, с. 1—14 и др.

[98] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1956, т. 7, с. 221—223; М., 1956, т. 9, с. 139—148; М., 1959, т. 17, с. 96—99, 102—103; М., 1959, т. 18, с. 89—91, 186—190; *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. М., 1950, т. 7, с. 592—618.

[99] *Плеханов Г. В.* Соч., М.; Л., 1925, т. 10, с. 135—162; М.; Л., 1926, т. 23 с. 3—23.

антиабсолютистскую направленность идей Чаадаева и в то же время указывала на искусственность его исторических построений и реакционную сторону его идеологии, обусловленную влиянием религии, в частности католичества.

В советской литературе оценка идейного наследства Чаадаева — одна из крупных проблем. Больше всего им интересовались философы, написавшие свыше десятка диссертаций о философских взглядах Чаадаева. Задача историографа — разобраться в том, что писали о Чаадаеве прежде всего историки [100]. Советские исследователи, опираясь на наследство революционеров-демократов и Плеханова, с успехом разрабатывают сильную сторону мировоззрения Чаадаева, ненавидевшего крепостничество и николаевский режим. Именно эта целенаправленность чаадаевских идей сыграла большую прогрессивную роль в истории русской общественной мысли. Вот почему в памяти последующих поколений русских людей Чаадаев остался увенчанным, как лавровым венком, прославленными пушкинскими стихами:

Товарищ, верь, взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна
И на обломках самовластья
Напишут наши имена [101].

Однако Чаадаев — фигура чрезвычайно сложная. Помимо этой, прогрессивной, во взглядах Чаадаева была и реакционная сторона, связанная с идеями католицизма. На большое место католических идей в подходе Чаадаева к проблемам всемирной и русской истории указывали еще Герцен и Плеханов. Тем не менее советские историки не только не обратили на это внимания, но совершенно намеренно стали обходить чаадаевский католицизм. Создается впечатление,

---

[100] *Ильинский В.* «Апология сумасшедшего» П. Я. Чаадаева в интерпретации Н. Г. Чернышевского: Неизданные тексты, материалы и статьи. Саратов, 1928, с. 46—49; *Мещеряков Н.* Чаадаев. — БСЭ. 1-е изд., т. 61, стб. 14—15; *Шаховской Д.* Неизданный проект прокламации П. Я. Чаадаева 1848 г. — В кн.: Литературное наследство, 1935, т. 22—24, с. 679—682; *Берелевич Ф. И.* Чаадаев и революция 1848 г. — Учен. зап. МГУ, 1940, вып. 61, т. 2, с. 73—80; *Крестова Л.* Чаадаев. — Молодой большевик, 1941, № 1, с. 39—48; *Каменский З. А.* П. Я. Чаадаев (Русская мысль на пути от дворянского просветительства к идеологии демократии): Стеногр. лекций. М., 1946; *Афанасьев М. К.* Общественно-политические взгляды Чаадаева. — Труды Воронеж. ун-та, 1947, т. 14, вып. 2, с. 141—156; Чаадаев и польское восстание 1830 года. — Доклады и сообщения ист. фак. МГУ, 1948, вып. 8, с. 27—32; П. Я. Чаадаев и декабристы. — Учен. зап. Тюмен. пед. ин-та, 1958, т. 5, вып. 2, с. 157—177; *Шкуринов П. С.* П. Я. Чаадаев: Жизнь, деятельность, мировоззрение. М., 1960, с. 148; *Лебедев А. А.* Чаадаев. М., 1965; рецензия на книгу А. А. Лебедева: *акад. Дружинин Н. М.* П. Я. Чаадаев и проблема индивидуализма. — Коммунист, 1966, № 12, с. 119—128 и др.

[101] Чаадаев до конца дней дорожил пушкинскими стихами, обращенными к нему. Когда в 1854 г. Г. Бертенев в «Московских ведомостях» в статье о молодом Пушкине не назвал Чаадаева среди тех, к кому поэт обращался с посланиями, Чаадаев выступил с протестом. Шевыреву он писал: «Пушкин гордился моею дружбою; он говорит, что я спас от гибели его и его чувства, что воспламенял в нем любовь к высокому» (*Чаадаев П. Я.* Сочинения и письма / Под. ред. М. Гершензона. М., 1914, т. 2, с. 306—307).

что они не знают, «что с ним делать», уж очень он не вяжется с их представлением о Чаадаеве — представителе поколения декабристов. И историки вышли из положения просто — они перестали замечать существование этой важной и сложной проблемы, без которой не может быть правильно понята ни историческая, ни философская конструкция Чаадаева. А такая проблема все же существует, и марксистская наука обязана дать на нее ответ.

От поколения дворянских революционеров уцелело на свободе лишь несколько крупных фигур, не принимавших участия в восстании, а то и в самом движении — братья А. И. и Н. И. Тургеневы, А. С. Пушкин, П. А. Вяземский, П. Я. Чаадаев и М. Ф. Орлов. Даже в лучшую свою пору они не вышли за черту дворянской идеологии. После 1825 г. все они, кроме рано погибшего Пушкина, прожили по нескольку десятилетий (Орлов умер в 1842, А. И. Тургенев — в 1845, Чаадаев — в 1856, Н. И. Тургенев — в 1871, Вяземский — в 1878 г.) и все дальше уходили от идеалов декабристов.

Как известно, Орлов и Чаадаев были неразлучны, в Москве их привыкли видеть вместе. Герцен, человек «новых всходов», признавался: «В тридцатых годах меня поразили две личности, две уцелевших античных колонны на топком грунте московского великосветского campo vaccino. Они стояли рядом, напоминая своей печальной, своей изящной наружностью что-то рухнувшее — что именно было трудно сказать — полиция подобрала все развалины и все осколки. Орлов и Чаадаев были первые лишние люди, с которыми я встретился» [102]. Пришли новые времена — пора революционеров-демократов. Несмотря на все попытки идти «в ногу с эпохой», поколение дворянских революционеров несло на себе печать «старосветскости». Это были люди, для которых все лучшее осталось в прошлом.

Такова эпоха, в которую складывалась историческая концепция Чаадаева. То было время, когда идеалы дворянской революционности стали уже пройденным этапом, уже не она выражала передовые идеи своего времени. На смену поколению дворянских революционеров пришло поколение революционеров-демократов.

Что представлял собой католицизм, каково его происхождение? Как известно, Чаадаев был не единственным в России, кого увлекали идеи католицизма. Это была своеобразная форма аристократического протеста против николаевского режима.

По этому пути шел и Чаадаев, с той, однако, разницей, что для него католицизм вовсе не был вероисповедным делом. Если другие его русские единомышленники переходили из православия в католичество и даже становились иезуитами и католическими священнослужителями, то Чаадаев всегда оставался православным и умер, исповедавшись и причастившись у своего приходского батюшки. Сам он говорил об этом совершенно определенно: «Что касается до меня, то я, благодарение богу, не богослов, не законник, а просто христианский философ» [103].

---

[102] Колокол. М., 1963, вып. 6, с. 1529. Факс. изд.
[103] *Чаадаев П. Я.* Сочинения и письма, т. 2, с. 232.

Таким образом, католицизм Чаадаева — не традиционный «папский» католицизм, на что указывала даже комиссия Николая I, расследовавшая впоследствии вопрос о публикации первого «Философического письма». В католических идеалах Чаадаева комиссия усмотрела «черту, обнаруживающую какой-то отголосок, какую-то связь с новейшим католицизмом» [104]. Здесь указан и адрес и адресат: речь идет о католицизме, который ищет точек соприкосновения с революционными началами, т. е. о том самом явлении, которое Герцен называл «революционным католицизмом» и которое было составной частью социально-политической атмосферы, существовавшей тогда в Западной Европе.

Во Франции произошла революция 1830 г., она подвела итоговую черту под политическим господством дворянства в этой стране; к власти окончательно пришла буржуазия. Феодальная Европа стала свидетельницей своего поражения; в крахе дворянства во Франции она не могла не увидеть угрозу общего краха дворянства.

С этого рубежа во Франции началась критика капитализма, а шла она как справа, так и слева. Типичным представителем критики справа был А. Токвиль. В главном своем сочинении «Старый порядок и революция» Токвиль приходит к выводу, что капитализм и политическая власть буржуазии есть шаг назад по сравнению с феодализмом во Франции. Возврат к феодальным порядкам, по его мнению, вполне возможен, ибо революция в действительности ничего не изменила в общественных устоях Франции, созданных Старым порядком. Историческая концепция Токвиля — это попытка исторически обосновать место дворянства в политической жизни Франции в условиях победившего капитализма. Историческая теория Токвиля оказала огромное влияние на европейскую историографию, она встретилась в России с решительной критикой Чернышевского.

Критика слева исходила от представителей нескольких идейных течений. Тридцатые годы во Франции — время бурного развития утопического социализма. В 1848 г., когда пролетариат впервые выступил как самостоятельная политическая сила, родился первый программный документ марксизма. Существовали, однако, и другие течения, на которые указывает «Коммунистический Манифест». Среди них был и тогдашний христианский социализм, складывавшийся, главным образом, в лоне католицизма. Какие основания были у Герцена называть это направление общественной мысли «революционным католицизмом»? На Западе порой возникали такие ситуации, когда народные массы католических стран поднимались на борьбу за свою свободу под знаменами католической веры. Так происходило восстание испанского народа против тирании Наполеона. Под этими же знаменами велась борьба за республиканскую Бельгию, против нидерландской монархии. В том же русле идет и борьба ирландского народа против английского господства. Даже в 70-х годах XX в. мы являемся свидетелями того, как католическое меньшин-

---

[104] *Лемке М.* Чаадаев и Надеждин: По неопубликованным материалам. — Мир божий, 1905, № 11, с. 160.

ство Ольстера, лишенное гражданских прав, выходит на бой с английскими войсками.

Есть тем не менее и другая сторона вопроса, на которую Герцен в свое время не обратил должного внимания. Аббат Ф. Ламеннэ (1782—1854), выступая под флагом антикапитализма, стремился во времена революций 1830 и 1848 гг. овладеть умами участников рабочего движения при помощи христианского социализма, превратить пролетариат в союзника дворянства против буржуазии. Ламеннэ был представителем той самой аристократии, которая, по словам «Коммунистического Манифеста», «размахивала нищенской сумой пролетариата, как знаменем, чтобы повести за собой народ».

Эти явления, происходившие на Западе, имели отзвук и в России, где социально-политическая ситуация становилась все более напряженной. Движение декабристов было подавлено, но страна оставалась неспокойной. Первая половина XIX в. — это время подъема крестьянского движения. Под воздействием социальной активности крестьянства складывалось революционно-демократическое течение русской освободительной мысли. Революция 1830 г. была с энтузиазмом встречена в России демократическими слоями общества, включая студенчество.

В противоположном направлении двигалась в России феодальная диктатура. «Дней александровых прекрасное начало» обернулось александровским, а затем и николаевским деспотизмом. В революции 1830 г. дворянские идеологи в России увидели сигнал бедствия, возвещавший, что начался закат дворянства. Тем беспощадней действовал николаевский режим. Наступил 1848 год [105]. Произнес ли на самом деле Николай I или не произносил своей печально знаменитой фразы: «Седлайте коней, господа! Во Франции объявлена республика!» — формула эта как нельзя лучше передает отношение николаевской России к событиям на Западе. Русское дворянство и русский абсолютизм трубили поход против революции, и он состоялся через год.

Влияние западных событий коснулось и общественной мысли в России: в николаевской России петрашевцы тайно изучали утопический социализм. На Западе крушение утопических идей ознаменовалось ростом популярности научного социализма. С этого времени в Россию начинают проникать идеи марксизма.

Не осталась в стороне от западных событий и русская историческая наука. Официальная историография в лице М. П. Погодина ответила на них теорией двух закономерностей: одна закономерность для Запада, другая — для России.

Несколько отличалась от погодинской концепции концепция славянофилов, но обе сходились в главном: Запад развивается через перевороты, в России же они антиисторичны. «Государственная» школа русских историков-либералов (С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) вносила в теорию двух закономерностей немало оговорок, тем не менее принимала ее в целом. Н. А. Полевой и Т. Н. Гра-

---

[105] См.: *Нифонтов А. С.* Россия в 1848 году. М., 1949.

новский отстаивали идею единой закономерности в ее либеральной интерпретации.

Сложным было отношение к этому вопросу у революционеров-демократов. В. Г. Белинский в противоположность сторонникам дворянской концепции видел в мировом историческом процессе единую закономерность, общую для России и Запада. В противоположность приверженцам буржуазной исторической теории он не считал капитализм благодеянием для народа. Великая французская революция и революция 1830 г. были свидетелями того, что самой могучей революционной силой был народ, но именно он-то и остался стороной самой обделенной, обездоленной. Народ не может мириться со своей участью, поэтому зреет новая революция и она пришла; это была революция 1848 г. Белинский умер как раз тогда, когда революция 1848 г. в Париже достигла своего зенита.

Этим же путем пошел было и А. И. Герцен, но июньские дни 1848 г. толкнули его на иную стезю. Герцен был очевидцем кровавого разгрома пролетариата, и это стало причиной его глубокой «духовной драмы». Он осудил капитализм как строй бесчестный и беспощадный к народу, но он не обнаружил на Западе силы, способной сокрушить капитализм и построить социалистическое общество. Герцен стал искать обходных путей и пришел к утопической идее «русского социализма». Отсталая Россия с ее уцелевшей общиной, считал он, выведет человечество из создавшегося тупика и покажет путь к социализму. Герцен противопоставлял Россию и Запад; это была тоже теория двух закономерностей, но противоположная той, которая находилась на вооружении дворянской, охранительной историографии.

Таким образом, в истории русской исторической мысли первой половины XIX в. сформировался ряд исторических теорий, в складывании которых не последнюю роль сыграли события на Западе. В ряду дворянских теорий этого периода стояла и теория Петра Яковлевича Чаадаева, имевшая свои особенности и свою сложную историю.

Примыкая в молодости к декабристам, Чаадаев принадлежал к тем из них, кто не был сторонниками вооруженного восстания. Вовлеченный в организацию И. Д. Якушкиным, Чаадаев, однако, участия в делах не принимал и скоро уехал за границу, где провел три года (1823—1826). В 1825 г., в трагический год для декабристов, Чаадаев мирно беседовал в Карлсбаде с Шеллингом о Welt-Geist и размышлял над проблемами «духоведения». Чаадаев был «декабрист без декабря».

Заграничное путешествие наложило сильный отпечаток на его мировоззрение. Воцарившиеся в Европе порядки Священного союза являли собой реакцию не только политическую — это была глубокая идеологическая реакция дворянства, в последний раз победившего в масштабе всей Европы. А. И. Герцен так писал об этом времени: «Революция оказалась несостоятельной... Люди спасались от настоящего в средние века, в мистицизм — читали Эккартсгаузена, занимались магнетизмом и чудесами князя Гогенлоэ»[106].

[106] *Герцен А. И.* Собр. соч., т. 9, с. 144—145.

Именно в эти годы Чаадаев лично знакомится со многими крупными представителями западной культуры (в частности, с Шеллингом и Ламеннэ). И покидает Запад, будучи увлечен католицизмом. Интерес к христианской религии вообще был характерен для Чаадаева.

Каковы же главные черты той общественно-политической и исторической концепции, которая стала складываться у Чаадаева в годы после возвращения его из-за границы? Прежде всего, надо иметь в виду сугубо дворянский характер всей идеологии Чаадаева. Революцию 1830 г. он воспринял как трагедию дворянства всей Европы. Пожалуй, никто не выразил это так глубоко и категорически, как Чаадаев. Свидетельство тому — его письмо к Пушкину в сентябре 1831 г. Размышления о революции, пишет он, захватили его целиком: «Ибо взгляните, мой друг: разве не воистину некий мир погибает и разве для того, кто не обладает предчувствием нового мира, имеющего возникнуть на месте старого, здесь может быть что-либо, кроме надвигающейся ужасной гибели?» [107]

Какой контраст между тем, что было до революции, и тем, что стало ныне! Впечатление усугублялось тем, что в том же 1830 г. началось польское национально-освободительное восстание, которое Чаадаев решительно осуждал.

Из всех западных школ Чаадаеву ближе всех по духу была аристократическая школа Ламеннэ. Однако, приспосабливая ее идеи к собственному пониманию истории, Чаадаев вносит две поправки. Если Ламеннэ наполнял свои доводы демагогическими обращениями к народу, то Чаадаев сразу же заявил себя решительным противником «толпы». Он не раз формулировал свое отношение к народным массам, но с наибольшей полнотой и философским обоснованием сформулировал его в «Апологии сумасшедшего» (1837).

В его рассуждениях нашел свое выражение шеллингианский тезис, согласно которому только гений может стать подлинным субъектом познания. Для Чаадаева данное положение стало своего рода нормой поведения — таким одиноким умом, познающим истину, он считал самого себя. Отсюда рождался тот менторский тон, который всегда был характерен для Чаадаева.

Вместе с тем Чаадаев, дворянин «божьей милостью», был противником николаевского деспотизма. Отсюда вытекало второе отличие его идей от идей Ламеннэ. Если вся система взглядов французского аристократа была обращена против буржуазии, то направленность идей Чаадаева — иная: они обращены против крепостничества и самодержавия. Католицизм являлся у Чаадаева формой оппозиционности николаевскому абсолютизму.

Что могло способствовать обращению Чаадаева к столь, казалось бы, неожиданному средству критики крепостничества и деспотизма? Разобраться в этом помогает Герцен, хорошо знавший общественную атмосферу тех лет, которые последовали за подавлением восстания декабристов. Уезжал Чаадаев за границу из России

---

[107] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 178—179.

александровской, вернулся в Россию николаевскую, где положение изменилось к худшему.

Чаадаев презирал и крепостничество, и николаевский абсолютизм, и русское дворянство, раболепно окружавшее трон. Каким же оружием он мог сражаться со всем этим? Вооруженная борьба им решительно отвергалась. Он был противником восстания в лучшие времена декабристов, тем более он был далек от идеи восстания, когда дворянская революционность канула в Лету. В своем первом «Философическом письме» он называет восстание декабристов несчастьем, отбросившим Россию назад. Больше того, Чаадаев вообще не был политическим борцом, по самому своему складу это был теоретик, что вообще характерно для той полосы, когда выступил Чаадаев: после трагедии 14 декабря наступила жесточайшая политическая реакция. «Мы все были отважны и смелы только в области мысли, — писал впоследствии Герцен в «Колоколе». — В практических сферах, в столкновении с властью являлась большей частью несостоятельность, шаткость, уступчивость. . . мне кажется, что после декабристов до петрашевцев все линяли. . . Все печально сидело по щелям, читало книги, писало и по большей части украдкой показывало статьи»[108].

Именно так и поступал Чаадаев. Все, что он писал, не имело шансов быть опубликованным — вот почему в чаадаевском научном творчестве такое заметное место занимают письма. Они вовсе не письма в принятом смысле: это обычно большие и малые статьи, создававшиеся порой в течение длительного времени. Иногда автор извещал адресата, что он готовит ему эпистолию; как правило, прежде чем послать письмо, он давал его читать возможно большему числу людей; иной раз, совершая этот долгий путь, письмо так и не доходило до того, кому оно предназначалось. Словом, письма Чаадаева — это в условиях николаевской реакции способ бесцензурного распространения его взглядов среди узкого круга дворянства и интеллигенции. Даже главные произведения Чаадаева носят заглавие «Философические письма».

Герцен так характеризует основное содержание его научного творчества: «Чаадаев думал найти обещанный всем страждущим и обремененным покой в католической церкви»[109]. Католическая религиозность стала как бы тем фокусом, в котором сконцентрировались все главные проблемы, интересовавшие Чаадаева. Ведь православная церковь служила идейной санкцией и охранительницей николаевского режима. Она стала «тенью, под которой покоится полиция; народ все выносит, все терпит, правительство все давит и гнет. История других народов — повесть их освобождения. Русская история — развитие крепостного состояния и самодержавия»[110]. Доказательство этого и образует существо исторической концепции Чаадаева.

[108] Колокол. М., 1963, вып. 8, с. 158. Факс. изд.
[109] *Герцен А. И.* Собр. соч., т. 9, с. 147.
[110] Там же.

В основе его исторических построений лежит представление объективного идеализма о мировом духе, парящем над всем и составляющем внутренний смысл всего сущего [111].

Этот мировой дух понимается русским мыслителем не в свете диалектики Гегеля, а в свете метафизики Шеллинга — как нечто раз навсегда данное. Воплощением мирового духа являются лишь определенные и притом немногие народы. Чаадаев проводил параллель между жизнью отдельных людей и жизнью народов: «Всякий человек живет, но только человек гениальный или поставленный в какие-нибудь особенные условия имеет настоящую историю» [112]. Поэтому «значение народов в человечестве определяется лишь их духовной мощью и то внимание, которое они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от шума, который они производят» [113]. Размеры территории государств, их политический вес, мощь их армий и т. д. — все это не имеет никакого значения, ибо это суть факты материальные, ничего не решающие в исторической поступи народа. Отсюда следовал вывод: человечество состоит из народов исторических, наделенных духовной, нравственной мощью, определяющих ход всемирной истории, и народов неисторических, история которых лишена нравственной, духовной значимости, так что эти народы вообще не имели истории.

Всеобщим показателем исторической значимости того или иного народа, его духовной мощи служит, по мысли Чаадаева, религия. В эти рамки укладывается и вся наука, которой народ располагает. В сочинениях и письмах Чаадаева неоднократно встречаются категорические утверждения, что наука и религия едины и что «весь прогресс физических наук за последнее время клонится к подтверждению системы, изложенной в библейской книге Бытия» [114].

Это генеральное у Чаадаева положение определяло и задачи историка.

Накопление фактов само по себе ничего не дает, важен способ их группировки, понимания и распределения, поэтому «историку в наше время больше нечего делать, как размышлять» [115]. Его задача состоит в отыскании общей закономерности исторического развития. История, по Чаадаеву, «совершается на почве мнений... Все политические революции были там в сущности духовными революциями: люди искали истину и попутно находили свободу и благосостояние» [116].

Определяющим среди этих мнений выступает «нравственный разум», он и составляет главный критерий при оценке исторических явлений, «подобно тому, как аксиомы естественной философии... сводятся в формулы и уравнения» [117]. Определить нравственную

---

[111] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 196—197.
[112] Там же, с. 221.
[113] Литературное наследство. М., 1935, т. 22/24, с. 23.
[114] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 200.
[115] Там же, с. 132.
[116] Там же, с. 121.
[117] Там же, с. 132.

значимость исторических событий и эпох — вот назначение этого универсального принципа. Сформулированную им закономерность Чаадаев считает объективно существующей, ибо ее «создает не историк, а сила вещей. Историк приходит, находит ее готовою и рассказывает ее, но придет он или нет, она все равно существует»[118].

В соответствии с этой схемой Чаадаев конструирует весь конкретный всемирно-исторический процесс. Первыми на историческую арену выступили народы Древнего Востока. Здесь развитие совершалось как бы без участия рвущейся вперед мысли, оно не было согрето руководящей нравственной идеей. Лишенное направляющей нравственной силы, общественное развитие Востока преследовало только материальные интересы, а это воздвигало неодолимый рубеж его историческому развитию. Отсюда следовал вывод Чаадаева, что для исторического прогресса народов Востока, как и для всех нехристианских народов, существует предел, за который он никогда не переходит[119].

После Востока на ведущее место в мировой истории выступил античный мир. Однако и он нес в себе неизлечимый «порок»: руководствовался только материальными интересами. Такое направление исторического развития уводило человечество, с точки зрения Чаадаева, на ложный путь, развращало людей и делало их усилия бесплодными[120].

Исходя из этого, Чаадаев с ошеломляющей читателя решительностью отрицает всякое значение античной истории и античной культуры. Русская интеллигенция с удивлением читала в «Философическом письме», что память Гомера надлежит покрыть бесчестием. Сократ, оказывается, принес людям «лишь малодушное сомнение»; имя Аристотеля будет произноситься «не иначе как с известным омерзением», ибо это имя человека, «в течение многих веков подавлявшего все силы добра в людях»; о нравственном величии Катона «будут вспоминать лишь для того, чтобы оценить по достоинству философию, внушающую такие неистовые добродетели и жалкое величие, которое создал себе человек»; Марк Аврелий «в сущности только любопытный пример искусственного величия и тщеславной добродетели»[121].

Словом, античная культура — это целые века «обмана и безумия», «гнусное величие», «настоящие сатурналии в жизни человечества»[122].

И только на рубеже античного мира и средних веков, утверждает Чаадаев, создаются условия для исторического прогресса. Два явления, собственно, полагает Чаадаев, приближают общественное развитие к его идеалу. Во-первых, происходит «крушение материального общества» — гибнет Римская империя. Это означало всеобщее крушение старой мировой общественной системы[123].

---

118 Там же, с. 220.
119 Там же, с. 144.
120 Там же, с. 145.
121 Там же, с. 133—134.
122 Там же, с. 157.
123 Там же, с. 138.

Во-вторых, явилась новая мировая идея — идея христианства. Рождение этой новой религии — центральный пункт всей концепции Чаадаева. Только в обществе, руководимом христианством, «можно заметить истинное восходящее движение, действительный принцип непрерывного развития и прочности» [124], считает Чаадаев. Христианство в его католической форме — это, полагает мыслитель, наиболее совершенное воплощение духовного интереса, который в отличие от интереса материального «никогда не может быть удовлетворен: он беспределен по самой своей природе. Таким образом, христианские народы по необходимости постоянно идут вперед» [125]. Потребовался бы новый всемирный потоп, чтобы остановить движение христианских народов.

Именно теперь, когда началась история средневековой — христианской Западной Европы, по мнению Чаадаева, наступает пора господства абсолютной и всемогущей нравственной истины, которая все творит и всем повелевает. Окончилась эра господства материального мира, началась эра господства идеи. История средневекового Запада — таков тот эталон, с которым Чаадаев подходит к оценке истории любого народа, а нравственный христианский принцип — «та ось, вокруг которой вращается вся историческая сфера» [126].

Отсюда идут все чаадаевские оценки исторических событий: все, что согласно с католичеством, все, что направлено к вящей славе бога и его наместника на земле, — все это заслуживает восторженной оценки. Чаадаева не смущают никакие обвинения по адресу католической церкви. С другой стороны, все, что не согласно с католическими идеями, все, что выступало против католицизма, — предается анафеме. Чаадаев обрушивается против Реформации, поскольку она нарушила католическое единство Европы.

Еще с большей яростью он ополчается против Возрождения. «Наступит время, когда своего рода возврат к язычеству, происшедший в пятнадцатом веке и очень неправильно названный возрождением наук, будет возбуждать в новых народах лишь такое воспоминание, какое сохраняет человек, вернувшийся на путь добра, о какомнибудь сумасбродном и преступном увлечении своей юности» [127].

Так решает Чаадаев проблему «Восток и Запад». Подводя в «Апологии сумасшедшего» итог этому решению, он подчеркивает, что роль авангарда на дороге истории вместо неподвижного Востока стал играть Запад.

Что же в таком случае выпадает на долю России? Каково ее место в мировом историческом процессе? По мнению Чаадаева, Россия оказалась между Востоком и Западом. Казалось бы, это давало ей огромные преимущества. В действительности же, утверждает Чаадаев, Россия ничего не усвоила ни от Востока, ни от Запада и сама ничего не дала миру: «Исторический опыт для нее не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно

[124] Там же, с. 137.
[125] Там же, с. 146.
[126] Там же, с. 142.
[127] Там же, с. 143.

было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам..., ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины» [128]. И если бы татарские завоеватели не прошли по нашей стране, прежде чем устремиться на Запад, «нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы» [129].

В чем причина столь беспощадного вердикта над Россией? В том, что она не укладывалась в прокрустово ложе чаадаевской исторической схемы — искусственной, надуманной и мертвой, в том, что Россия якобы стояла в стороне от западноевропейского пути, осененного, по мнению Чаадаева, католическим знаменем. При таком подходе Россия неизбежно оказывалась задворками истории, страной, существование которой было лишено всякого исторического смысла по сравнению с Западом — центром мировой истории, единственным воплощением нравственной идеи. И мотивы этой анафемы от истории напрашивались сами собой, они обусловливались непохожестью России на Западную Европу.

Чаадаеву эта непохожесть представлялась, прежде всего, религиозной. В то время когда складывалась средневековая Европа, Русь подпала под «тлетворное» влияние Византии. Чаадаев с полным правом бросает русской православной церкви осуждение в том, что она освящала крепостничество в России. Почему русский народ, спрашивает Чаадаев, «подвергся рабству лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйского? Пусть православная церковь объяснит это явление...» [130]. Однако Чаадаев крайне пристрастен. Обвиняя православие, он выступает яростным апологетом католичества, оправдывая всю деятельность католической церкви вплоть до кровавых оргий инквизиции. То, что в его глазах служило обвинением православию, считалось им добродетелью для католицизма, словно последний, как и православие, не был составной частью феодализма, угнетавшего народные массы, освящавшей этот гнет.

Второе соображение Чаадаева, обращенное против России, — это ее изолированность от Западной Европы, что обрекло страну на вековую отсталость. Религиозная обособленность оказалась дополненной обособленностью общеисторической; в то время как на средневековом Западе господствовал «животворный принцип единства... непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвой завоевания»; когда же татарское иго было свергнуто, «наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, — мы подпали еще более жестокому рабству», под которым разумелся абсолютизм. Православие, татарское иго и деспотизм привели к тому, что мы «замкнулись в нашем религиозном обособлении и ничего из проис-

---

[128] Там же, с. 116—117.
[129] Там же, с. 117.
[130] Литературное наследство, т. 22/24, с. 23.

ходившего в Европе не достигало нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы» [131], а между тем Европа шла вперед и вперед.

Можно без труда указать на ряд верных замечаний Чаадаева относительно причин отсталости России, среди которых господство церкви, татарское иго и абсолютизм были вовсе не последними. Однако автор делает из всего этого глубоко неверные выводы. Ссылаясь на отсталость России, он начисто отрицает всякое значение допетровского времени; вся многовековая самобытная история страны не содержала, по его мнению, ничего, достойного быть записанным в анналы человечества; Петр «нашел у себя дома только лист белой бумаги», а если Россия и имела что-либо значительное, то все это было получено у Запада: «каждый важный факт нашей истории пришел извне, каждая новая идея почти всегда заимствована» [132].

Что касается Петра, то его деятельность имеет значение лишь постольку, поскольку он переносил западные идеи на русскую почву.

Подлинная история России рисовалась Чаадаеву только в будущем. Это вовлечение страны в поток мировой истории понималось им как превращение России в орудие осуществления западных идей, среди которых центральное место отводилось католицизму.

В своем первоначальном виде чаадаевская концепция всемирной и русской истории была сформулирована в первом «Философическом письме». Благодаря стечению обстоятельств оно было опубликовано на русском языке в 1836 г. и стало своего рода прокурорской речью Чаадаева против николаевской России. Речь эта, как известно, имела ошеломляющий резонанс, что особенно отчетливо видно из строк Герцена, с огромной силой передавшего потрясающее впечатление от «Философического письма». То было впечатление оглушительного выстрела, неожиданно прогремевшего в глухую ночь; «пришел человек с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского... Статья эта... лишь выразила то, что смутно волновало душу каждого из нас. Кто из нас не испытывал минут, когда мы, полные гнева, ненавидели эту страну... Кто из нас не хотел вырваться навсегда из этой тюрьмы, занимающей четвертую часть земного шара, из этой чудовищной империи, в которой всякий полицейский надзиратель — царь, а царь — коронованный полицейский надзиратель?» [133]

Влиянию чаадаевского письма способствовала характерная для того времени неполная размежеванность различных течений в общем движении русской прогрессивной мысли. Плеханов говорил, что «в эпоху Чаадаева — когда дифференциация нашего „общества“, а следовательно, и дифференциация в области нашей общественной мысли, очень далека была от той ступени, которой она достигла

[131] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 118.
[132] Там же, с. 220.
[133] *Герцен А. И.* Собр. соч., т. 7, с. 221—222.

теперь, — жизнь еще не требовала от передовых людей такой строгой последовательности в мыслях, и потому тогда даже мистики могли, подобно Чаадаеву, служить свою службу освободительному движению. Довлеет дневи злоба его!» [134]. Именно эта неполная расчлененность идейных течений позволяет буржуазной историографии причислять революционных демократов к лагерю либералов, объединяя тех и других общим наименованием — «западники».

Таким было впечатление современников, но нам, людям, отстоящим от «Философического письма» на полтора столетия, людям, знакомым с историей этих полутора веков, гораздо лучше видно, что же на деле представляла собой эта наделавшая столько шуму прокурорская речь Чаадаева. Прав был Плеханов, сказавший, что чаадаевский «выстрел» в действительности оказался всего лишь ложной тревогой. Выстрел был мимо цели. И в этом состояла трагедия Чаадаева.

Она состояла, во-первых, в разительном противоречии между прогрессивной целью, которую Чаадаев перед собой ставил, и реакционными средствами, которые он избрал для ее достижения. Против крепостничества и деспотизма Чаадаев поднял религиозное знамя «революционного католицизма». Но могло ли оно служить освободительным целям России?

Нельзя не учитывать разницу исторических условий на Западе и в России. В освободительном движении России XIX в. религиозные течения не играли сколько-нибудь заметной роли. Совершенно не случайно то обстоятельство, что русское рабочее движение последующего времени не знало христианского социализма. Попытка Гапона создать русскую разновидность христианских рабочих организаций, как известно, окончилась крахом. И уже начисто отсутствовали в православной России условия для какой-либо прогрессивной роли католичества, которое здесь было слишком «верхушечным» и слишком чуждым народу явлением.

Трагедия Чаадаева усугублялась тем, что приверженность к католицизму ставила мыслителя в изолированное положение в русском обществе; опубликование «Философического письма» произвело шумную сенсацию, но обрекло автора на душевное одиночество. Современники не сомневались, что Чаадаев целил в крепостничество и абсолютизм, но католичество настолько сильно подтолкнуло руку Чаадаева, что его выстрел «угодил» в самую Россию. «Басманный философ» нашел сочувствие только у русских католиков. Все же остальные современники-интеллектуалы встретили концепцию Чаадаева резкой критикой различного характера, в зависимости от позиции, которую каждый из них к тому времени занимал.

«Заключение, к которому пришел Чаадаев, не выдерживает никакой критики» [135], — сказал Герцен. Однако и люди поколения декабристов, друзья Чаадаева, открыто ополчились против его приговора над Россией. А. С. Пушкин, соглашаясь со своим другом в оценке николаевского режима, объявил ему о своем решительном

[134] *Плеханов Г. В.* Соч., т. 23, с. 10.
[135] *Герцен А. И.* Собр. соч., т. 9, с. 147.

несогласии с его исторической концепцией в целом. Россия сыграла свою роль в судьбах Западной Европы. «Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена». Сама история России была вовсе не такой, как рисует его друг. «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться». Перечислив крупные рубежи русской истории, Пушкин заключает: «. . .но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал»[136].

П. А. Вяземский в 1836 г. (год опубликования «Философического письма») написал министру просвещения С. С. Уварову письмо-протест против скептического направления в русской исторической мысли, в частности против концепции Чаадаева[137]. В том же 1836 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу об исторической концепции Чаадаева: «Что за глупость пророчествовать о прошедшем! . . И думать, что народ скажет спасибо за то, что выводят по старым счетам из него не то, что ложное число, а просто нуль! Такого рода парадоксы хороши у камина для оживления разговора, но далее пускать их нельзя. . .». А. И. Тургенев, главный адресат Чаадаева, полностью согласился с Вяземским.

Известна и позиция Дениса Давыдова. Он не принадлежал к друзьям Чаадаева, он был слишком гусар, чтобы терпеливо бродить в дебрях чаадаевской концепции, но хорошо понимал всю порочность исторической конструкции Чаадаева. В письме к Пушкину он назвал «Философическое письмо» пасквилем на русскую нацию и лихо налетел на его автора[138]. На честолюбие Чаадаева указывали многие его современники, да и сам он не скрывал эту черту собственного характера.

В своих стихах Д. Давыдов говорил о Чаадаеве только в духе эпиграммы:

Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum

И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая,
А Россия — боже мой!
Таска. . . да какая![139]

---

[136] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М., 1954, т. 9, с. 160, 210—211. Узнав о репрессиях, обрушившихся на Чаадаева за «Философическое письмо», Пушкин не послал свое письмо адресату. В 1839 г. Чаадаев обращался к В. А. Жуковскому, на попечение которого перешел архив погибшего Пушкина, с просьбой о присылке копии пушкинского письма. Переменивший к тому времени в известной мере свои взгляды, Чаадаев просил у Жуковского копии письма, «написанного ко мне в то время, как вышла моя глупая статья, и ко мне не дошедшего» (*Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 238). Жуковский не исполнил просьбы Чаадаева.

[137] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч. М., 1879, т. 2, с. 221.

[138] *Давыдов Д. В.* Соч. М., 1860, ч. 3, с. 142.

[139] *Давыдов Денис.* Стихотворения. М., 1979, с. 143—144.

Так встретили чаадаевские идеи люди, принадлежавшие к поколению дворянских революционеров, которые теперь далеко отошли от идеалов декабристской поры. Что же касается молодого поколения дворян, вступившего в жизнь после декабристов, то ему Чаадаев был тем более чужд. Если у некоторых из них еще жила вера, унаследованная от отцов и старших братьев, что «взойдет она, заря пленительного счастья», или вера в западный либерализм, то все это опять-таки не имело ничего общего с идеями Чаадаева.

Сам класс дворян был уже не тем, каким он был в александровские времена. Герцен подчеркивал, что «николаевская Русь была бесцветна и пошла — без екатерининской оригинальности, без отваги и удали людей 1812 года, без наших стремлений и интересов. Это было поколение жалкое, подавленное, в котором бились, задыхались и погибли несколько мучеников»[140]. Одним из них и был Чаадаев.

Положение его в аристократическом обществе являлось крайне противоречивым. Он был модной фигурой. Изуверская мера правительства — объявление Чаадаева сумасшедшим — только усилила его популярность. И тем не менее Чаадаев чувствовал себя одиноким. «Озлобленный и избалованный», он продолжал изливать на аристократов свой сарказм, не стесняясь делать это напрямик, в глаза.

Герцен оставил нам впечатляющий портрет Чаадаева. Еще до опубликования «Философического письма» обращал на себя внимание этот человек, бросавший вызов окружающему его обществу: «Я любил смотреть на него середь этой мишурной знати, ветреных сенаторов, седых повес и почетного ничтожества. Как бы ни была густа толпа, глаз находил его тотчас. Лета не исказили стройного стана его, он одевался очень тщательно, бледное, нежное лицо его было совершенно неподвижно, когда он молчал, как будто из воску или из мрамора, «чело как череп голый», серо-голубые глаза были печальны и с тем вместе имели что-то доброе, тонкие губы, напротив, улыбались иронически. Десять лет стоял он сложа руки где-нибудь у колонны, у дерева на бульваре, в залах и театрах, в клубе и — воплощенным veto, живой протестацией смотрел на вихрь лиц, бессмысленно вертевшихся около него, капризничал, делался странным, отчуждался от общества, не мог его покинуть. . .» После опубликования «Письма» и всех бед, которые на него обрушились, он снова молчал, «опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его. Старикам и молодым было неловко с ним, не по себе; они, бог знает отчего, стыдились его неподвижного лица, его прямо смотрящего взгляда, его печальной насмешки, его язвительного снисхождения»[141].

Главное, однако, состоит в том, что времена дворянства уже миновали. Дворянская революционность исчерпала себя, наступал разночинный период русского революционного движения. «Были иные всходы. . . были молодые литераторы, начинавшие пробовать

---

[140] *Герцен А. И.* Собр. соч., т. 7, с. 153.
[141] Там же, т. 9, с. 141—142.

свои силы и свое перо, но все это еще было скрыто и не в том мире, в котором жил Чаадаев» [142], — писал Герцен. Вспоминая свои споры с Чаадаевым о католицизме в сентябре 1842 г., он рассказывает: «. . .при всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли, он ужасно отстал. . . Это голос из гроба, голос из страны смерти и уничтожения. Нам страшен этот голос».

Такова историческая концепция Чаадаева в ее первоначальной форме. Направленная против николаевского режима, она в то же время чудовищно уродовала историю русского народа. В дальнейшем исторические взгляды Чаадаева пережили существенную эволюцию.

Еще в дореволюционной историографии, особенно в работах Милюкова и Гершензона, обращалось внимание на то обстоятельство, что после своего «затворничества» по возвращении из-за границы Чаадаев вернулся в 30-е годы в светскую жизнь и что его взгляды тридцатых годов по отношению к России были менее категорическими, чем они были в «Философическом письме», написанном в 1829 г. (опубликовано же оно было только в 1836 г.). Указывалось на две причины этой перемены. Во-первых, Чаадаев очутился в атмосфере жарких споров между западниками и славянофилами; в религиозном плане, интересовавшем Чаадаева, это были споры вокруг роли Византии в русской истории. Византийская тема занимала одно из первых мест, вопрос же о католицизме решался отрицательно — в этой обстановке и для самого Чаадаева католическая проблема стала отходить на задний план. Во-вторых, после постигшей его кары Чаадаев стал более осторожен в проявлении своих католических симпатий.

В действительности же не это было главным. Решающей причиной перемен в аристократической концепции Чаадаева была революция 1830 г. во Франции. Чаадаев всегда следил за событиями на Западе, читал западную литературу, особенно французскую. В частности, в письме к А. И. Тургеневу просил выслать из Парижа «ну, хотя бы что-нибудь Мишле, Лерминье, проповедь Лякордера и т. д. и т. д.» [143]. Письма к А. И. Тургеневу дают возможность видеть, какими симпатиями пользовались у него столпы дворянской идеологии на Западе — де Местр и Токвиль. Там, на Западе, по убеждению Чаадаева, творилась подлинная история, и он за ней внимательно следил.

Но вот произошла Французская буржуазная революция 1830 г., и она спутала все привычные представления Чаадаева о Западной Европе и России. Запад, тот самый Запад, перед которым преклонялся русский мыслитель, впервые предстал перед ним в роли обвиняемого. Во Франции была свергнута власть дворянства, поединок между феодализмом и капитализмом, длившийся с Великой французской революции, окончился полной победой капитализма. Мы уже видели, сколь потрясен был Чаадаев.

Что же будет дальше? Поначалу Чаадаеву это было далеко не ясно. В упомянутом письме Пушкину (сентябрь 1831 г.) он пишет, что

---

142 Там же, с. 145.
143 *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 196.

остается надеяться, что «разум образумится. Но как совершится этот возврат, когда? . . Может быть, на первых порах это будет нечто подобное той политической религии, которую в настоящее время проповедует Сен-Симон в Париже, или тому католицизму нового рода, который несколько смелых священников пытаются поставить на место прежнего, освященного временем. Почему бы и не так?» [144]

Но время шло. В письмах Чаадаева начинают все яснее проступать перемены в его концепции и, по крайней мере, к 1835 г. эти перемены окончательно определились. Основой его исторической теории 30-х годов была резко отрицательная оценка революции, поставившей у власти «золотую посредственность», как он именует буржуазию [145]. Дела на Западе, с точки зрения Чаадаева, все более запутывались. Нашлись люди, для которых сам принцип монархизма перестал быть священным.

Чаадаевская оценка революции 1830 г. бросила новый свет на его оценку Запада и России. Что касалось прошлого, то Чаадаев продолжал настаивать, что Россия ничего не внесла в историю человечества, являясь всего лишь фактором материальным, географическим. Что же касалось настоящего и будущего, то Россия — сильнейшее из сохранившихся дворянских государств — приобретала в глазах Чаадаева совершенно иной вес — она теперь не только может оказывать влияние на мировую историю, но и стать лидером Европы, заняв место Запада.

Эту перемену во взглядах Чаадаева заслонило одно важное обстоятельство. Уже с начала 30-х годов Чаадаев начинает вносить поправки в свою концепцию — это ясно прослеживается по его письмам, но в 1836 г. было опубликовано его «Философическое письмо», в котором содержалась его ранняя концепция. Таким образом, читающая публика услышала «выстрел в темную ночь», когда уже сам Чаадаев «стрелять» не собирался, его взгляды уже были другими. Он старался уверить в этом как попечителя Московского учебного округа С. Г. Строганова, который руководил расследованием казуса о публикации «Философического письма», так и своих друзей. Трудно сказать, удалось ли Чаадаеву всерьез убедить друзей, но что касается исследователей, то они до сих пор относятся к этим уверениям весьма скептически, полагая, что, попав под тяжелую руку правительства, Чаадаев пытался оправдаться, старался всех уверить, что «Философическое письмо»-де не отражает его взглядов, а появление его в печати произошло без его ведома.

О чем же писал Чаадаев Строганову? «Для меня очень важно в интересе моей репутации хорошего гражданина, чтобы знали, что преследуемая статья не заключает в себе моего «profession de foi», а только выражение горького чувства, давно истощенного. Я далек от того, чтобы отрекаться от всех мыслей, изложенных в означенном сочинении. . . но верно также и то, что в нем много таких вещей, которых бы я, конечно, не сказал теперь» [146].

[144] Там же, с. 180.
[145] Там же, с. 197.
[146] *Чаадаев П. Я.* Сочинения и письма. М., 1913, т. 1, с. 195—196.

Чаадаев называет три проблемы своей концепции, которые он решает теперь иначе: католицизм, православие и изолированное положение России в Европе. Так ли? Анализ показывает, что Чаадаев говорил правду. В письме к Строганову он мог уже сослаться на книгу И. И. Ястребцова «О системе наук», вышедшую на четыре года раньше опубликования «Философического письма», где Ястребцов, излагая «принятые в обществе» взгляды на Россию, ссылается на Чаадаева. Автор излагает чаадаевскую концепцию в следующем виде: исходный тезис — изолированное положение России в Европе, свойственное ей на протяжении всей истории. Но если раньше это было для России несчастьем, то теперь это — преимущество, которое позволит ей быстро двинуться вперед.

Причина состоит в том, что Россия, не имея, по мнению Чаадаева, истории, может использовать опыт Запада, усваивая хорошее и отбрасывая дурное. Русские с успехом могут оценивать этот опыт, потому что, не имея истории, они не имеют и пристрастий, предрассудков людей Запада, над которыми тяготеет груз прошлого. Отсюда следовал вывод, что у России свой, особый путь в будущее, отличный от пути Запада. Главное, что отличает путь России от пути Запада, — это православие, которое, в отличие от католицизма, свободно, по мнению Чаадаева, от светских интересов, ограничивая свою деятельность духовной сферой.

Здесь мы находим те же коррективы в концепции Чаадаева, о которых он спустя четыре года писал Строганову. Эту же мысль о способности России двинуться быстро вперед мы находим и в письмах Чаадаева в период, предшествующий опубликованию «Философического письма». Это особенно видно из писем к А. И. Тургеневу. В 1833 г. Чаадаев писал ему: «Как и все народы, мы, русские, подвигаемся теперь вперед бегом, на свой лад, если хотите, но мчимся несомненно. Пройдет немного времени и, я уверен, великие идеи, раз настигнув нас, найдут у нас более удобную почву для своего осуществления и воплощения в людях, чем где-либо, потому что не встретят у нас ни закоренелых предрассудков, ни старых привычек, ни упорной рутины, которые препятствовали бы им»[147].

В 1835 г. в письме к тому же Тургеневу Чаадаев вновь возвращается к этому вопросу: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу; ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе». Россия имеет преимущества перед Западом благодаря «могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли придти лишь путем неслыханных усилий и пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла бы быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения»[148].

Тезис об особом пути России сближает Чаадаева со славянофилами. Но прав Гершензон, говоривший, что сближение это касалось

[147] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 187.
[148] Там же, с. 195.

только будущего России. Славянофилы же видели особый путь России и в прошлом. Чаадаев возражал против этого решительным образом. В частности, его возмутила пьеса Н. Кукольника «Князь М. В. Скопин-Шуйский», прославлявшая прошлое России. В том же письме к Тургеневу (1835 г.) Чаадаев доказывает, что прошлое России, «является не чем иным, как небытием», восхвалять русское прошлое значит впадать в квасной патриотизм, тем более что пьеса направлена «против всего, идущего с Запада, против всякого рода цивилизации» [149].

Таким образом, не подлежит сомнению, что в 30-е годы, еще до опубликования «Философического письма», содержащего раннюю концепцию Чаадаева, он внес в эту концепцию существенные коррективы относительно исторической роли России и Запада. Но как представлял себе эту историческую роль России Чаадаев? Это отнюдь не степень политического влияния России на другие страны, это не рост международного веса России, и без того большого во времена Чаадаева. Речь идет, подчеркивает он, не о каких-либо национальных интересах России, не о сфере политики вообще. Речь идет о вкладе России в духовное развитие человечества.

И в своей первоначальной концепции и теперь, в 30-е годы, Чаадаев последовательно проводит свой критерий идеализма. Однако в политическом плане первоначальная концепция Чаадаева и его концепция 30-х годов играют совершенно разную роль. Концепция первоначальная, составляющая содержание «Философического письма» (1829), была направлена против николаевского режима. Чаадаев пытался доказать все ничтожество тогдашней России по сравнению с Западом. Совсем иное звучание приобретала историческая теория Чаадаева в 30-е годы. Идеализм русского мыслителя теперь был повернут фронтом совсем в другую сторону.

В самом деле, поскольку дело не в материальных факторах и не в политике, то николаевский режим, по утверждению Чаадаева, оказывался не при чем. «Мы сваливаем всю вину на правительство. . . — писал Чаадаев Тургеневу зимой 1835 г. — Странное заблуждение считать безграничную свободу необходимым условием для развития умов. Взгляните на Восток. Разве это не классическая страна деспотизма? И что ж? Как раз оттуда пришел миру всяческий свет. . .» [150]

Николаевский режим для России не помеха опередить Западную Европу, и Россия пойдет во главе цивилизации. Западные страны «оттесняют нас на Восток, чтобы не встречать нас больше на Западе. . . Мы призваны, напротив, обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого. . . Придет день, когда мы станем умственным средоточием и наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу» [151].

---

[149] Там же, с. 194—195.
[150] Там же, с. 199.
[151] Там же, с. 201.

Чаадаев совершенно отчетливо видел, что его историческая теория теперь ничуть не противоречила целям правительства Николая I. В том же письме к Тургеневу Чаадаев писал: «А я, что я сделал, что сказал такого, что могло бы послужить к обвинению меня в оппозиции? Я только одно непрестанно говорю, только и делаю, что повторяю, что все стремится к одной цели и что эта цель есть царство божие. . . что Россия, если только она уразумеет свое призвание, должна принять на себя инициативу проведения всех великодушных мыслей, ибо она не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы. Что же во всем этом еретического, скажите на милость?» [152].

Все это убедительно свидетельствует, что к моменту публикации «Философического письма» оно уже не отражало тогдашних взглядов Чаадаева. Но в таком случае возникает вопрос: почему же было опубликовано «Философическое письмо»? Мало вероятно, чтобы оно публиковалось без согласия Чаадаева.

По словам автора «Письма», он начал работать над ним около 1828 г., закончил же в 1829 г. Как писал Чаадаев потом брату, «Письмо» это было «не для публики, с которой я никогда не желал иметь дело, и это видно из каждой строчки его» [153]. Поначалу «Письмо» ходило по рукам во французском оригинале, затем появился русский перевод. Когда этот рукописный перевод попался Н. Н. Надеждину, тот решил его напечатать в «Телескопе». К этому надо прибавить, что между историческими взглядами Надеждина и Чаадаева были точки соприкосновения. По всем данным, Чаадаев долго не соглашался печатать «Письмо», которое грозило его автору большими неприятностями, да и трудно было рассчитывать на санкцию цензуры. Но вот Надеждину удалось уговорить цензора пропустить статью, и это решило дело. Естественное желание автора, которого не печатали, видеть свои произведения в печати, а также честолюбие, которым Чаадаев страдал в изрядной степени, сыграли в этом согласии не последнюю роль.

Но давая такое согласие, Чаадаев отдавал себе полный отчет, что публикуемое «Философическое письмо» уже не отражало его тогдашних воззрений. Он писал: «Итак, правительство преследует не поступки автора, а его мнения. Тут естественно приходит на мысль то обстоятельство, что эти мнения, выраженные автором шесть лет тому назад, может быть, ему вовсе теперь не принадлежат и что нынешний его образ мыслей, может быть, совершенно противоречит прежним его мнениям, но об этом, по-видимому, правительство не имеет времени подумать» [154].

Как развивались взгляды Чаадаева после опубликования «Философического письма»? Он продолжает настаивать на своей новой исторической теории. Это легко прослеживается по его произведениям и письмам после 1836 г. А происходило это вовсе не потому, что Чаадаев, испугавшись репрессий, стал-де бить отбой, а по той

[152] Там же, с. 198.
[153] Там же, с. 204.
[154] Там же.

простой причине, что эти взгляды были продолжением и развитием его взглядов, сложившихся после революции 1830 г.

Наиболее знаменитым произведением Чаадаева этой поры является «Апология сумасшедшего» (1837). Вероятно, что это всего лишь фрагмент из неоконченного, а точнее, ненаписанного произведения. Но и «Апология» вполне определенно отвечает на наш вопрос. Здесь мы встречаем как старые положения нашего автора, которые никогда у него не менялись, так и новые. Самая важная особенность «Апологии» в том, что здесь Чаадаев в свою оценку русской истории начинает вносить заметные ограничения; здесь Чаадаев признает, что в «Философическом письме» он допустил явные «преувеличения». Из старого его арсенала тут выступает все тот же объективный идеализм, его презрительное отношение к толпе, его убеждение, что только в одиноком и гениальном уме рождается истина, его убеждение, что прошлое России не представляет никакого интереса для истории человечества и т. д.

Наиболее полно свое отношение к русской истории Чаадаев мотивировал в письме к французу Сиркуру (1846 г.); после «Философических писем» письмо к Сиркуру — наиболее обстоятельное изложение чаадаевской концепции этой поры [155].

Разница между историей Запада и историей России, доказывает Чаадаев, обусловлена разной исторической ролью католичества и православия. Все началось с распадения Римской империи на Западную и Восточную. Императорская власть переместилась в Константинополь и легко подчинила себе духовную власть в Восточной империи (Византии). Западная церковь, освободившись от присутствия светской власти в Риме, выросла в самостоятельную силу и в средние века стала определяющим фактором на Западе.

Дело в том, настаивает Чаадаев, что религиозное начало бывает действительно плодотворно лишь тогда, когда оно вполне независимо от светской власти. Другое дело в России. Церковь была подчинена государству, она приучила к этой покорности и народ. Поэтому во всей нашей истории мы шли «от отречения к отречению». Первым отречением было призвание варягов [156]. Из «отречений» внутреннего характера достаточно указать на «колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющее собою не что иное, как строго логическое следствие нашей истории. Рабство всюду имело один источник: завоевание. У нас не было ничего подобного. В один прекрасный день одна часть народа очутилась в рабстве у другой просто в силу вещей, вследствие настоятельной потребности страны, вследствие непреложного хода общественного развития, без злоупотребления с одной стороны и без протеста с другой. Заметьте, что это вопиющее дело завершилось как раз в эпоху наивысшего могущества церкви, в тот памятный период патриаршества, когда глава церкви одну минуту делил престол с государем» [157].

---

[155] *Гершензон М. О.* П. Я. Чаадаев: Жизнь и мышление, с. 311—312.
[156] Там же, с. 314.
[157] Там же, с. 315.

Этой исторической особенностью русской истории, пишет Чаадаев, объясняется и покорное принятие западных влияний. Петровские преобразования не встретили сопротивления в народе. В XIX в. наблюдается та же картина.

Эту же мысль о ничтожестве русской истории Чаадаев развивает и в письмах к своим русским корреспондентам. В качестве примера можно сослаться на письмо к Вяземскому (1847 г.) [158].

Настаивая на своих старых взглядах на русскую историю, Чаадаев обращается, прежде всего, к своим русским современникам, которые с таким единодушием осудили эти взгляды. Именно за них Чаадаева объявили сумасшедшим, и он упорно продолжает самоутверждаться в русском научном и общественном мнении. И к кому как не к своим русским современникам обращался Чаадаев в письме к иностранцу Сиркуру. Чаадаеву очень хотелось исторгнуть раскаяние из уст окружающих его людей, которые вынесли обвинительный вердикт его идеям.

Но что касается будущего России и Запада, то как в 30-е, так и в 40-е годы Чаадаев постоянно говорит об идеях, которые были новыми по сравнению с идеями «Философического письма». Он не уставал теперь подчеркивать, что пути России будут совершенно иными, чем пути Западной Европы, что «мы слишком мало походим на остальной мир, чтобы с успехом подвигаться по одной с ним дороге»[159]. Речь шла уже не о том, что Россия должна учиться у Запада, наоборот, Россия должна пойти не только рядом, но, может быть, и впереди Запада. Иногда об этом говорится в предположительной форме[160]. Иногда же об этом говорится в более категорической форме[161].

Основанием для такой оценки будущего России для Чаадаева стало служить православие, то самое православие, которое в прошлом, по утверждению самого Чаадаева, помогало правительству и дворянству закабалять народ. Теперь оценка православной церкви начинает меняться[162].

Православие для Чаадаева стало не только аргументом для будущего, но оно начинало служить теперь мостом, связывавшим будущее с прошлым; его новая оценка бросала новый свет на историю России, которая обычно объявлялась Чаадаевым небытием. Вопреки этим традиционным его утверждениям у Чаадаева порой прорываются совсем противоположные оценки — он начинает говорить о прекрасном прошлом России; по всему вероятию, эта мысль о переоценке русской истории упорно зрела в голове Чаадаева в 40-е годы. Это сближало его со славянофилами и охранителями. В письме к С. П. Шевыреву (1844 г.) он выразил это наиболее отчетливо. «Будьте уверены, что если во всех мнениях ваших сочувствовать не могу, то в том, чтобы через изучение нашего прекрасного прошлого

---

[158] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 284—285.
[159] *Гершензон М. О.* Указ. соч., с. 319.
[160] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 284.
[161] Там же, с. 279.
[162] Там же, с. 284.

сотворить любимому отечеству нашему благо, совершенно с вами сочувствую»[163].

В «Философическом письме» Чаадаев отрицал не только историю России, но он не видел ни одного русского историка, на котором мог бы остановиться глаз. В его время самым крупным историческим трудом была, как известно, «История государства Российского» Карамзина, которая была мишенью для декабристов. Теперь оценка Чаадаевым труда Карамзина заметно меняется. Еще в 1837 г. в письме к А. И. Тургеневу он писал: «Что касается в особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем более и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество! Как простодушно любовался он его огромностью и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности. . . Живописность его пера необычайна — в истории же России это — главное дело; мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать. . . другие нам не пример, у нас свой путь»[164]. В представлении Чаадаева это еще история, написанная художником, а не историком, но и такая оценка уже очень далека от прежней оценки труда Карамзина, в котором, говоря словами Пушкина, доказывалась «необходимость самовластья и прелести кнута».

Новая оценка Чаадаевым роли православия означала его иную оценку католицизма, в том числе и того «христианского социализма» Ламеннэ, которым он в свое время так пленился на Западе. В нем он увидел теперь преклонение перед толпой.

Таковы основные черты исторической концепции Чаадаева, какой она сложилась в 40-е годы.

Грянула революция 1848 г. на Западе. Ее отличие от всех предшествующих революций, как сказал Гизо, состоит в том, что «теперь выступил на сцену третий боец. Демократический элемент разделился; против среднего класса выступил рабочий класс, против буржуазии — народ. И эта новая война есть такая же смертельная война, ибо новый претендент есть такой же надменный, такой же нетерпимый, какими были и другие. Только народ, по мнению этого претендента, имеет право на власть, и никакому сопернику, старому или новому, дворянину или буржуа, он не позволит делить с собою эту власть»[165]. Николаевская Россия, являвшаяся тогда жандармом Европы, выступила по просьбе австрийского императора, как известно, в роли душителя венгерской буржуазной революции 1849 г.

Как к этому отнесся дворянский идеолог Чаадаев? Речь шла о самой острой точке соприкосновения России и Западной Европы, а именно над проблемой «Россия и Запад» всю жизнь размышлял Чаадаев. В известном письме к А. С. Хомякову он с предельной ясностью ответил на этот вопрос, а было это в момент окончательного

---

[163] Там же, с. 253.
[164] Там же, с. 216.
[165] *Guizot*. De la démocratie en France. Paris, 1849, p. 107.

подавления венгерской революции (сентябрь 1849 г.)[166]. Стоит сопоставить два письма Чаадаева. Одно из них письмо Сиркуру, написанное в канун революции 1848 г. В нем, как мы видели, Чаадаев, возможно, в последний раз бросает взгляд на «свою Европу» и поет ей восторженный дифирамб. Письмо к Хомякову написано под свежим впечатлением революции и в нем мы находим уже дифирамб России и пасквиль на «Европу». Между этими письмами пролегла революция 1848 г., и перемена в чаадаевских оценках наступила, несомненно, под впечатлением от новой революции на Западе.

Его неистовое требование «порядка» напоминает ярость Гизо, с какой тот обрушился на революцию 1848 г. в Париже. К. Маркс тогда писал: «*Порядок!* — таков был боевой клич Гизо. . . Ни одна из бесчисленных революций французской буржуазии, начиная с 1789 г., не была покушением на *порядок*, так как все они сохраняли классовое господство, рабство рабочих, сохраняли *буржуазный* порядок, как бы часто ни менялась политическая форма этого господства и этого рабства. Июнь посягнул на этот порядок. Горе Июню!»[167]. Гизо боролся за буржуазный порядок. Чаадаев ратовал за феодальный порядок в Европе. Венгерская буржуазная революция покусилась на этот порядок. Горе революции!

Известно, что революция 1848 г. на Западе оказала огромное влияние на русскую общественную мысль. Восторженно ее встретил В. Г. Белинский, которому суждено было знать только о первых месяцах революции в Париже. Поражение революции было причиной «душевной драмы» Герцена. Потрясенный гибелью революции, Герцен не увидел на Западе силы, способной повести общественное развитие вперед: он увидел эту силу в России в лице общинного крестьянства; Герцен становится идеологом русского крестьянского социализма. Дальше Герцена в своих оценках революции 1848 г. пошел Н. Г. Чернышевский — тогда еще студент Петербургского университета. Т. Н. Грановский, у которого либерализм был еще слит с демократизмом, тяжело пережил расправу над народом.

Линяли либералы-западники. Некоторые из них, вроде студента Московского университета Б. Н. Чичерина, встретили Февральскую революцию в Париже положительно, но июньские дни сделали из них сторонников «порядка». И сам Чичерин, и П. В. Анненков, и В. П. Боткин, и другие их единомышленники ополчились против революции. Во враждебном отношении к революции не было разницы между охранителями С. П. Шевыревым и М. П. Погодиным, с одной стороны, и славянофилами — с другой. Образно эту враждебность выразил К. С. Аксаков: «Фрак может быть революционером, а зипун — никогда. . . Россия, по-моему, должна скинуть фрак и надеть зипун — и внутренним и внешним образом»[168].

В шеренге представителей русской общественной и научной мысли, современников революции 1848 г., Чаадаев оказался на пра-

[166] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 289—290.
[167] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 7, с. 30.
[168] *Нифонтов А. С.* Россия в 1848 году, с. 151.

вом фланге. Он требовал, чтобы тогдашний жандарм Европы — Россия по велению царя небесного и царя земного спасла «порядок» в Европе.

Происходит идейное сближение Чаадаева со славянофилами и охранителями, которые в оценке революции 1848 г. не расходились. Характерным в этом отношении является одно из писем Чаадаева Шевыреву (1848 г.), где рассказывается о том, как автор письма, раздобыв известную статью Ф. И. Тютчева «Россия и революция», старательно хлопочет о том, чтобы дать почитать ее Шевыреву, Погодину и Хомякову. Не вызывает сомнения, что Чаадаев сочувствовал идеям Тютчева, с которым раньше вел жаркие споры[169]. Идея России, противостоящей Западной Европе, гибнущей под ударами революции, была идеей, объединяющей и охранителей, и славянофилов, и Тютчева, и Чаадаева.

В этой связи становится понятным и озлобленный выпад против Герцена. В 1851 г. шеф жандармов, начальник III отделения А. Ф. Орлов (брат его ближайшего друга М. Ф. Орлова) был в Москве и рассказал Чаадаеву о вышедшей за границей книге Герцена «О развитии революционных идей в России», где Чаадаеву, как известно, было отведено весьма почетное место в истории русских революционных идей. В ответ на это Чаадаев написал А. Ф. Орлову письмо: «Слышу, что в книге Герцена мне приписываются мнения, которые никогда не были и никогда не будут моими мнениями. . . Глубоко благодарен был бы вашему сиятельству, если б вам угодно было доставить мне возможность и представить вам письменное это опровержение, а может быть и опровержение всей книги. . .»[170].

О своей позиции Чаадаев довел до сведения не только начальника III отделения, но и самого Герцена (июль 1851 г.)[171]. Единственное письмо, написанное Чаадаевым Герцену за границу, было объявлением о разрыве.

Это настроение, сложившееся под впечатлением революции 1848 г., отразилось и на исторической концепции, ставшей характерной для позднего Чаадаева. Делать такой вывод заставляют бумаги Чаадаева, опубликованные Н. В. Голицыным в работе «П. Я. Чаадаев и Е. А. Свербеева (из неизданных бумаг Чаадаева)»[172]. Речь идет о рукописи, писанной рукой Чаадаева и сохранившейся в бумагах Свербеевых. Рукопись уцелела с пятой страницы, конец тоже не сохранился, но и эта неполная рукопись дает отчетливое представление о поздних взглядах Чаадаева на историю России. Рукопись не содержит даты, но ее содержание свидетельствует о том, что она родилась в последние годы жизни Чаадаева.

---

[169] Представляет интерес и сама статья Тютчева как свидетель реакции русской либерально-помещичьей мысли на революцию 1848 г. Известно, что в 40-е годы Тютчев находился под сильным влиянием славянофилов. Под впечатлением революции 1848 г. он опубликовал в Париже статью «La Russie et la Révolution» (перевод этой статьи был в 1873 г. опубликован в «Русском архиве», о ней рассказывает И. С. Аксаков в биографии Тютчева. См.: Русский архив, 1874, № 10).

[170] *Чаадаев П. Я.* Указ. соч., т. 2, с. 298—299.

[171] Там же, с. 300.

[172] Вестн. Европы, 1918, янв.—апр., с. 233—254.

Еще древняя Русь «достигла высокой степени просвещения, несмотря на свои удельные раздоры и на беспрестанную борьбу с соседственными дикими племенами», — писал Чаадаев. Высокий уровень древнерусской культуры был обусловлен двумя причинами. Во-первых. «Из цветущей Византии осенило нас святое православие. . .»[173].

Во-вторых. Помимо мудрости Востока, к нам пришла и мудрость Запада в ее первоначальном христианском виде. Дело в том, что Русь стала христианской, когда еще не произошло разделение христианства на православие и католичество[174]. Русь унаследовала это всеобщее единство, была чужда соперничеству Константинополя и Рима[175].

Татарское иго оторвало нас от Запада, но была и положительная сторона. «Тут-то в нашем невольном одиночестве совершалось наше воспитание, созрели все те высокие свойства народные, семена которых до того времени невидимо таились в русском сердце. С непостижимым, с истинно христианским смирением приняли мы тяжкое, невиданное на земле иго. . .» (рукопись обрывается) [176].

Перед нами все те же «чаадаевские» проблемы о месте Запада, Византии и Руси во всемирной истории, все та же попытка решать их с позиций вселенского христианства, но само решение — совершенно противоположное тому, какое давалось Чаадаевым в «Философическом письме» 1829 г. Словно это писал другой человек. Можно понять публикатора Н. В. Голицына, который писал о поздней концепции Чаадаева: «. . .невольно задаешь себе вопрос: действительно ли Чаадаев это писал, а не Шевырев или Погодин? Не есть ли это просто пародия на официальный дифирамб в духе николаевского времени, писанный едким пером московского философа?» [177]

С. С. Уваров, М. П. Погодин, И. В. Киреевский и К. С. Аксаков, Н. И. Надеждин, Н. А. Полевой, К. Д. Кавелин

Во второй четверти XIX в. атмосфера идейно-политической борьбы усложняется: появился ряд политических течений, нашедших свое отражение и в исторической науке — охранительное, славянофильское, либерально-западническое и, что особенно важно, направление революционно-демократическое. В период, когда в России назревал кризис крепостнической системы, когда становился все более острым вопрос о дальнейших путях страны, огромное значение приобрела проблема оценки истории Западной Европы, проблема использования западноевропейского исторического опыта. Речь шла о попытке выяснить, является ли западная история своего рода проторенной тропой

---

[173] Там же, с. 250—251.
[174] Там же, с. 251.
[175] Там же, с. 252.
[176] Там же.
[177] Там же, с. 249.

для России или эта стезя должна быть предостережением, как не нужно делать историю.

Этот вопрос занял исключительное место в борьбе тогдашних идейных течений. Современники отдавали себе полный отчет в его важности. «От того, как он разрешается в умах наших, — писал Иван Киреевский, — зависит не только господствующее направление нашей литературы, но, может быть, и направление всей нашей умственной деятельности, и смысл нашей частной жизни, и характер общежительных отношений»[178]. Каждый политический лагерь мысленно конструировал как прошлое, так и будущее России соответственно со своими идеалами и боролся за свою Россию.

* * *

Сергей Семенович **Уваров** (1786—1855) вошел в русскую историю как один из виднейших деятелей николаевского режима, как своего рода символ николаевской реакции в области науки и просвещения, как автор печально знаменитой «триады» — православия, самодержавия и народности, этих трех китов, на которых покоилась вся духовная жизнь официальной России. В течение всего царствования Николая I Уваров был президентом Академии наук[179], а в 1833—1849 гг. — и министром народного просвещения. Иначе говоря, этот человек оказывал прямое влияние на науку и образование в наиболее тяжелую для русской культуры пору. Его идеи стали программой официального направления в историографии и оказали немалое влияние на историческую концепцию славянофилов.

Представитель дворянских верхов — сын адъютанта Екатерины II и ее крестник, — Уваров всегда примыкал к правым кругам русского дворянства и был их воинствующей идейной силой. Однако в александровское время он еще не доходил до геркулесовых столпов реакции, как впоследствии. Член «Арзамаса», о котором сам писал позднее[180], Уваров стоял в рядах тех (пусть на их правом фланге), кто пытался противостоять политическим и идейным староверам. Вместе с ними он не считал феодализм и крепостное право последним словом общественного развития; вместе с В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным, П. А. Вяземским, М. Ф. Орловым, братьями Тургеневыми и другими молодой Уваров думал тогда о прогрессе России. В частности, он был одним из организаторов русской ориенталистики. Одним из его первых выступлений в печати явилась большая статья «Projet d'une Académie Asiatique», где была разработана широкая программа востоковедения[181].

---

[178] *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч. М., 1911, т. 1, с. 174.

[179] Он стал им еще в 1818 г.

[180] См.: *А. В.* Литературные воспоминания. — Современник, 1851, июнь, отд. Науки и художества, с. 37—42.

[181] Перевод статьи опубликовал М. Каченовский в «Вестнике Европы» под заглавием «Мысли о заведении в России Академии Азиатской» (1811, янв., № 1, с. 27—52; № 2, с. 96—120).

Однако в главной, решающей области общественного развития Уваров с самого начала находился в непримиримом конфликте с прогрессом: он был ярым противником революции. Своей специальностью он избрал историю древнегреческой культуры [182], что позволяло ему хоть бы на время забыть о «бедствиях», связанных с великими политическими и нравственными потрясениями. И это можно понять. Уваров был почти ровесником Великой революции во Франции, внушившей настоящий ужас консервативному русскому дворянству. Им владела глубоко ложная идея: Наполеон рассматривался как полководец революции, который на штыках своих армий нес ее в другие страны. Аустерлиц и Тильзит показали, что тень Наполеона нависла и над Россией. Эта тревога не могла не коснуться и Уварова, который пытался спастись от нее бегством в древнюю историю.

Это «бегство» было своего рода защитной реакцией дворянских верхов на бурные события конца XVIII и начала XIX в. В своих «Литературных воспоминаниях» Уваров писал о дворянских салонах того времени: «Невзирая на грозные события, совершавшиеся тогда в Европе, политика не составляла главного предмета разговора — она всегда уступала место литературе. Здесь нельзя не заметить, что не только у нас, но и вообще во всей Европе обнаруживалось сильное стремление к развитию словесности и наклонность к мирным умственным занятиям именно в то время, когда потрясение всех начал гражданского порядка и дух воинских предприятий колебали все государства, стоявшие на краю гибели» [183].

Однако укрыться от современности в исторических далях Уварову так и не удалось. Крупнейшим событием, которое ворвалось в жизнь Уварова и его современников, была Отечественная война 1812 г. В русском дворянстве она вызвала сложные и противоречивые чувства: патриотизм смешивался со страхом перед революцией, с боязнью социальных перемен; ненависть к французам приходила в столкновение с закоренелой французоманией русского дворянина. В русской печати поднялась патриотическая волна. По инициативе Уварова вскоре после начала войны создается «Journal de St.-Petersbourg». Его задачей являлась борьба с «Бюллетенями» Наполеона и французской пропагандистской литературой. Журнал этот, выходивший на французском языке, был рассчитан на «общество» и на заграницу. Более широкий круг русских читателей имели в виду «Русский вестник» Сергея Глинки и «Сын Отечества» Николая Греча. Эти журналы также специализировались на борьбе с Наполеоном, а кроме того, ополчались и против французомании

---

[182] В исследуемый период Уваровым были созданы работы: Essai sur les Mystères d'Eleusis (Paris, 1812); Un examen critique de la fable d'Hercule, commenté par Dupuis (SPb., 1819); Трактат о греческой онтологии (СПб., 1820); Über das vorhomerische Zeitalter (SPb., 1821); Mémoire sur les tragiques Greces (In: Mémoire de l'Academie impériale des sciences de St.-Petersbourg. 1826, ser. 5, t. 10, p. 429—444. Свои работы Уваров писал обычно по-французски; здесь французские названия сохранены для тех его сочинений, которые не были переведены на русский язык.

[183] Современник, 1851, июнь, отд. Науки и художества, с. 40—41.

соотечественников. Наиболее боевым антинаполеоновским органом русской печати был «Сын Отечества» (в то время Греч еще не был соратником Булгарина и занимал либеральные позиции).

Уваров выступил с французскими статьями, обычно выходившими отдельными брошюрами: «Ответ на воззвание кардинала Мори» [184]. «Eloge funèbre de Moreau» (1813) [185], «L'empereur Alexandre et Buonaparte» (1814) [186] и «Appel à l'Europe» (1815) [187]. Это были статьи не только публициста, но и историка: Уваров оценивал современные ему события, исходя из своей концепции мировой истории. «В жизни государств, как и в жизни людей, — писал он, — существует непреложный закон, который можно было бы назвать законом фатализма, если бы он не был установлен вечным и непостижимым провидением. Этот закон, запечатленный как в мире моральном, так и в мире физическом, проявляется везде в эту бурную эпоху, в это страшное брожение, когда появляются необыкновенные люди, которые украшают историю именами завоевателей и узурпаторов. В течение четырех веков все усилия цивилизованного мира были направлены против них; все заставляло верить, что поставлены неодолимые барьеры фантому всемирной монархии — этому соблазну и подводному камню для великих честолюбцев всех времен. Политическая организация Европы, казалось, надежно защищала против подобной опасности» [188].

Закон истории — воля «провидения»: сквозь нагромождение самых различных, порой противоречивых событий, рано или поздно, этот закон, по мысли Уварова, найдет себе дорогу и направит события к разумному концу. Начало наполеоновской эпопее положила Французская революция. Она «обнажила слабости старой системы европейских государств», «потрясла до основания социальный мир», «ниспровергла все моральные и политические идеи», захватила власть во Франции и «заполнила головы во всем мире надеждами и иллюзиями, уже таившими в зародыше бедствия, которые обрушились потом на планету». Люди «вдруг увидели себя обладателями огромного наследства революции». С другой стороны, люди уже «в ходе и в результатах этой революции, казалось, нашли верное средство против нее самой».

Дело в том, что революция, по характеристике Уварова, есть «груда преступлений и бесполезных несчастий», а это рождает попятное движение. «Усталость, овладевшая умами, породила стремление к миру; это неопределенное, но всеобщее желание глубоко охватило Францию в момент, когда Бонапарт на развалинах столь

---

[184] Статья вышла в августовских номерах 1813 г. «Сына Отечества» за подписью L. M. D. L. M. F. (Le Marquis de la Maison-Fort). Одновременно публиковались французский оригинал и его русский перевод. В том же 1813 г. статья эта вместе с проповедью Мори вышла на французском языке в Лондоне.
[185] Надгробное слово генералу Моро.
[186] Император Александр и Бонапарт.
[187] Призыв к Европе.
[188] L'empereur Alexandre et Buonaparte. SPb., 1814, p. 3—4.

различных партий захватил бразды правления»[189]. Революция выродилась в «глухую тиранию».

Резко отрицательное отношение Уварова к тирании Наполеона обусловлено тем, что, подавив революцию, Наполеон стал использовать ее завоевания в своих интересах, а также тем, что, терзаемый жаждой величия, он вступил на путь внешних авантюр. Вместо того чтобы «обратить свои заботы на внутреннее управление Франции, Бонапарт интересовался только своей личной судьбой. Он становится пожизненным консулом, императором французов, королем Италии и вскоре протектором Рейнского союза, возникшего на руинах немецкой конституции. Однако такая судьба — и без того необычная — его нисколько не удовлетворила; он шагал по ступеням колоссального величия с той стремительностью и с тем ожесточением, которые обнаруживали проекты еще более обширные, чем корона, к которой он стремился»[190].

Однако с ростом успехов Наполеона росло сопротивление его деспотизму. С точки зрения Уварова, особое значение имело то обстоятельство, что Наполеон нарушил легитимные интересы европейских династий, в частности, «возмущенная Европа. . . с удивлением видела корону Филиппа II, перешедшую на голову Жозефа Бонапарта». Это было одной из главных причин испанского восстания против Наполеона. «Религия, любовь к отечеству, национальная честь поднялись на всем полуострове»; война испанцев показала, что французы «не столь уж непогрешимы в политике и не столь уж непобедимы с оружием в руках. Она нанесла первый удар по авторитету их повелителя. Вооружился весь народ, началась национальная война»[191].

Борьба Испании была первым проявлением слабости Наполеона, но она еще не означала заката его славы. Наоборот, время между испанским восстанием и походом на Москву было «самой блестящей эпохой Бонапарта. Континент был порабощен или устрашен. Всемирная монархия приближалась быстрыми шагами; бедствия переполнили мир; но Бонапарт стоял во главе Европы, его личная амбиция требовала захвата столь гигантской власти»[192]. Главным средством для создания всемирной монархии Наполеона было подчинение России — это открывало ему путь в Азию; весь континент лежал бы у его ног.

Однако поход в Россию стал для Наполеона роковым. Здесь обнаружились первые признаки «великого закона предопределения», управляющего миром. Успехи Наполеона послужили причиной гибели его армии; «Бородинская битва, прозванная французами битвой гигантов, явилась первым препятствием, противоставшим потоку, грозившему поглотить империю», а сдача Москвы — «сигналом к новой войне, войне национальной, где повторилось испанское чудо». Изгнание Наполеона из России привело к восстанию Европы против

[189] Ibid., p. 4—6.
[190] Ibid, p. 7.
[191] Ibid., p. 13.
[192] Ibid., p. 16.

его тирании; создается коалиция, которая «стала божьим орудием для наказания Франции». Трудным делом, писал Уваров, было вовлечение в эту коалицию Германии. «Раздробленная по своим интересам, традициям, исповеданию и даже по языку», Германия должна была преодолеть тысячи трудностей, чтобы стать крупной силой в борьбе с Наполеоном. Задача союзников, по мнению Уварова, состояла в том, чтобы вернуть Европу к традициям легитимизма; «самая крупная революция, которая когда-либо имела место, удивительно дружно завершилась. . . господство беспорядка подходит к концу; все должно стать на свои естественные основания». Уваров ждал, что «цари и народы на могиле Бонапарта совместно принесут в жертву деспотизм и народную анархию» [193].

В то время, когда остатки «великой армии» бежали из России и война переместилась на территорию Германии, кардинал Мори, знаменитый французский проповедник, бывший приверженец Бурбонов, а тогда архиепископ Парижский, произнес в соборе Парижской богоматери в присутствии Марии-Луизы проповедь. Она представляла собой элемент пропагандистской кампании, которую вела бонапартистская часть французской церкви, чтобы поддержать рухнувший авторитет Наполеона. Кардинал старался изобразить разгром императора как случайный эпизод: «Только суровость ранней зимы одержала победу над нашей армией»; вскоре все было исправлено. «Мы отбросили этих татар в ужасный их климат, за пределы которого они не должны больше выходить» (выражение из наполеоновской прокламации от 3 мая 1813 г.). В смешном виде должны были предстать попытки русских, предпринявших «фантастическую кампанию вторжений и завоеваний. Они льстили себя надеждой изгнать нас из Германии, перенести военные действия на нашу древнюю землю». По старой памяти Наполеон в глазах Мори «затмил блеском своих двадцатилетних триумфов всех великих деятелей истории».

Уваров выступил с ответом архиепископу Парижскому. Как сам Мори, так и его оппонент в понимании истории стояли на провиденциалистских позициях. Мори доказывал, что, несмотря на все несчастья, провидение есть и будет на стороне Наполеона. Уваров на это не без иронии заметил, что пройдет немного времени, и все убедятся, что провидение пребывает на стороне его врагов и если сейчас «это провидение, видимо, спит, продолжая терзать Европу, то его пробуждение чем больше оттягивается, тем будет ужаснее» [194]. Однако хотя методологические посылки обоих идеологов были одинаково архаичны, Уваров имел несомненные преимущества перед своим противником: если Мори был заинтересован в том, чтобы скрыть истину, то Уваров ставил своей задачей ее восстановить. Он на фактах показывал, что русские вовсе не отброшены в их суровый климат, что речь идет о бегстве Наполеона из России; «гибель грозной армии, преследование ее на протяжении четырехсот лье, пепел трехсот тысяч трупов французов от Москвы до Варшавы обозначает тот путь, которым прошли завоеватели. . . плодородие этих полей

---

[193] Ibid., p. 37.
[194] Сын Отечества, 1813, № 34, с. 66.

еще в течение двадцати урожаев будет свидетельствовать о слепой доверчивости несчастных французов и о безрассудной опрометчивости их предводителя»[195].

Уваров этим не ограничивается и напоминает о том, что принесло господство Наполеона всей Европе. «Оплакивайте преступления, терзающие вселенную! Оплакивайте пылающую Испанию, превращенную в пепел Москву, погребенную под развалинами Сарагоссу, опустошенную Германию, ограбленную Италию, отчаявшуюся Голландию, оплакивайте Францию — Францию, скорее несчастную, чем виновную, которая, сдерживая рыдания, скрывая свои слезы, вернее, тихо оплакивает потерянных детей своих»[196]. И когда страсти улягутся, тогда «лишенная людей Франция, покрытая обломками Европа прославят вашего героя, как развалины Рима и Афин ныне свидетельствуют о невежестве вандалов и о жестокости готов»[197].

Поэтому у Мори, считает Уваров, нет никаких оснований славословить Наполеона. «Как вы осмеливались утверждать, что слава кумира затмила славу великих людей истории? Разве вы не поставите Александра, победителя Дария, Цезаря, Карла Великого, Фридриха Великого выше человека, который, начав войну во главе полумиллиона солдат, закончил ее отчаянием, что потерял их, и стыдом, что бросил их?» Когда-то под сводами Notre Dame раздавались похвальные слова в честь таких полководцев, как Конде и Тюренн, теперь же тут славят человека, который ничем их не напоминает. Разгром Наполеона произведет во Франции впечатление, которое по своей силе будет равно впечатлению от революции, — впечатление всеобщего оцепенения. «Когда во Франции говорят об ужасах революции, вам скажут: молчите, мы забыли об этом. То же можно сказать и об армии 1812 года; если вы спросите новостей о ней, вам не ответят, вам покажут на карте, где находятся победоносные фаланги»[198].

Не обошел Уваров и саму личность Мори: «Прикованный к колеснице тирана, согнувшийся под игом, стоящий на коленях, подобно верблюду, ожидающему своего хозяина», он не волен говорить правду. «Нет! Тиран повелевает, страх диктует, раб пишет»[199].

К 1813 же году относится и его «Eloge funèbre de Moreau». О французском генерале Моро говорил тогда весь Петербург: одного из полководцев Французской революции хоронили в Петербурге! Начав военную карьеру в 1791 г., Моро выдвинулся как один из талантливых военачальников революции. В дальнейшем, особенно при Наполеоне, он вошел в число крупнейших французских военачальников, его возвышение становилось опасным для самого Наполеона. Связанный с заговором генерала Пишегрю, Моро был отдан под суд, выслан из пределов Франции и уехал в США. В 1813 г. Моро выступил против Наполеона. По приглашению Александра I он стал советником при главной ставке союзных войск. В сражении

---

[195] Там же, № 33, с. 30—32.
[196] Там же, № 34, с. 64.
[197] Там же, с. 72.
[198] Там же, с. 68.
[199] Там же, с. 70.

под Дрезденом Моро был смертельно ранен, его тело по распоряжению Александра было перевезено в Петербург. Похороны Моро и послужили поводом для нового произведения Уварова.

Методологической основой оценки Уваровым деятельности Моро также был провиденциализм. И «провидение» удивительным образом изрекало мысли самого Уварова. Вместе с автором оно испытывало большие «затруднения» — задача состояла в том, чтобы нарисовать образ высокоположительного героя, но ведь Моро был генералом революции! Чтобы выйти из затруднений, Уваров постарался отделить Моро от революции. Правда, он признает, что «беспорядки во Франции внезапно разбудили его дремавший талант», что эта «незабываемая эпоха быстро поставила Моро во главе французской армии», но тут же противопоставляет своего героя эпохе, его породившей. «Друг гуманности, он, наверно, сожалел, что его столь великие таланты сначала служили торжеству дела, которое было причиной мировых бедствий. . . сожалел об этой бурной эпохе, когда сумасшествие овладело вдруг людьми, нужно отдать дань уважения замечательным достоинствам Моро, ему свойственным. И какой другой полководец принес, подобно ему, на поле боя эту простоту античных времен. . . эту удивительную честность, которая в эпоху распущенности блистает с удивительной силой?» Моро был «гордостью и тайной надеждой Франции»[200].

Легендарный Моро в глазах «провидения» мог быть, разумеется, только монархистом, и в этом кроется политическая причина восторгов Уварова перед Моро. Чтобы обосновать эту мысль, автор указывает на последний период жизни генерала революции, когда для такого представления имелись все основания. Вернувшись из Америки, Моро «не скрывал, что республиканский строй, которого как идеала требуют добродетельные люди, неприменим к современной системе великих европейских держав. . . Когда он рассматривал положение в Европе, когда он взвешивал потребности этого огромного, истощенного тела, он желал Франции легитимного правления, при котором мощные барьеры обеспечивают гражданские свободы личности. Он желал ей возвращения к умеренности в политике, он желал ей внутренней устойчивости»[201].

Шел 1815 год. Отечественная война России и Освободительная война в Европе были уже позади, наступала реакция Священного союза. В такой обстановке и рождается новое произведение Уварова «Appel à l'Europe», написанное с большим пафосом. Это его отклик на «Сто дней» Наполеона. Причиной появления этой гневной филиппики служило опасение, что новое появление Наполеона в недавно капитулировавшем Париже развяжет революцию. Несмотря на признание, что Наполеон «превознесся когда-то благодаря тому, что развенчал анархию», Уваров, как и прежде, был убежден, что Наполеон это — революция во Франции. «Революция — самая молниеносная и самая бесшабашная — идет, чтобы снова погрузить

---

[200] Eloge funèbre de Moreau. SPb., 1813, p. 3—4.
[201] Ibid., p. 25—26.

Францию и Европу в пучину неисчислимых бед»[202]. Автор многократно возвращается к этой мысли, утверждая, что «Бонапарт пытается вновь начать революцию, которую мы считали законченной; он бросил перчатку Европе, для него все средства хороши, чтобы упрочить свою новую власть. Он вступил в союз с теми же страстями, с теми же ошибками, с теми же слабостями. Он вступил в естественный союз со всеми темными сторонами человеческой природы»[203].

Расценивая исход событий, Уваров остается верен себе: уповает на провидение, которое «не позволит восторжествовать преступлению», а также на то, что во Франции находятся союзные войска, которые уже знают дорогу на Париж; антинаполеоновская коалиция обладает силой, о которую разобьются «все усилия бунта и анархии». К ней, антинаполеоновской Европе, и обращается Уваров. Подавить новую угрозу французской революции — в этом его призыв.

Однако над всеми рассуждениями Уварова о войне 1812—1814 гг. постоянно витает вездесущая и всемогущая тень Александра I. Он изображается вершителем судеб Европы. Несколько позже этот тезис найдет свое наибольшее развитие в работе Уварова «À la mémoire de l'empereur Alexandre» (1826), где подводятся итоги всему александровскому времени.

Уже в ранний период своей деятельности Уваров сформулировал свою концепцию всемирно-исторического развития, которая воспринималась не только как личные взгляды автора, а как взгляды представителя официального просвещения и официальной науки. Концепция эта изложена им в работе «О преподавании истории относительно к народному воспитанию» (1813) и в речи перед студентами Главного педагогического института (1818 г.), выросшей в пространное произведение. Несмотря на разделяющий их промежуток в 5 лет, эти сочинения следует рассмотреть вместе, поскольку в них развиваются одни и те же взгляды. Некоторые из них были намечены еще в «Projet d'une Académie Asiatique» (1811).

Уваров видит в истории закономерный процесс, считает, что познать историю — значит познать ее закономерность. «Нужно, чтобы, представляя общую картину истории во всем ее пространстве, преподающий проливал на сей огромный хаос благодательный луч религии и философии. С сими двумя светилами может человеческий ум найти везде успокоение и достигнуть до той степени убеждения, на которой человек почитает сию жизнь переходом к другому совершеннейшему бытию»[204]. Вся мудрость религии и философии воплощалась для Уварова в одной всеобъемлющей формуле: «воля провидения», которая и есть двигатель истории и ее философия. Изучение философии истории есть центральный пункт познания исторического прошлого. Уже в гимназии нужно добиваться того, чтобы для учащихся «не была вовсе скрыта истина и связь исторических происшествий», они должны знать не только события, не только творения

[202] Appel à l'Europe. SPb., 1815, p. 4.
[203] Ibid.
[204] О преподавании истории относительно к народному воспитанию. СПб., 1813, с. 23—24.

человеческого ума, но и «многочисленные его заблуждения и, наконец, тайное влияние провидения на все его действия и покушения»[205].

По этой причине древняя и новейшая (ее Уваров начинает с XV в.) история в глазах историка значимы неравноценно. «Древняя имеет. . . большое преимущество перед новейшей. В древней мы обретаем начало и конец»[206]. Иначе говоря, в завершившей свое развитие древней истории уже видны цели провидения, по ней уже можно судить о том, что оно хотело сделать, как воплотить свои предначертания. Совсем в ином положении история новейшая. Она «есть отрывок, а не целое. Таинственное направление происшествий скрыто от глаз наших. Мы мечтаем увидеть цель провидения тогда, когда оно еще избирает способы к достижению оной»[207]. Поэтому предвидеть будущее невозможно; развитие новейшей истории еще не завершилось, нам трудно что-либо сказать о целях провидения; «отдаленные последствия происшествий скрыты в будущем».

Все это заставляет сделать вывод, что философия истории Уварова, так сказать, смотрит назад, а не вперед. Она считает себя вправе устанавливать закономерность развития только для отдаленных, завершивших свое развитие эпох. Что же касается новейшей истории (каковая составляет, согласно Уварову, уже четыре столетия) и особенно будущего, то тут человек бессилен с определенностью судить и предвидеть, поскольку «таинственное направление происшествий» для него непостижимо. Эта мысль содержит в зародыше позднейшее положение, к которому Уваров пришел в конце жизни: человек не может не только прозреть будущее, но и познать прошлое. История в целом окажется тогда для Уварова тоже непознаваемой.

Второе главное требование Уварова к истории — быть орудием правительства в деле воспитания народа. «Преподавание истории есть дело государственное» — его главный тезис в этом рассуждении. История — одна из важнейших наук в государстве. «Не каждому гражданину нужно читать Тацита, но каждому необходимо ясное понятие о главнейших происшествиях истории». Задача истории — «отделить истину от лжи, божественное от человеческого, событие от догадок, найти нить происшествий и проложить дорогу верную, которая бы каждого гражданина вела к лучшему познанию прав и должностей своих»[208]. Проложить верную дорогу к пониманию истории, по Уварову, — это и значит применить к ее толкованию его собственную философию. Воспитанию народа в этом направлении Уваров придает огромное значение. Если заблуждается историк «в тишине кабинета», это еще полбеды; настоящая беда начинается, если впадает в заблуждение историк-преподаватель, увлекающий за собой людей.

---

[205] Там же, с. 13—14.
[206] Там же, с. 14—15.
[207] Там же, с. 22.
[208] Там же, с. 2.

Есть у Уварова и другое выражение той же мысли о служебной роли истории. Преподаватель «должен возбуждать и сохранять, сколько можно, народный дух... Сие правило должно особенно быть чтимо преподающим историю. Он в сем отношении делается прямо орудием правительства и исполнителем его высоких намерений»[209]. Здесь, таким образом, уже встречается тот самый «народный дух», который сыграл столь реакционную роль в немецкой историографии и который у самого Уварова потом вырастет в пресловутую «народность» — одну из основ его реакционной «триады».

Третье главное положение: наряду с философией истории и связанной с этим воспитательной ролью исторической науки Уваров говорит и о необходимости фактологического изучения исторических явлений. При этом не все стороны исторического процесса имеют для него равноценный характер. «Не только военные действия, хронологический ход происшествий, падение государств, явление новых народов, но всего более должны занять нас: внутреннее устройство, религия, политические отношения, торговля, законодательство, просвещение...» Эта черта — не события внешней истории, а события истории внутренней и поиски их закономерности — всегда отличала Уварова. В данном отношении он считает образцовой страной Германию, где «сия часть исторических наук с большим успехом обрабатывается», а образцовым автором — Герена[210]. Это было одно из первых славословий Герена в русской исторической литературе. Как известно, в русских университетах в первые три десятилетия XIX в. всеобщая история — и об этом объявлялось официально — читалась главным образом «по Герену». В Московском университете ее читал таким образом еще М. П. Погодин. Покончили с этой традицией в Московском университете только Т. Н. Грановский, в Петербургском — М. С. Куторга. Кроме того, Уваров требовал, чтобы учащиеся изучали хронологию и географию, ибо эти науки суть «очи истории». Историю разных стран нужно изучить синхронистически, а не в отрыве друг от друга, чтобы учащийся «мог следовать современным происшествиям во всех частях мира».

Помимо своих основополагающих идей в определении задач исторической науки, Уваров в этих произведениях изложил и саму концепцию всемирной истории, как он ее понимал. Колыбелью человечества был древний Восток; общественный строй его государств Уваров, выступая с речью в Главном педагогическом институте в 1818 г., изображает в полном согласии с библией. «История представляет нам человека в обществе; она принимает свое начало на равнинах Азии, под сенью патриархов, в мирном кругу семейственной жизни. Святая простота нравов, под влиянием которой власть отца представляла власть монарха, а человек и гражданин были еще неразлучны в одном лице»[211]. С Востока Уваров выводит все

[209] Там же, с. 24.

[210] Имелась в виду его работа «Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handeln der vornehmsten Völker der alten Welt». Göttingen, 1803.

[211] Речь президента импер. Академии наук... в торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 г. СПб., 1818, с. 26—27.

религии, все науки, всю философию — все, что составляет, по его терминологии, «моральный мир», духовное развитие человечества. Что касается собственно гражданской истории, то в этом отношении Восток не оказал сколько-нибудь значительного влияния на развитие человечества, потому что он «только тогда вступал в сношения с другими, когда делался их жертвою... он существует, но более в прошедших веках, чем в настоящем»[212].

Если Восток был младенчеством человечества, то его юностью была античная Греция. Однако она страдала тяжелыми пороками. Религия греков «представляла еще странное сочетание нравственности, разврата, высокого полета и постыдных обрядов... Она не могла образовать гражданской жизни греков»[213]. Эта неспособность религии — а именно она, по Уварову, образует основу исторического развития — к созданию гражданской жизни выразилась в том, что и политический, и социальный строй имели значение только для самих греков и не оказали влияния на историю других народов. В политической области греки создали республиканский строй, который не вызвал подражаний, а возникавшие в новое время республики «ни в чем не сходствуют с республиками древнего мира».

В социальной сфере формируется уродливый строй, покоящийся на рабстве. «Мир древних делился на две неравные между собою части: с одной стороны, свободнорожденные, с другой — рабы... Право свободных над рабами, основанное на состоянии военнопленных, имело у древних ужасное, в наше время, к счастью, неизвестное пространство. Оно было выше всех законов». В рабах видели «особый род людей, природою на вечное рабство осужденный, издавна лишенный не только всех своих прав, но даже всей способности ими когда-либо воспользоваться. Ни один философ древности не восставал против сей мысли... Ни Платон, ни Сенека не внимали гласу природы и не защищали прав человечества»[214].

Между древней Грецией и сменившим ее Римом Уваров видит не сходство, а различия, поскольку Греция и Рим имели различный культурный облик. «Пылкая фантазия управляла греками, строгий наблюдательный рассудок царствовал в Риме; там вы увидите верх воображения и искусств, здесь — верх политической мудрости и проницательности; в Афинах гражданин уступал человеку, в Риме человек был жертвой гражданина»[215]. Кроме того, Рим — создатель могущественной мировой монархической державы, что приводит оратора в восторг. Уже в чертах римской республики можно распознать будущую властительницу мира; когда же счастливый Август садится на трон вселенной, «то при блеске такого величия мы почти забываем, что две трети человеческого рода стонали под игом жесточайшего рабства»[216].

---

[212] Там же, с. 14—15.
[213] Там же, с. 30.
[214] Там же, с. 32—33.
[215] Там же, с. 35—36.
[216] Там же, с. 36.

А между тем в недрах Римской империи зрели причины ее гибели. В то время когда римляне пили в золотых чашах слезы и кровь вселенной, они «в беспечном упоении не ведали, что освободитель мира родился под соломенным кровом в забытом краю их огромной империи»[217]. Зарождению христианства Уваров придает решающее значение. Не внешние силы, не внутренние социальные и политические причины, а «давно ожидаемое преобразование морального мира» было, по мнению Уварова, причиной гибели античности. Под напором христианства «рассыпались все умственные и телесные узы... Не народы Германии, не воины Севера и Востока, даже не пороки тиранов и не разврат народа разрушили колосс Римской империи; христианская религия нанесла ему сокрушительный удар»[218].

Наступившая вслед за этим эпоха средневековья вызывает восторг Уварова. В противовес французским просветителям он выступает апологетом средневековья. «Оставьте софистам XVIII столетия жалобы на времена варварства и фанатизма! С высшей точки зрения, на которую вас возведет история, вы увидите, что сей ряд веков, носящих в самом деле печать невежества и суеверия, есть одно из необходимых условий образования, одно из испытаний, предназначенных роду человеческому»[219]. Беря под защиту средние века, автор выдвигает мысль о том, что исторический процесс протекает неравномерно, что с точки зрения культурного уровня средневековье было шагом назад по сравнению с античным временем, но оно было необходимой ступенью в дальнейшем прогрессе Западной Европы.

Однако это положение Уваров наполняет все тем же содержанием: средневековье было порождено христианством, орудием которого были германцы и феодальная система. «Гений германских народов воссел на дымящиеся развалины империи римлян», а «из германских учреждений, смешанных с обычаями Рима и Галлии, проистекает феодальная система, о которой было много писано, но которую не многие разумели»[220], — подчеркивает он, имея в виду просветителей. Нечего говорить, что феодализм здесь понимается только как политическая система и в этом смысле, с точки зрения Уварова, «требует особенного внимания и заслуживает наше удивление».

При всем своем восхищении феодализмом оратор считает, что эта система являлась только переходом к новому этапу: «когда она стала угнетать возникающий дух и противиться его предначертанному ходу, тогда промысл родил в недрах феодальных законов способ и случай их навсегда уничтожить. Сей способ — крестовые походы»[221]. Автор полагает, что рыцари креста, несмотря на то что погубили миллионы жизней и миллионные богатства, положили

---

[217] Там же, с. 36—37.
[218] Там же, с. 33.
[219] Там же, с. 41.
[220] Там же, с. 40.
[221] Там же, с. 43.

начало упадку феодализма; «исполнители неизвестного им закона, они взамен толиких бед принесли в Европу новую искру свободы и просвещения»[222]. Под этим разумелось ослабление крепостного права, ибо «феодальное рабство... начало мало-помалу исчезать от крестовых походов. В сем обороте участвовала религия, дух времени и самые внутренние обстоятельства государств»[223].

Под этими «внутренними обстоятельствами» автор имел в виду ряд причин. Под знаменем религии, как полагал он, и король и последний его подданный были «свободны и равны». Феодалы, отправляясь в поход и нуждаясь в деньгах, зачастую продавали или закладывали поместья, отпускали крепостных на волю, иные освобождали их для спасения своей души. Королевская власть, пользуясь этим ослаблением феодалов, «укреплялась в самовластии», ограничивала феодальную анархию. Среднее сословие сосредоточило в своих руках промышленность и торговлю и организовалось в коммуны. «Сии общества откупали права властителей в больших городах, сделавшихся, таким образом, приютами свободы и торговли»[224]. Это сословие «покушалось сбросить свои оковы». Каждое сословие, каждая политическая сила действовали в своих собственных, корыстных интересах, но никто «не ведал, что он, слепое орудие в руках промысла, действовал единственно для основания равновесия всех политических сил и что из всех частных ограниченных намерений должен был составиться согласованный порыв к общему благоустройству Европы»[225]. Это было преддверием полного освобождения от крепостничества, ибо «освобождение души через просвещение должно предшествовать освобождению тела через законодательство»[226].

И наконец, следующая ступень в прогрессе Запада — это XV столетие. «Сей дивный век блистает всеми родами славы и величия. Америка, мыс Доброй Надежды, книгопечатание, реформация, порох, торговля в Индии — вот его трофеи. Отныне система европейских государств... течет беспрепятственно на высшую ступень образованности». На этом изложение мирового исторического процесса обрывается, видимо, потому, что дальше пришлось бы касаться Английской и Французской революций, что Уваров считал едва ли уместным в официальной речи.

Какое место занимает Россия в этом процессе? Начиная со времен Людовика XIV на мировую арену выступила Россия Петра. Задача историка — изложить не только историю России, но и дать понятие «о связи ее с историей Европы. Многие писатели показали сию связь начинающуюся с Петра Великого, но легко можно увериться, что многими столетиями ранее Россия имела тесные сношения с Европой»[227]. Уваров — сторонник изучения русской истории в ее из-

[222] Там же, с. 44.
[223] Там же.
[224] Там же, с. 45.
[225] Там же, с. 47.
[226] Там же, с. 48.
[227] Там же, с. 49.

начальной связи с историей Запада. Вот здесь прежде всего и должна была найти свое применение синхронность изучения истории.

В своей речи перед студентами Главного педагогического института Уваров, явно находясь под впечатлением победоносной Отечественной войны, говорил: «Государства имеют свои эпохи возрождения, свое младенчество, свою юность, свой совершеннолетний возраст и, наконец, свою дряхлость»[228]. Война 1812 г. привела к национальному подъему в России. Русский народ — «младший сын в многочисленном европейском семействе» — сохранил «следы душевной юности, ныне алкает просвещения и стремится похитить у других и лавр воинской славы и пальму гражданской доблести»[229]. Россия только вступает в свой «совершенный возраст», перед ней расстилается далекий путь развития. Долг правительства, по мысли оратора, состоит в том, чтобы знать законы истории и управлять народами в согласии с этими законами, а не препятствовать их осуществлению. Не то правительство достойно похвалы, которому «удалось увековечить младенчество физическое или моральное; то премудро, которое смягчило переходы от одного возраста к другому, охраняло неопытность, заранее открыло способности ума, предупредило опасности, возрастало и зрело вместе с народом или с человечеством. Все сии великие истины содержатся в истории. Она верховное судилище народов и царей. Горе тем, кто не следует ее наставлениям! Дух времени, подобно грозному сфинксу, пожирает непостигающих смысл его прорицаний»[230]. Уваров призывал молодое поколение русской интеллигенции строить свою деятельность в соответствии с этими законами истории, имея в виду, что каждый из них — «звено неизмеримой цепи, объемлющей в своем составе все народы, все племена, все человечество»[231].

Такова историческая концепция раннего Уварова. Это — концепция всемирно-исторического процесса, объемлющего «все народы, все племена, все человечество». Он подчинен строгой, всемирно-исторической закономерности, ибо все в этом процессе, в том числе и «все большие политические перевороты, подлежат вечным законам необходимости»[232]. Таким законом необходимости у Уварова выступает религия, высшим выражением которой является христианство; вся его концепция строится на этой религиозно-идеалистической основе, исторический процесс является лишь воплощением «морального мира», иначе говоря, религиозных идей. Вторая главная черта уваровской концепции состоит в стремлении изъять из истории резкие переходы: задача состоит в том, чтобы «смягчать переходы от одного состояния к другому, охранять неопытность, предупреждать опасности». Горе тем, кто не следует наставлениям истории! Да погибнут все, не постигающие смысла ее прорицаний! — гремит

---

[228] Там же, с. 52.
[229] Там же, с. 51.
[230] Там же, с. 53.
[231] Там же, с. 54.
[232] Там же, с. 50.

Уваров, направляя свои стрелы в просветителей и Французскую революцию. В годы, когда существовали передовые исторические концепции декабристов, историческая теория Уварова, даже в рамках дворянской идеологии, была весьма консервативной, она противостояла революционно-дворянским декабристским концепциям. Как государственный деятель Уваров пытался возвести свою концепцию в ранг государственной политики, сделать ее официальной доктриной, своего рода казенной инструкцией для русских историков.

В то же время эта концепция заметно отличалась от концепции позднего Уварова, когда она стала историческим обоснованием его политической доктрины «православия, самодержавия и народности» — трех идеологических китов николаевского режима.

Несмотря на свой религиозно-идеалистический и консервативный характер, его теория была полна тогда исторического оптимизма. Она являлась теорией прогресса. Исторический процесс представлялся последовательной сменой эпох. Каждая эпоха переживает свое рождение, свою раннюю пору, свой расцвет и свое угасание. Это не теория циклизма — историческое развитие идет по восходящей, каждая ступень является более высокой по сравнению с предыдущей. Христианство вовсе не является чем-то, где все уже достигло совершенства и дальше не развивается, — в христианский период падает античный мир, а на смену средневековью приходит новый период, начавшийся с XV веком. Феодализм тоже не вечная категория, он обречен на исчезновение, он только переходная форма, потому что в его развитии настает пора, когда он начинает «угнетать возникающий дух и противиться его предначертанному ходу». Крепостное право тоже должно исчезнуть, и Уваров начинает следить, как оно постепенно исчезает. Он не воздвигает пока никаких барьеров между Западом и Россией. Россия — составная часть всемирно-исторического процесса, русский народ всего лишь «младший сын» в семье других народов, ему предстоит пройти тот же путь, что и старшим братьям. Как и эпохи, государства имеют «свое младенчество, свою юность, свой совершенный возраст и, наконец, свою дряхлость». От других государств Европы Россия отличается только своей молодостью, но ничем больше.

Тогдашняя уваровская концепция еще совершенно далека от последующей по самому отношению автора к исторической науке. Он ничуть не сомневается в способности истории и историка познавать исторический процесс. История — «верховное судилище народов и царей». Эта мысль еще очень далека от того комплекса идей, к которому придет Уваров в середине XIX в., когда он обратится к Российской Академии наук со своим печально знаменитым вопросом: «Совершенствуется ли достоверность историческая?» Тогда Уваров уже станет отрицать способность исторической науки познать человеческую историю.

Наиболее законченную концепцию, решавшую проблему «Россия и Запад» на консервативный лад, сформулировал крупнейший историк этого лагеря **М. П. Погодин** (1800—1875). В 1845 г. в издававшемся им журнале «Москвитянин» он выступил со статьей «Параллель русской истории с историей западных европейских государств относительно начала». Как и все его единомышленники, Погодин исходит из концепции О. Тьерри и Гизо. «Западные европейские государства обязаны происхождением своим завоеванию, которое определило и всю последующую их историю, даже до настоящего времени» [233] — так начинает он свою статью и далее излагает суть этой концепции словами Тьерри. «Племя воинственных пришельцев сделалось классом привилегированным, перестав быть особливым племенем. Из него произошло воинственное дворянство, которое, принимая в недра свои все, что было честолюбивого, буйного, бродяжного в низших сословиях, для того чтобы не перевестись, возобладало над населением трудолюбивым и мирным. . . Племя побежденное, лишенное поземельной собственности, власти и свободы, живя не оружием, но работою, обитая не в крепких замках, а в городах, образовало общество, как бы отдельное от военного союза завоевателей. Этот класс поднялся по мере того, как ослабевала феодальная организация дворянства, происшедшего от древних завоевателей. . . может быть потому, что сохранил в стенах своих остатки римской гражданственности и с этой слабой помощью начал новую цивилизацию» [234].

Этому Погодин противопоставляет историю Руси, развивавшуюся, по его мнению, из совершенно иных начал. В отличие от Запада исходным пунктом русской истории было не завоевание, а мирное призвание варягов. На Западе феодалы отняли у завоеванных землю и стали могущественным сословием, русские же бояре, составлявшие служилое сословие, всецело подчинявшееся князю, довольствовались частью дани, собираемой им, и не захватывали крестьянских земель, ибо в условиях бескрайних просторов в этом не было необходимости. В то время как в западных государствах народ был под игом барщины, на Руси он был посажен на легкий оброк. Если на Западе города играли крупную социальную роль, являясь оплотом третьего сословия, то на Руси ввиду отсутствия таких городов отсутствовали и условия для возникновения третьего сословия. Разница этих исходных обстоятельств обусловила, по мнению Погодина, полную противоположность истории Запада и России на всем ее протяжении. Основной смысл всей конструкции Погодина состоял в доказательстве того, что, в отличие от Запада, в русской истории отсутствовали причины для социальных конфликтов, что в России нет почвы для революции. «Нет! Западу на Востоке быть нельзя, и солнце не может закатываться там, где оно восходит» [235], — торжествующе заканчивал Погодин.

---

[233] Москвитянин, 1845, генварь, Науки, с. 1.
[234] Там же, с. 1—2.
[235] Там же, с. 18.

Таков был ответ охранительной школы на вопрос о будущем России.

Заслуживает внимания тот факт, что уже тогда, когда Тьерри и Гизо отреклись от своей теории, в других странах, в частности в России, она получила широкое хождение, а для Погодина, как видим, послужила средством представить исторический путь Западной Европы как закономерный, ведший к революции. Ему противопоставлялся путь другой, тоже закономерный, но противоположный — путь России. Погодин первый в русской историографии формулировал своеобразную теорию двух закономерностей — одна для Запада, другая для России. Это было своего рода «доказательство от противного» — негативный взгляд на Западную Европу, прошлое которой должно было представлять собою исторический опыт, коего должна избежать Россия.

* * *

Слева от реакционного, охранительного направления располагался либеральный лагерь. У его представителей отсутствовало какое-либо единство взглядов, так что проблема «Россия и Запад» решалась ими по-разному. На правом фланге этого лагеря находились славянофилы, яркими представителями которых были **И. В. Киреевский** (1806—1856) и **К. С. Аксаков** (1817—1860). В оценке истории Западной Европы они, как и охранительное направление, тоже исходили из теории Тьерри и Гизо, считая, что общественный строй западных государств (по словам И. В. Киреевского) «почти везде возник насильственно, из борьбы на смерть двух враждебных племен — из угнетения завоевателей, из противодействия завоеванных и, наконец, из тех случайных условий, которыми наружно кончались споры враждующих, несоразмерных сил»[236]. Это определило революционный характер исторического развития на Западе: «начавшись насилием, государства европейские должны были развиваться переворотами, ибо развитие государства есть не что иное, как раскрытие внутренних начал, на которых оно основано»[237].

Революционному пути Запада противопоставлялся прямо противоположный путь России. У его истоков, с точки зрения славянофилов, как и Погодина, было мирное призвание варягов. Если на Западе все пошло от завоевания, то русская безгосударственная, общинная «земля», стремясь избежать опасности быть завоеванной, призвала к себе на помощь государство. В отличие от Погодина, однако, славянофилы сделали из представления о призвании варягов иные выводы. Поскольку государство было призвано извне, и это было добровольным актом, постольку оно не смешалось с общиной («землей»), а стало рядом с ней, в виде ее дополнения. «Так начинается русская история. Две силы в ее основании, два двигателя. . . Земля и Государство. . . Они существуют как отдельные, но друже-

---

[236] *Киреевский И. В.* Полн. собр. соч., т. 1, с. 184.
[237] Там же, с. 192.

ственные союзные силы, сознаваемые в их раздельности и взаимно признающие одна другую»[238].

Земля и государство выполняли различные, но дополнявшие друг друга функции. «Земля или народ пахал, промышлял и торговал, — писал К. С. Аксаков. — Государство поддерживал он деньгами и в случае нужды становился под знамена. Он составлял сам собою одно огромное целое, для которого необходимо было государство, чтобы можно было жить ему своею жизнью и хранить безмятежно свою веру и беспрепятственно свой древний быт. Государь, первый защитник и хранитель земли, поддерживал общинное начало, и народ под верховною властью государя управлялся сам собою. . . Иногда государь призывал Землю на совет и делал ее участницей дел политических»[239]. Весь этот сконструированный славянофилами общественный строй преподносился в виде бесклассового. Предпринимались попытки доказать, что в древней Руси «аристократии не было и не могло быть, ибо боярство не было наследственно. . . все зависело от службы. . . Аристократии западной не было вовсе. Не было и западной демократии. Вся Россия была под двумя властями — Земли и Государства, разделялась на два отдела — на людей земских и людей служилых»[240].

Все, что мешало сближению России с Западом, получало «благословение» славянофилов, включая татарское иго; все, что сближало Россию и Запад, напротив, решительно осуждалось. Наибольшему осуждению подверглась деятельность Петра I, ибо он хотел «оторвать Русь от родных источников ее жизни, захотел втолкнуть Русь на путь Запада. . . путь ложный и опасный»[241].

При некоторых чертах сходства с концепцией Погодина славянофильская историческая теория содержала главнейшие черты того понимания русского исторического процесса, которое было создано русской либеральной исторической мыслью и которое либеральная историография отстаивала на протяжении всего своего развития. Здесь в зародышевой форме мы встречаем тезис об «обществе» и «государстве»: первое лишено классового деления, второе — классового характера; встречаем и тезис о происхождении государства из нужд обороны и идею о разделении общественных функций между соподчиненными сословиями, когда мужик кормит дворянина, обороняющего его от внешней опасности.

* * *

К либеральному лагерю принадлежал и своеобразный деятель русской культуры этой поры Николай Иванович **Надеждин** (1804—1856) — литературный критик, писавший и по проблемам истории как русской, так и западной. Его взгляд на Россию и Запад пережил глубокую эволюцию. В первоначальном виде Надеждин изложил

---

[238] *Аксаков К. С.* Соч. М., 1889, т. 1, с. 14.
[239] Там же, с. 21.
[240] Там же, с. 22.
[241] Там же, с. 31.

этот взгляд в 1832 г. в своем журнале «Телескоп». Автор постулировал полную противоположность между историей Запада и историей России. Первая в глазах Надеждина имела глубокий внутренний смысл; все, что совершалось на Западе, служило как бы примером для других народов. Это сказывалось уже на заре западной истории. В эпоху Меровингов «совершалось пересоздание римской обветшалой гражданственности через водворение на развалинах ее новых пришельцев. Сии пришельцы принесли с собой неистощенную полноту свежих, только что проснувшихся, диких, но могучих сил, кои в гниющих остатках древнего мира обрели себе роскошное питание. Это было стадо буйных орлов, слетавшихся попировать на трупе»[242]. Весь ранний период западноевропейской истории отмечен «бурным кипением пересоздающейся жизни».

Такова история Запада в своих истоках, такова она и на всем своем протяжении вплоть до современной (Надеждину) Западной Европы. Говоря о современной Франции, Надеждин подчеркивает, что все, совершающееся в ней, не только значимо, но и имеет бурный характер; там «события не рождают, а выкидывают друг друга... В минувшие тридцать лет Франция прожила более периодов, нежели иной народ в течение тридцати столетий»[243]. Консульство, Империя, падение Наполеона, Сто дней, Реставрация, революция 1830 г. (о революции автор не говорит, но она подразумевалась сама собой) — все это полно драматизма, достойно пера писателя, кисти художника и будет занесено на скрижали истории.

Что же касается России, то она, в сущности, по Надеждину, не имеет истории, несмотря на то что за многие века мы «можем представить письменные документы нашего существования». Если западные народы стали наследниками античной цивилизации, то русский народ «сотворил сам себя из себя самого... самобытно и самозиждительно. В многосложной массе настоящего европейского населения это слой чисто первородный»[244]. Это, полагает Надеждин, определило примитивный характер истории россиян; события, совершавшиеся на русских просторах, были лишены общеисторического диапазона. Времена «великанов сумрака» — Рюрика и Олега покрыты рассветным туманом русской истории. Удельный период являет собою «дремучий лес безличных имен, толкущихся в пустоте безжизненного хаоса»[245]. Этот период «столь же мало значит в жизнеописании русского народа, сколько девятимесячное существование зародыша в биографии каждого человека»[246].

Основанием для такой характеристики удельного периода служило представление, будто вся первая половина удельной эпохи была лишь временем простого расселения русского народа по обживаемой им территории; около трех веков русский народ только «кристаллизовался... физически, наполняя собою обширное про-

---

242 Телескоп, 1832, ч. 10, с. 239.
243 Там же, с. 236.
244 Там же, с. 240.
245 Там же, с. 238.
246 Там же.

странство европейского востока... Это был, можно сказать, период геологического образования Руси» на пространстве от бесплодных тундр Ледовитого океана до цветущих берегов Боспора[247]. Этим Надеждин объясняет феодальную анархию на Руси. В отличие от Запада, где феодальная раздробленность была следствием внутренних причин, «необходимость уделов у нас была необходимость чисто физическая, результат инстинктуальной потребности расширения... Тщетно Мономахи и Долгорукие пытались постановить одно общее средоточие для всей земли русской; их бесплодные попытки увеличивали только смятение и беспорядок»[248]. Единственный исторический резон, согласно Надеждину, заключался в деятельности церкви, поэтому удельный период «получает некоторую жизнь только в сказаниях Патерика и Четий-Миней»[249].

Такой процесс должен был в конечном счете «кончиться совершенным разрушением народной целости, распадением основного вещества нации на отдельные, отрывочные орды... как действительно случилось с арабами... или с монголами»[250]. Однако, продолжает Надеждин, произошло событие, которое изменило ход русской истории. «В то время как Русь была готова совершенно распасться и потерять самобытную свою целостность, иго татарское отяготело над нею. Сие иго, подавив собою землю русскую, сокрушило ее необузданную расширяемость. И когда после первых минут оцепенения в порабощенном, но не сокрушенном народе пробудилось снова самочувствие, то его деятельность, по естественной реакции, приняла обратное направление, устремилась внутрь себя, начала тяготеть к средоточию. Развитие сего нового, центростремительного направления занимает собою последнюю половину удельного периода нашей истории»[251].

Таким образом, история России начинается с Ивана III, но и теперь целых два века протекли «в младенческих нестройных движениях организующегося государства. Сии два века составляют посему только введение в настоящую историю нашего отечества»[252]. Надеждин начинает далее искать параллели с западной историей. Войну с польскими и шведскими интервентами начала XVII в. он сравнивает с крестовыми походами; борьбу Никона со светской властью — с борьбой Григория VII с Генрихом IV, а деятельность Петра — с Реформацией на Западе.

«Итак, где же начинается полная русская история? — спрашивает историк и отвечает: Не дальше Петра Великого! Следовательно, все наше прошедшее ограничивается одним веком! Мы живем пока в первой главе нашей истории»[253]. Только Петр поставил задачу сблизить Россию с Западом. Отсюда его борьба за Балтийское море,

---

[247] Там же, с. 240.
[248] Там же, с. 241.
[249] Там же, с. 244.
[250] Там же, с. 242.
[251] Там же.
[252] Там же, с. 244—245.
[253] Там же, с. 246.

ибо лишь море могло ввести Россию в «свободное и живое соприкосновение с Европой, дотоле заслоняемою от нее глухой китайской стеною»[254].

На первый взгляд подобная концепция вызывает удивление. Надеждин был известен как «квасной» патриот. По его собственным словам, он создал «Телескоп» для того, чтобы показать, что «русская гордость не должна ограничиваться одними безотчетными восклицаниями»[255], а с другой стороны, чтобы «противодействовать ложным, вредным идеям, заносимым к нам с Запада»[256]. Только что изложенная концепция автора находится в явном противоречии с прокламированными им задачами: сравнение Запада и России клонилось явно не в пользу России. Недоумение, однако, сразу же исчезает, если предположить, что концепция Надеждина сложилась под влиянием «Философического письма» Чаадаева, которое с 1829 г. в списках ходило по рукам. Надеждин не мог не знать произведения Чаадаева — его знала вся Москва. Что Надеждин заинтересовался идеями «Письма», об этом говорит тот красноречивый факт, что «Письмо» было затем опубликовано именно Надеждиным в «Телескопе», а что Надеждин интересовался «Письмом» вскоре после его появления, говорит его историческая концепция, сформулированная в 1832 г. Сходство надеждинской и чаадаевской концепций состояло в восторженном отношении к Западу и в решительном зачеркивании всей допетровской Руси. В такой крайней форме эти идеи встречаются только у Надеждина и Чаадаева. Разница между их концепциями состояла только в том, в чем Надеждин как представитель ортодоксально-православной точки зрения уступить никак не мог; он не мог принять католического крена чаадаевской конструкции; православная церковь, которая, с точки зрения Чаадаева, погубила русскую историю, у Надеждина выступает в ней единственной животворной силой.

В первой книжке «Телескопа» за 1836 г. вернувшийся из-за границы Надеждин выступил со статьей «Европеизм и народность в отношении к русской словесности», где он снова вернулся к своей исторической концепции. В ней выступает то же противопоставление России и Запада, но теперь у автора зазвучал новый мотив: сила России заключается именно в ее патриархальности, сила русского народа — в его покорности царю. Сила царей в русской истории настолько велика, что излагать ее нужно только по царствованиям. Русская цивилизация, душу которой составляет самодержавие и безропотное подчинение народа самодержцу, призвана обновить Европу, подобно тому как некогда античная цивилизация обновила «одряхлевшую Азию». Позже, перед следственной комиссией (по делу о напечатании им в «Телескопе» чаадаевского «Философического письма») Надеждин утверждал: этот тезис о величии само-

---

[254] Телескоп, 1831, ч. 4, с. 510.
[255] *Лемке М.* Чаадаев и Надеждин. По неопубликованным материалам. — Мир божий, 1905, № 10, с. 122.
[256] Там же, № 11, с. 146.

державия и ничтожности народа он подчеркивал-де потому, что хотел исправить слишком левый курс «Телескопа», который придал журналу Белинский за время заграничной поездки редактора Надеждина.

Далее пути Надеждина и Чаадаева скрестились: Надеждин опубликовал «Философическое письмо». Почему он это сделал? Сам Надеждин говорил, что пошел на этот шаг потому, что хотел публикацией сенсационного материала поправить дела «Телескопа». В этом объяснении есть изрядная доля правды, но не вся правда. Помимо материальных соображений, здесь играли роль и соображения идейные. Надеждин признавал, что между концепциями Чаадаева и его собственной имелись сходные черты: «резкий, унизительный тон, которым он говорил о народе русском, показался мне согласным с моей целью. . . г. Чаадаев, говоря унизительно о народе русском, явно отделяет от народа державную власть царей, видя в ней, напротив, единственное начало совершенства для народа, который сам по себе ни к чему не способен»[257]. В констатации такого сходства идей тоже была доля правды, поскольку Надеждин высказал их ещё до опубликования «Философического письма». Но и это тоже не все объясняло. Недаром Уваров лаконично и выразительно начертал против этого показания Надеждина: «коварно», он называл позицию Надеждина «преувеличенно-монархической», желая подчеркнуть тем самым, что Надеждин, выдвигая на первый план тезис о величии царя и приниженности народа, пытается этим закрыть все остальное.

А остальным было как раз то, в чем члены комиссии — Бенкендорф и Уваров — обвиняли сидевших перед ними Надеждина и Чаадаева. Сюда прежде всего относилось чрезмерное славословие Западу и особенно католицизму. Надеждин принимал высокую оценку Запада и обходил вопрос о католичестве, хотя и не разделял, как мы видели, восторгов Чаадаева. Ни единой строчкой до тех пор Надеждин не осудил Чаадаева за увлечение католицизмом. Он лишь мельком давал иную оценку роли православия, опять-таки ни слова не говоря о католицизме и явно не собираясь полемизировать об этом с Чаадаевым. Его объединял с ним общий взгляд на Запад, в котором оба видели антитезу отсталости России. Надеждина и Чаадаева объединяло также отрицательное отношение к революционным движениям на Западе. И восхищение западной культурой, и терпимое отношение Надеждина к католичеству, и уничижающий взгляд на Россию — все это являлось криминалом в глазах представителей официальных кругов. В этом случае монархическая позиция Надеждина, точно так же как и его мысль о том, что патриархальность России призвана «обновить» Европу, уже не меняла дела. В этой связи нельзя согласиться с мнением М. Лемке, считавшего, что, публикуя «Философическое письмо», Надеждин не понимал до конца его смысла.

---

[257] Там же, с. 150.

Так, вероятнее всего, обстояло дело с публикацией «Письма» Чаадаева. А далее, как известно, «Телескоп» был закрыт; издатель и автор вкупе с цензором предстали перед следственной комиссией. Начался новый этап в эволюции надеждинской исторической концепции.

Перепуганный катастрофой, Надеждин спешит сформулировать свое отрицательное отношение к «Философическому письму», внести в свою историческую теорию существенные поправки.

В бумагах Надеждина были найдены статьи, которые он готовил в связи с этим [258]. В одной из них, озаглавленной «В чем состоит народная гордость?», автор уже критикует как чаадаевское, так и собственное восторженное отношение к Западу, однако еще продолжает отстаивать свой отрицательный взгляд на русскую историю. Он приглашает русских читателей посмотреть правде в глаза, а правда эта, согласно Надеждину, якобы состоит в том, что русский народ в течение первых семисот лет своего существования только «растягивался физически, наполняя свою ландкарту, составлял себе ту огромную географию, которая теперь изумляет вселенную». С возвышением Москвы берет начало «собственно русская история». Но это начало «смутно, дико, безобразно. Хаос остановился только всемощным „да будет“ Петра; следовательно, история наша в собственном смысле продолжается только одно столетие. Как же тянуться нам до других европейских народов, из которых самые младшие живут по нескольку сот лет? Сто лет в жизни народа — минута; и вот почему можно и должно сказать, что „у нас нет истории“» [259].

Вместе с тем здесь начинают звучать новые мотивы. Если раньше акцент ставился на безнадежной отсталости от Запада, то теперь она представляется уже бесспорным преимуществом перед Западной Европой. «Посмотрите на настоящее состояние Европы: какие там бури, потрясения, ужасы! А отчего все это? Оттого, что действительность находится в беспрестанной борьбе с историей, которая в течение веков родила столько преданий и укоренила их в духе и характере народов. Эти предания иногда не совместны с настоящим; и вот ломка, разрушение! Мы, напротив, как младенцы, сохраняем чистую девственность душ, на которой стоит только мудрой руке сеять семена истины и блага; никакие плевелы не могут подавить их, потому что у нас не было еще истории, которая засеяла бы нас страстями, предрассудками и ложными взглядами» [260].

Правда, «пустота» русской истории имела и отрицательные последствия: она привела к застойности. Мысль в России «вовсе не развивается, ум коснеет в прежней недеятельности. Мы не видели еще русского ума в самобытной форме, русской мысли в самообразном развитии. Все только наружный, выписной лак. Немногие исклю-

---

[258] Статьи были опубликованы семьдесят лет спустя: *Козьмин Н.* Две статьи Н. И. Надеждина, написанные по поводу «Философического письма» П. Я. Чаадаева. — Русская старина, 1907, июль—сент., с. 237—258.
[259] Там же, с. 256.
[260] Там же.

чения, если они есть, ничего не значат в массе; их никто не примечает»[261].

Вывод, к которому толкает Надеждин своего читателя, состоит в том, что обижаться-де нам нечего, щадить себя тоже ни к чему. «Лучше откровенно сознаться в нашей грубости, дикости, закоренелости, чем обольщать себя, притворяться перед самим собою... эта гордость будет истинная, достойная великого народа, который сознает себя младенцем, для того чтобы сделаться возмужалым»[262]. Нашим утешением должно быть сознание того, что на Западе «все уже перегорело; там надобно вновь искать огня. А у нас нужно только благодатное дуновение»[263].

Что касается другой статьи, то в ней осуществлен полный пересмотр надеждинской концепции, которая теперь повернута целиком и резко против схемы Чаадаева не только в истолковании истории Запада, но и России. Чтобы придать своей новой концепции наукообразный вид, Надеждин начинает с теоретического далека. Он ополчается на «Общественный договор» Руссо. Представлению о первобытном состоянии, служившему отправным в теории Руссо, Надеждин противопоставляет затасканный тезис официальной науки и богословия о том, что изначальной ячейкой человеческого общежития была семья, которая «по природе своей есть монархия и монархия единодержавная»[264].

На этой идее Надеждин строит схему мировой истории. «Все народы начали свою историю с этого первоначального, единственно свойственного природе человеческой состояния». Древний Восток состоял из монархий. Древние Греция и Рим начинали с семьи и потому шли к монархии, но затем «разгар страстей, соблазн своеволия, желание пожить своим умом, по своим прихотям вкралось в эти первобытные семейства и разрушило святые узы послушания... Как семья резвых своевольных детей, народы вздумали обойтись без патриархальной отеческой власти»[265]. Так появились республиканская Греция и старая римская республика. И как раз республика-то и погубила эти древние цивилизации. В последние века древней истории Рим «напрасно возвратился к первоначальной форме всякого гражданского бытия, повергся под самодержавный скипетр цезарей. Было уже поздно! Труп, истерзанный вековыми потрясениями, не мог оживиться»[266].

И только христианство спасло Европу, создав средневековье, монархическое по своему политическому строю и христианское по мировоззрению. В отличие от Чаадаева Надеждин отводит Возрождению большую роль в истории европейской культуры, но и здесь он все приписывает монархии: культура Возрождения, мол, расцветала только в монархических государствах Италии, что же каса-

[261] Там же, с. 257.
[262] Там же.
[263] Там же, с. 258.
[264] Там же, с. 248.
[265] Там же, с. 248.
[266] Там же, с. 248—249.

ется республик Венеции и Генуи, то они принимали «самое ничтожное участие в возрождении наук и искусств»[267].

Столь блистательно начавший свое историческое шествие Запад, однако, скоро пошел под уклон, его погубили революции. Западная Европа «вздумала посвоевольничать, пожить сама собой; она пародировала древнюю Грецию и древний Рим; объявила войну своему родному, кровному прошедшему, опрокинула его, смочила кровью для того, чтобы передразнить заблуждения и страсти древних народов, забыв, что они погибли от этих страстей и заблуждений. И ее постигнет та же судьба, и над ней свистит уже бич Немезиды, под ударами которого сокрушился Рим, сокрушилась Греция»[268]. Запад стоит накануне своей окончательной гибели.

Другое дело Россия. Надеждин, утверждавший ранее, что Россия не имеет истории, теперь восклицает: «Это ли не история? Это ли не прошедшее? И какой другой народ, древний или новый, может представить воспоминания более сладостные, предания более драгоценные»[269]. Раньше смотревший на древний период Руси как на время «великанов сумрака», он считает теперь, что призвание варягов, христианство было славным началом Руси. Географические просторы, которые грозили поглотить примитивные русские племена, теперь навевают на историка совсем иные мысли. Разве мог русский народ впадать в отчаяние, хотя бы он, доказывал Надеждин, «наполнял собою пространство, в котором уместится десяток и более Европ? Нет! Не напрасно самодержавный промысел отвел нам в удел такую огромную беспредельную ландкарту... и не дал нам утратить ни своего самобытного языка, ни своих самородных нравов... одним словом, ни одного из тех условий, которыми держится народная самостоятельность, тогда как другая нация, при малейшем стечении неблагоприятных обстоятельств, во сто лет сглаживалась с лица земли»[270].

В корне меняется оценка татарского завоевания: если раньше оно выступало у Надеждина спасением русского народа от распада, то теперь удельный период завершается, по Надеждину, тяжелым и опасным татарским и литовским игом. И только укрепление власти московских царей (централизацию приносят уже не татары, а цари) спасает Россию от гибели. Это, согласно Надеждину, и определило монархический характер русской истории, которая «не есть история нас самих, нашей отдельной народной жизни, а история наших царей, в которых и которыми мы жили. Нашей истории нельзя делить по периодам народной жизни, как европейцы делят свою историю, а по царствованиям, которые представляют непрерывную лестницу благодетельной деятельности царей и благоговейной покорности народа»[271]. Без царя народ лишь «ряд нулей; с этой державной единицей нули делают биллион».

---

[267] Там же, с. 249.
[268] Там же.
[269] Там же, с. 240.
[270] Там же, с. 247.
[271] Там же, с. 244.

По сравнению с Западом, с этой «дряхлой, издыхающей цивилизацией», где все пребывает «в вечных муках болезненного разрушения», где история «завещала. . . неизгладимую ненависть сословий друг к другу», Россия находится еще в начале своего пути, она еще в своем детском возрасте — и в этом счастье России, поскольку у нее все впереди. В развитии культуры Россия уже делает большие успехи, начало которым положил Петр, «без тех волнений, без тех мук, без тех ужасных потрясений, которые изнурили Европу». В этом отношении Россия уже стала догонять Западную Европу. «Нет! Мы бежим с нею. . . взапуски и, верно, перебежим скоро, если еще не перебежали!» [272] Придет время, и Запад будет завидовать России.

Так выглядит теперь историческая концепция Надеждина. Постоянно изменявшаяся, она состоит из разнородных частей, эклектически соединенных между собою. В этом сказался весь Надеждин, каким его знали современники.

Деятельность Надеждина вызвала в дореволюционной литературе резко противоположные оценки. По-разному смотрели на эту деятельность В. Г. Белинский [273] и Н. Г. Чернышевский [274], по-разному оценивали ее и в либеральном лагере. Некоторые его университетские слушатели — И. А. Гончаров [275], Н. Лавдовский [276], П. Прозоров [277] и др. — выступили с апологией своего профессора. С положительной (а иные авторы и с восторженной) оценкой подходили к Надеждину А. Н. Пыпин [278], Нил Попов [279], С. С. Трубачев [280], П. Н. Милюков [281], Н. К. Козмин [282]. С другой стороны, многие его слушатели, в том числе К. С. Аксаков [283], относились к нему критически. Такие его современники, как братья Н. А. и К. А. Полевые [284], И. И. Панаев [285] и др., выражали к нему резко отрицательное отноше-

[272] Там же, с. 242.
[273] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1953, т. 1, с. 86; т. 2, с. 7—50; т. 3, с. 66, 105—108; т. 5, с. 213—214.
[274] *Чернышевский Н. Г.* Очерки гоголевского периода русской литературы. Статья четвертая. — Полн. собр. соч. М., 1947, т. 3, с. 140—143, 146—165, 169, 170, 177—196, 763, 764.
[275] *Гончаров И. А.* Собр. соч. М., 1954, т. 7, с. 211.
[276] *Лавдовский Н.* К воспоминанию о Н. И. Надеждине.— Моск. ведомости, 1856, № 81, с. 342—343.
[277] См.: Библиотека для чтения, 1859, № 12.
[278] См.: Вестн. Европы, 1882, № 6, с. 624—662.
[279] *Попов Н.* Н. И. Надеждин на службе в Московском университете, 1832—1835. — Журнал Министерства народного просвещения, 1880, № 1, с. 1—43.
[280] *Трубачев С.* Н. И. Надеждин — предшественник и учитель Белинского. — Ист. вестн., 1889, № 8, с. 307—330; № 9, с. 449—527.
[281] *Милюков П.* Надеждин и первые критические статьи Белинского. — На славном посту. СПб., 1900, с. 409—430.
[282] *Козьмин Н. К.* Две статьи Н. И. Надеждина, написанные по поводу «Философического письма» П. Я. Чаадаева. — Русская старина, 1907, июль—сент., с. 237—258; *Он же.* Николай Иванович Надеждин: жизнь и научно-литературная деятельность, 1804—1836. СПб., 1912.
[283] *Аксаков К. С.* Воспоминание студентства 1832—1835 годов. СПб., 1911.
[284] *Полевой Кс.* Записки. СПб., 1888.
[285] *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. М.; Л., 1950.

ние, которое затем нашло свое развитие в работах М. Филиппова [286], И. Иванова [287], М. Лемке [288] и др.

В числе главных пороков Надеждина обычно назывались отсутствие у него твердых убеждений, та легкость, с какой он менял свои взгляды. Панаев писал, что Надеждин «всю жизнь вертелся, как флюгер, по прихоти случайностей», что истолковывалось как естественное качество беспринципного карьериста, пробивавшего себе дорогу в жизни любыми правдами и неправдами. Такая черта Надеждина действительно бросалась в глаза, но было бы неверно объяснять надеждинские контрасты только карьеризмом. Почему же в литературе существует такой разнобой в оценке деятельности Надеждина? И действительно, противоречивость в деятельности Надеждина была связана с противоречивостью самих общественных условий 30—40-х годов, с противоречивостью жизненного пути самого Надеждина.

Сын сельского священника, Николай Надеждин получил духовное образование, пройдя путь от уездного духовного училища до Московской духовной академии. В показаниях перед следственной комиссией Надеждин писал: «Мое первое воспитание было духовное, богословское, классическое. Кончив курс наук в высшем духовном училище, я получил твердый, логический, установленный образ мыслей, состоявший в чистом религиозном воззрении на вещи, в безусловной преданности отеческим нравам, вере, державной власти и в совершеннейшей уверенности, что нет и не может быть другого просвещения, кроме сознательного благоговения к богу, престолу, отечеству» [289]. Незадолго до смерти в своей «Автобиографии» он подчеркивал, что его «общеисторический взгляд на развитие рода человеческого» сложился в Московской духовной академии под влиянием Ф. А. Голубинского, читавшего там в начале 20-х годов историю философских систем. Известно, что в те времена наиболее широкую философскую подготовку в России давала именно система духовного образования; все современники, в частности, сходятся на том, что студенты из семинаристов были почти единственными студентами, смыслившими в философии.

Однако, покончив с духовной карьерой, Надеждин очутился в московском «светском» обществе, где шли яростные политические, философские, литературные и исторические споры. В области политики отстаивали свои позиции охранители, славянофилы, для которых Москва была оплотом; формирующийся буржуазный либерализм еще не размежевался с демократизмом; поднимался и лагерь революционной демократии. В философской сфере все большее влияние приобретал занимавший тогда «трон философской мысли»

---

[286] *Филиппов М. М.* Судьбы русской философии. — Русское богатство, 1894, № 9, с. 149—176.

[287] *Иванов И.* История русской критики. СПб., 1898, ч. 1/2, с. 330, 347—348, 357, 361—362.

[288] *Лемке М.* Чаадаев и Надеждин. — Мир божий, 1905, № 9, с. 1—34; № 10, с. 122—156; № 11, с. 137—163; № 12, с. 91—108.

[289] Там же, № 11, с. 145.

Гегель, распространялось влияние Шеллинга. Шло формирование материализма Белинского и Герцена. В литературоведении велась борьба между классицизмом, романтизмом и реализмом. В исторической науке происходили споры вокруг оценки русской истории, о ее месте в мировом историческом процессе, о путях ее в будущем. Эти споры имели, в частности, ту особенность, что в них почти каждый лагерь выдвигал одну закономерность для истории Западной Европы и совсем иную — для истории России. Теория «двух закономерностей», а каждый лагерь вкладывал в нее свое собственное содержание, была знамением времени.

Все это делало чрезвычайно сложным тот мир, куда попал Надеждин. Естественно, что его богословское мировоззрение было явно недостаточно, оно претерпело значительные изменения. «Весь образ мыслей моих, который уже сомкнут был в некоторую систематическую целость и стройность, вдруг перевернулся; я понял, что одна и та же вещь совершенно изменяется по мере того, как будешь ее рассматривать. . . Все это дало мне способы переработать прежний запас исторических моих сведений по новым взглядам», — писал Надеждин [290]. Однако эта переработка старых взглядов вовсе не приводила к вытеснению воззрений поповствующего философа, «новые» идеи ложились на старый фундамент. Это ясно сознавал сам Надеждин, подчеркивавший, что «прежнее было во мне заложено так прочно, что не разрушалось, а только просветлилось и украсилось новой облагородствованной физиономией. . . Не будь положен во мне сначала школьный фундамент старой классической науки, я бы потерялся в так называемых тогда высших взглядах новых романтических мечтаниях, которые были à l'ordre du jour. Теперь, напротив, эти новые приобретения века настилались во мне на прочное основание» [291]. Надеждин называл это «первоначальной двойственностью, шедшей путем правильного развития». Иными словами, идейная эволюция Надеждина совершалась как бы в двух планах: с одной стороны, «школьный фундамент старой классической науки», под каковым разумелся его богословский взгляд на мир, с другой — его «новые» взгляды, в которых отразилась битва идей этого переломного, кризисного периода в истории русской общественной мысли XIX века. Эти два идейных плана стояли рядом, порождая в мировоззрении Надеждина разительный эклектизм; сам Надеждин осознавал эту двойственность и смотрел на нее как на явление закономерное.

Отсюда проистекали те, казалось бы, необъяснимые противоречия, которые проступают буквально во всем, за что бы ни брался Надеждин. Эти противоречия давали себя знать уже в политической сфере, где Надеждин как будто проявлял больше всего постоянства. Будучи разночинцем, он ненавидел русское дворянство и в одном из своих писем выразил это чувство совершенно откровенно: «Я никак не могу привыкнуть к мысли, чтоб можно было драть деньги с бедного мужика и удовлетворять ими свои прихоти! . . Драть кожу с крестьян,

---

[290] *Надеждин Н. И.* Автобиография. — Рус. вестн., 1856, т. 2, с. 56.
[291] Там же, с. 57.

грабить казну и брать взятки. Благородное русское дворянство особенно отличается самою наглою бессовестностью. . . Подлец на подлеце. . .»[292]. Надеждин не переставал чувствовать себя этим разночинцем и вел ожесточенную полемику с продажными защитниками николаевского режима — Н. Гречем и Ф. Булгариным, доказывая, что «чины не дают ни честности плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному писаке. Фильдинг и Лабрюэр не были ни статскими советниками, ни даже коллежскими асессорами»[293]. Он ставил перед собой задачу просветителя народа; в то же время он был решительным сторонником абсолютизма и закончил жизнь редактором казенного журнала Министерства внутренних дел.

В философии Надеждин ратует за соответствие человеческих идеалов действительности; в частности, апеллирует к природе как к критерию истинности эстетических идей; отстаивает идею прогрессивности исторического процесса, в котором большую роль играет опять-таки природа, в этой связи он немало работал над проблемой географического и этнографического фактора в истории; главный порок немецкой философии Надеждин видел в субъективизме; в его построениях присутствуют элементы диалектики и т. д. Вместе с тем он оставался не только шеллингианцем, но и постоянно выдвигал «божественный промысел» в его сугубо православном обличье. Даже Шевырев находил, что свое шеллингианство Надеждин излагал в духе Четьих-Миней, а позднейший исследователь Филиппов с полным основанием утверждал, что от всей философии Надеждина несло запахом монастырского подворья[294].

В литературной критике Надеждин начал с того, что вместе с «седым зоилом» Каченовским напал на Пушкина, ответившего им обоим эпиграммами; в последующее же время Надеждин перешел к дружбе с Пушкиным, предоставляя ему страницы «Телескопа». Однако и поддерживая Пушкина, Надеждин не стал сторонником реализма; критикуя классицизм и романтизм, он видел перспективу развития литературы в соединении сильных сторон обеих этих течений. Надеждин привлек к сотрудничеству Белинского, и это сотрудничество не было случайным. У Чернышевского имелись известные основания признать в Надеждине предшественника Белинского, оказавшего на него свое влияние; известно также, что сотрудничество Белинского отклоняло «Телескоп» от курса Надеждина, так что журнал даже оказывался под подозрением у начальства. Однако не приходится и преувеличивать влияние Надеждина на Белинского — это были слишком разные люди, шедшие разными дорогами, которые все больше расходились. Сам Белинский отрицал вовсе это влияние.

Столь же противоречивой была позиция Надеждина и в исторической науке. Мы проследили развитие его концепции исторических путей Запада и России. Возникнув как созвучная взглядам Чаадаева, эта концепция превратилась в нечто противоположное.

[292] *Осовцев С.* Чьи инициалы А. Б. В.? — Сов. культура, 1963, 24 авг.
[293] Телескоп, ч. 4, с. 416.
[294] *Филиппов М. М.* Указ. соч., с. 165.

С иных позиций к решению проблемы «Россия и Запад» подходил другой представитель русской либеральной исторической мысли — Николай Алексеевич **Полевой** (1796—1846). Он не менее Погодина и славянофилов подчеркивал свой патриотизм: «в действиях своих мы должны быть сынами отечества, гражданами России, ибо космополит будет в сем отношении безумец, самоубийца в гражданском обществе» [295], но в отличие от Погодина и славянофилов, настаивал на том, что история России «достойна быть предметом изучения наблюдателей как важная часть истории человечества» [296]. Нельзя писать русскую историю, изолируя или противопоставляя ее истории мировой — этому правилу он неуклонно следовал при создании своей «Истории русского народа». «Необходимость рассматривать события русские в связи с событиями других государств заставляла меня вносить в историю русского народа подробности, не прямо к России относящиеся; повторяю, это было необходимо. Дела из истории греческой, польской, венгерской, монгольской, турецкой, шведской, истории Европы вообще, особенно XVIII-го и XIX-го века, поясняют нашу историю; рассказывая их, историк как будто поднимает завесы, которыми отделяется позорище (обзор) действий в России, и читатель видит перед собою перспективы всеобщей истории народов, видит, как действия на Руси, по-видимому отдельные, были следствиями или причинами событий, в других странах совершавшихся» [297].

Подходя с этой точки зрения к взаимоотношениям России и Запада, Полевой намечает следующую схему этих взаимоотношений: «. . .русский народ начался в одно время с другими новыми европейцами, одинаково и современно с ними шел и отделился только в начале XIII века от системы европейских государств. Отдельно образовалось потом государство русское. . . и вступило снова в европейскую систему с XVIII-м веком. Таково место русского народа в истории человечества» [298]. Иначе говоря, Россия развивалась по тем же путям, что и Запад, и только татарская неволя выбила ее из этой колеи. Оправившись от татарщины и создав свое сильное государство, русский народ снова вернулся на прежний, общий со всей Западной Европой путь. Исходя из этого, Полевой проводит многочисленные параллели между русской и западноевропейской историей.

* * *

Проблема «Россия и Запад» получила также отражение и в творчестве тех либеральных историков, которые составляли впоследствии так называемую юридическую школу в русской историографии. Рассматривая допетровский период русской истории, **К. Д. Кавелин** (1818—1885) указывал на вековую отчужденность России и Запада. «Европа больше знает какие-нибудь Караибские острова, чем Россию», а русские, в свою очередь, «ничего не хотели знать об Европе». Но дело не только в плохом их знакомстве, но и в несхожести их истории, где «ни одной черты сходной, и много противоположных».

---

[295] *Полевой Н.* История русского народа. М., 1830, т. 1, с. XXIX.
[296] Там же, с. XXVII.
[297] Там же, с. XLV.
[298] Там же, с. XLIII.

Это противопоставление шло у Кавелина по схеме, сходной со схемой историков охранительного и славянофильского направлений (при этом историка Кавелина не смущало то обстоятельство, что в ней была тьма фактических искажений: «В Европе сословия, у нас нет сословий; в Европе аристократия, у нас нет аристократии; там особенное устройство городов и среднее сословие — у нас одинаковое устройство городов и сел, и нет среднего, как и других сословий; в Европе рыцарство, у нас нет рыцарства; там церковь, облеченная светской властью, в борьбе с государством — здесь церковь, не имеющая никакой светской власти и в мирском отношении зависимая от государства: . . .в Европе отрицание католицизма — протестантизм, в России не было протестантизма; . . .там сначала нет общинного быта, потом он создается; здесь сначала общинный быт, потом он падает; . . .в России, в исходе XVI в., сельские жители прикрепляются к земле; в Европе после основания государства не было такого явления» [299]. Главные различия для Кавелина как представителя юридической школы состояли в том, что в России права личности присваивались семьей, общиной, государством и церковью. Поэтому история России — это история самодержавного государства. В отличие от этого история Запада, согласно Кавелину, развивается по линии юридического ограждения прав личности, а потому западная история есть история права и, следовательно, политической свободы.

Поворот начинается только с Петра: «С XVIII века наше отчуждение, холодность к Европе вдруг совершенно исчезают и заменяются тесной связью, глубокой симпатией. Так же ревностно принялись мы отказываться от своего и принимать чужое, европейское, как прежде отказывались от чужого и держались своего» [300]. Здесь, однако, Кавелин решительно выступает против славянофилов, утверждавших, что с Петра начинается принципиально новый период русской истории, противоположный допетровскому времени. В противовес этому Кавелин утверждает, что петровские преобразования вовсе не лишили Россию самобытности, это был новый этап в развитии той же самой России, «мы всегда будем мы и никогда они, кто-нибудь другой; иначе мы тотчас же исчезнем с лица земли, перестанем существовать как особенный народ». С другой стороны, петровские реформы показали, что у России и Запада «цель, задача, стремления, дальнейший путь один». Но это тоже не значит, что Россия покидает свой собственный путь. И Россия и Запад «сами творят свои формы» [301—302].

Статья Кавелина, как известно, повела за собой ответ Ю. Самарина [303], вызвавший гневную отповедь А. И. Герцена [304]. . .*

---

[299] *Кавелин К. Д.* Собр. соч. СПб., Б. г., т. 1, стб. 6—7.
[300] Там же, стб. 7.
[301—302] Там же, стб. 66.
[303] О мнениях «Современника» исторических и литературных. — Москвитянин. 1847, ч. 2.
[304] *Герцен А. И.* Собр. соч., т. 7, с. 244—248.
* На этом рукопись обрывается.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Список сокращений: англ. — английский, арх. — архиепископ, библ. — библейский, болг. — болгарский, вел. кн. — великий князь, виз. — византийский, голл. — голландский, гос. — государственный, гр. — граф, дат. — датский, еп. — епископ, имп. — император, императрица, исп. — испанский, кн. — князь, княгиня, миф. — мифический, нем. — немецкий, пол. — политический, польск. — польский, проф. — профессор, рим. — римский, сов. — советский, ун-т — университет, фр. — французский, шв. — шведский.

Указатель не охватывает подстрочных примечаний; составлен С. А. Селивановой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Михаил Антонович АЛПАТОВ

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ И ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА (XVIII—первая половина XIX в.)

Утверждено к печати Институтом истории СССР АН СССР

Редакторы издательства *Л. И. Панкратова, А. В. Богословский*
Художник *А. Б. Шкловская*. Художественный редактор *Г. П. Валлас*
Технический редактор *Н. Н. Плохова*. Корректор *Г. М. Котлова*

ИБ № 29467. Сдано в набор 5.05.85. Подписано к печати 2.10.85. Т-16753. Формат $60 \times 90^{1}/_{16}$. Бумага для глубокой печати. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,0. Усл. кр-отт. 17,0. Уч-изд. л. 21,8. Тираж 12 000 экз. Тип. зак. 407. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва В-485. Профсоюзная ул., 90

Ордена Трудового Красного Знамени 1-я типография издательства «Наука»
199034 Ленинград, В-34, 9 линия, 12